



**Четыре дня
в начале года
тигра**

НИК ХОДКИН

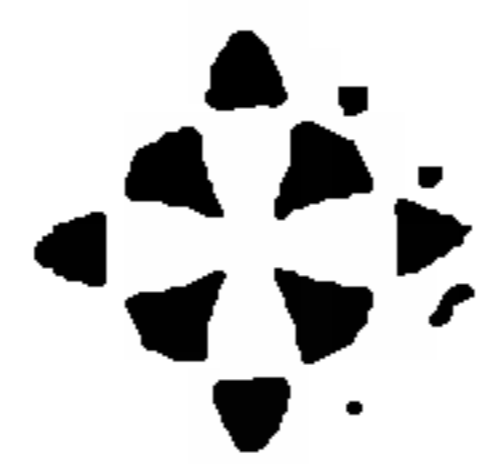


Серия
основана
в 1957 году

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

Ник Ходкин
X

Четыре дня в начале года тигра



Перевод с английского



Москва
«НАУКА»
Издательская фирма
«Восточная литература»
1992

ББК 66.3(5Ф)6
Х 68

Редакционная коллегия

К. В. Малаховский (председатель), *Л. Б. Алаев*,
Л. М. Белоусов, *А. Б. Давидсон*, *Н. Б. Зубков*,
Л. Г. Котовский, *Р. Г. Ланда*, *Н. А. Симония*

Перевод с английского
И. В. Подберезского и *М. Л. Салганик*

Предисловие
И. В. Подберезского

Редактор
Е. Г. Руденко

Хоакин Н.

Х 68 Четыре дня в начале года Тигра. Пер. с англ.
И. В. Подберезского и М. Л. Салганик. Предисл.
И. В. Подберезского.— М., Наука. Издательская
фирма «Восточная литература», 1992.— 328 с.
(Рассказы о странах Востока).

ISBN 5-02-017006-2

Ник (Никомедес) Хоакин — крупнейший писатель современных Филиппин. В этой книге он предстает как публицист, историк и философ-культуролог. Сердцевину сборника составляет яркая художественно-публицистическая хроника свержения диктатуры Маркоса в феврале 1986 г. Колоритнейшие зарисовки рассказывают об экзотичных филиппинских целителях и прорицателях, курьезах политической жизни, специфической роли католицизма и местных культах, о петушиных боях, скандальных историях, кумирах общества и т. п. В эссе «Культура как история» полемически рассматривается проблема синтеза восточной и западной культур.

Х 1805030000-128
013(02)-92 77-92

ББК 66.3(5Ф)6

ISBN 5-02-017006-2

© Перевод, предисловие
Издательская фирма
«Восточная литература»
ВО «Наука», 1992

ЛУЧШИЙ РАССКАЗЧИК ФИЛИППИН

Филиппины — страна азиатская. Сомнений в этом не возникает, пожалуй, ни у кого, в том числе и у самих филиппинцев. И все же многое в этой островной стране, расположенной у юго-восточных берегов огромного евразийского материка, свидетельствует об отличиях Филиппин от других стран Востока. На семи тысячах островов живет уже около 60 млн. человек (в начале нашего века — всего 8 млн.), из которых 85% — христиане, преимущественно католики, причем не недавно обращенные, а католики уже в двадцатом поколении.

Открыл острова (разумеется, для европейцев) Фердинанд Магеллан в 1521 г. Он и сложил здесь голову в стычке с вождем местного племени по имени Лапу-Лапу. Оба сейчас почитаются на Филиппинах: Магеллан — за то, что принес «свет истины», христианство; Лапу-Лапу — за то, что первым поднялся на борьбу с чужеземными угнетателями. Памятники обоим стоят недалеко друг от друга на островке Мактан в центральной части Филиппинского архипелага; на этом островке погиб великий мореплаватель, там же, скорее всего, кончил свои дни и Лапу-Лапу. Уже не просто: два врага рядом увековечены в камне. Но это не все. Был еще один вождь на близлежащем острове Себу, по имени Хумабон, который принял христианство практически первым, за что и ему отводится почетное место в филиппинском «пантеоне». Хумабон, став Карлосом, попросил своего новоявленного союзника Магеллана помочь ему одолеть соперника, Лапу-Лапу; испанец согласился, был убит, Карлос, разочаровавшись в пришельцах, снова стал Хумабоном, напал на остатки экспедиции Магеллана, та поспешно и бесславно покинула архипелаг. Таков расклад в самом начале новой истории Филиппин, таковы взаимоотношения между главными действующими лицами: пришелец, его враг, его же ненадежный союзник.

Испанцы, движимые прежде всего стремлением возвестить язычникам «благую весть» и обратить весь мир к истинному Богу, вернулись через 45 лет, наименовали острова Филиппинами (в честь короля — тогда еще наследного принца — Филиппа II) и обосновались на архипелаге на 333 года — с 1565 по 1898.

Конец их владычеству положила антииспанская революция, вспыхнувшая в 1896 г. Два года спустя к филиппинцам вроде бы на помощь пришли американцы, в 1898 г. объявившие войну Испании, а придя — остались. Филиппинцы, по их собственным словам, из католического монастыря попали сразу в Голливуд, где в некотором смысле пребывают и до сих пор, хотя страна получила независимость еще в 1946 г. Но базы, но бизнес, но инвестиции, но культурная привязанность — все это до сих пор на Филиппинах. Вот и думают они: Америка — это бывшая метрополия? А в духовном смысле: можно ли сказать, что Испания ушла совсем, если главное ее наследие — католичество — пронизывает собой всю жизнь, в том числе и политическую (как увидит читатель в первом же рассказе о Филиппинах, включенном в предлагаемый сборник)?

Спрашивается: могли ли столь резкие перемены пройти безболезненно? Спрашивается также: что стало с «филиппинской душой» (если позволительно пользоваться этим понятием) на протяжении столь бурной истории? Вопросы эти не риторические, они не есть проявление бесплодных интеллигентских исканий. Всякий думающий филиппинец задается ими, всякий думающий филиппинец ищет ответа на них.

И один из самых страстных искателей, один из самых оригинальных мыслителей Филиппин — Ник (он же Никомедес) Хоакин. Человек с душой отменно филиппинской, с испанской фамилией и американизированным именем, он искренне предан доиспанскому прошлому. Он глубоко предан и испанскому наследию — религиозности, благородству, барочному изяществу — и этим отличается от многих ура-патриотов, зовущих к отторжению испанских наслоений. Даже его псевдоним — Кихано де Манила (анаграмма фамилии: Хоакин — Кихано), заставляет вспомнить о Дон Кихоте, одно из имен которого — Алонсо Кихано Добрый.

Но он ругательски ругает американизированное настоящее (бывает, заодно и американцев), хотя есть и в нем самом, и в его творчестве глубокое уважение к американской культуре и к самим американцам. Он тоже прошел американскую выучку — вдумчивый читатель не преминет отметить, что Хоакин следует лучшим традициям американской журналистики: он старается объективно подать материал (иногда добросовестно преподносит две-три версии одного и того же происшествия); он заботится об увлекательности подачи материала, не допуская монотонности, не чуждаясь и сенсационности; его повествование не обходится без того, что американцы называют *personal touch* — «характерные штрихи» (обратите внимание: о ком бы он ни писал, он обязательно укажет, кто во что был одет, кто что ел, приведет

несколько подробностей из родословной и т. п.). Словом, это хороший журналист, соблюдающий законы современной журналистики. Но Хоакин, помимо того, еще и крупнейший писатель своей страны (об этом, среди прочего, свидетельствует его «Избранное», изданное у нас в 1988 г. в престижной серии «Мастера современной прозы»).

Лучший рассказчик Филиппин, Хоакин родился в 1917 г. в Маниле, которую он страстно любит. Хотел стать священником, даже учился в католическом учебном заведении, примерно соответствующем нашей духовной семинарии, но променял сутану на перо; еще до войны успел заявить о себе, а после войны быстро выдвинулся в число лучших журналистов страны. Писал репортажи и эссе, пьесы и рассказы, стихи и романы. И везде добился успеха. У него острый взгляд, твердая рука, отточенное перо; он умеет задавать вопросы, умеет слушать ответы. Он много ездил, много видел, много размышлял, встречался со многими людьми. И обо всем этом он писал. Несколько его «рассказов о Филиппинах» включены в этот сборник. Первое и главное повествование — рассказ о четырех днях первого полнолуния года Тигра, то есть февраля 1986 г., когда безоружные филиппинцы встали против танков (если быть совсем точным, танков там не было, были так называемые «боевые машины пехоты» — тоже вещь грозная, на гусеницах) и вынудили президента Маркоса, двадцать лет правившего Филиппинами, покинуть страну. Хоакин — мистик, пусть не такой завзятый, как филиппинские спириты, из рядов которых вышли известные всему миру «хилеры», вероцелители, но все равно мистик, а потому идеально круглая луна, символика тигра, знаки и знамена — все это для него исполнено глубокого смысла.

В апреле 1987 г., через год с небольшим после «февральской революции», автору этих строк довелось объезжать с Хоакином улицы Манилы. Он показывал, где стояли «танки», где толпа опускалась на колени под дулами пулеметов, где молились и пели псалмы. Сам он находился «в центре событий» — на этот раз журналистский штамп как нельзя более уместен. Его свидетельство — это свидетельство очевидца и участника событий. И важна не только их канва (ее он воспроизводит необычайно скрупулезно), но и дух, объявший филиппинцев; Хоакин сам был исполнен этим духом, он его прочувствовал и передал нам.

Что бы мы с нашим материализмом ни говорили, для филиппинцев революция на Эпифанио де лос Сантос Авеню (она же поэтому «революция ЭДСА») была прежде всего религиозным подвигом. ЭДСА для них — это *а у т о д а ф е*, «акт веры» в самом прямом смысле слова. Монахини и монахи, священники и миряне с четками в руках, распевая религиозные гимны и псал-

мы, стояли против грубой и косной военной силы. И победили.

Рассказывают — автору самому приходилось слышать — множество чудесных историй. И как летчики, получившие приказ бомбить скопления людей, не могли этого сделать, будучи людьми верующими, ибо из стоявшей внизу толпы сложился «совершенный по форме крест», хотя сами герои уверяли потом, что вовсе не старались «стать крестом». И как «танкисты» (т. е. механики-водители), ведшие «танки» на коленопреклоненных людей, вдруг лишались способности двигать рычагами: «что-то мешало». Для Хоакина, да и для всех филиппинцев (кроме, разумеется, покойного Маркоса и его сторонников) такого рода истории и были подлинной Историей. Они видели в этом руку Божию, себя же воспринимали как Его орудие. Когда приходит такое осознание самих себя, народ трудно остановить. Как сказал Мандельштам, *«Бог не устал, Бог шествует вперед, Исайя жив, и жив Иеремия»* — и именно таково было ощущение филиппинцев; они полагали, что с ними Бог и пророки.

Помимо этого сакрального, небесного плана был еще и профанный, земной. Он тоже нашел отражение на страницах повествования Хоакина о четырех днях в начале года Тигра, в первое его полнолуние. Скажем, «воины Христовы» обезобразили улицы города. Однако было тут и такое, о чем Хоакин не говорит, но о чем сказать все же нужно. Конечно, мятежные генералы торжественно вынесли статую Девы (потом Ее объявили Заступницей всех революционеров, а на том месте воздвигли храм). Дело, вне всякого сомнения, благочестивое. Но ведь можно сказать, что те же генералы укрылись за спинами мирных жителей. Конечно, иерархи католической церкви Филиппин призывали верующих выйти на улицы и защитить мятежных генералов. Но если бы открыли огонь, если бы гусеницы стали давить людей? Это ведь только задним числом можно хвалить церковников за смелость, вообще же не дело пастырей вести свою паству под пули, тем более в делах мирских. Кажется, нечто подобное сказал филиппинским клирикам и Ватикан, но победителей действительно не судят. И все же мнения могут быть разными.

Из опыта ЭДСА можно извлечь и другие уроки. Было продемонстрировано, сколь действенна кампания гражданского неповиновения. Собственно, этот опыт не нов, его использовал Ганди, а задолго до него — первые христиане. Но филиппинцев считали органически неспособными к такого рода самоограничениям, полагая, что из-за своего темперамента они предпочитают более решительные действия. ЭДСА — это и новая тактика решительной политической борьбы без пролития крови. Можно брать цитадель противника штурмом, а можно, показали филиппинцы, всем собраться совсем в другом месте, показав диктатору и его

сторонникам, сколь они одиноки и беспомощны. Столкновения лоб в лоб удалось избежать, все ушли от Маркоса, и ему пришлось покинуть страну.

События четырех дней первой полной луны года Тигра породили неоправданную эйфорию. Некоторые иерархи католической церкви в стране прямо заявляли: произошло чудо, Бог непосредственно вмешался в дела филиппинские, и неспроста. Наши любимые Филиппины, говорили прелаты, есть единственная христианская страна в Азии, и, судя по всему, ей уготована великая миссия: утвердить христианство на всем Востоке. Иначе зачем бы Богу показывать столь явно свою заинтересованность в том, что происходит на Филиппинах? Появилось даже известное высокомерие, признаки превосходства.

Действительность отрезвила филиппинцев довольно быстро. Церковники скоро поняли, сколь опасно раздувать дух спеси и чванства. Коррупция и продажность, безработица и нищета никуда не исчезли, они и сегодня с филиппинцами, как были с ними при испанцах, при американцах (справедливость требует отметить: в наименьшей степени, почему и сейчас еще существует движение за превращение Филиппин в американский штат), при независимости без Маркоса и при независимости с Маркосом. Мало того: военные, столь трогательно братавшиеся с народом, повадились устраивать военные заговоры по тому же рецепту и местом действия неизменно выбирают ЭДСА. При всякой новой попытке военного переворота на первых порах люди валом валялись на Эпифанио де лос Сантос Авеню, полагая, что там творится история, и желая войти в нее — совсем как это было в начале года Тигра. А попадали под пули не знающих удержу солдат.

Сама ЭДСА поначалу называлась скромно: шоссе № 54. Его проложили американцы в 1945 г., чтобы провести военную технику. То была «эпоха Освобождения», как она именуется в филиппинской истории. Эпоха эта завершила войну на архипелаге. Начало ее было неудачным для американцев: вторгшиеся японские войска быстро заняли Манилу, а затем американцы капитулировали на полуострове Батаан — об этом и рассказывает Хоакин — и на острове Коррехидор. Сражение на Батаане — печальная страница истории тихоокеанской войны. Для Хоакина, как и для многих его соотечественников, война с японцами — прежде всего не филиппинская война. Американцам он не сочувствует; временами, пожалуй, даже злорадствует. Такое отношение к войне на Тихом океане характерно не только для филиппинцев: множество людей в Юго-Восточной Азии узрели в японцах избавителей от колониального гнета, множество политических деятелей националистического толка пошли в коллаборационисты, а после войны стали во главе национально-освободительных движений.

Они видели войну по-другому, и кто вправе осуждать их за это? Но все же не вредно напомнить, что не одни американцы оказались неподготовленными к войне, не одни американцы терпели поначалу унижительные поражения, не одним американцам были присущи бестолковщина и неразбериха первых дней войны...

Война войной, но филиппинцы удивительно быстро вернулись к темпераментной политической жизни с ее интригами, быстро распадающимися союзами и уловками — вроде продления суток на неопределенное время, чтобы дать законодателям возможность завершить парламентские дела не в обход закона, а в обход здравого смысла, притворившись, будто избранные народа могут останавливать время. Таких штук много в арсенале политической деятельности на Филиппинах, ее принципы отрабатывались еще при президенте автономных Филиппин Мануэле Кесоне (1878—1944), чье имя часто выводит перо Хоакина. Здесь описана довольно невинная «маленькая хитрость»: избранные народа останавливают часы и преспокойно продолжают работать. Политические нравы с тех пор изменились в дурную сторону: стало меньше невинных проделок и больше насилия; по мнению некоторых мрачно настроенных наблюдателей, на Филиппинах вот уже лет двадцать, то затухая, то разгораясь, идет гражданская война.

Но не одними политиками славны Филиппины.

Это — страна красавиц, и Хоакин рассказывает об одной из них, Глории Диас, ставшей «мисс Вселенной». Не красотой единой покорила она мир, но также непосредственностью, обаянием, грацией... Могла бы покорить и Советский Союз, ибо, еще будучи королевой, в 1971 г. посетила нашу страну. Устроители всемирного турне включили Москву в ее маршрут, полагая, что тут, на месте, идею подхватят и сделают все, что надо сделать для королевы красоты. Жестоко просчитались: в те годы мы были суровы к признанным красавицам, и всё паблисити свелось к помете в списке пассажиров напротив имени Глории: «самая красивая женщина в мире». Но те немногие, кто встречался с нею в тот год, могут подтвердить: не красотой единой... Сейчас Глория киноактриса, много снимается, и не всегда в первоклассных фильмах.

Филиппины — страна «хилеров», вероцелителей, психохирургов, творящих чудеса. Слава о них облетела весь мир, и Хоакин, естественно, не мог пройти мимо феномена вероисцеления. Строго говоря, сюда входят три течения народной хирургии, не очень ладящих, а скорее конкурирующих друг с другом. Собственно психохирургию — «хирургию без ножа», или «хилерство», как мы его знаем в нашей стране, образуют два первых ответвления. Одно течение знаменито тем, что его представители вскрывают

любую полость, проводя пальцем по коже (или даже на расстоянии до тридцати сантиметров — зафиксированы и такие случаи); потом, после операции, не остается никаких швов или шрамов. В филиппинском представлении болезнь обычно — материальное тело, и уважающий себя «хилер» непременно предъявит пациенту его «болезнь» в виде непривлекательного сгустка. Вариант: «хилер» не делает надреза, а погружает пальцы вовнутрь (бывает, и чéрепа!) и просто-напросто вытаскивает «болезнь», которая по предъявлении пациенту опять же летит в ведро.

Второе течение «психохирургии без ножа» — извлечение «болезни» без проникновения в полость, вообще вовнутрь. «Хилеры» этой школы утверждают, что из их рук истекает особая эманация (вспомним Коран: «Свет идет перед ними и с их десниц» [66:8]). Эта особая энергия разъемлет «болезнь» (кисту, опухоль, камень, суставной нарост и т. п.) на молекулы, молекулы свободно проходят через ткани, собираются в ладони «хилера» опять в «болезнь», которая и демонстрируется. Как правило, действия такого рода сопровождаются чтением Библии, причем ассистировать могут многие, это поощряется.

Мнения и заключения экспертов об этих двух способах психохирургии противоречивы. Наблюдателям-скептикам, и не им одним, не раз удавалось добыть выбрасываемую «болезнь», но анализы давали противоречивые результаты. Тут все зависело от того, кто их проводил: то «болезнь» оказывалась смоченной кровью ватой, то действительно, скажем, почечными камнями или чем-то в этом роде. Был случай, когда скептики торжественно обнародовали результат анализа: тампон, оказывается, был смочен овечьей кровью. Поклонники психохирургии приуныли, но ненадолго: кто-то вспомнил, что овцы на Филиппинах не водятся, ближайšie овцы — в Австралии, тогда чего стоит анализ? Медицинские власти Филиппин (это хорошо показано в повествовании Ника Хоакина) единодушны: психохирургия, «хилерство» — все это шарлатанство. Поговаривают, правда, что тут налицо разделение труда: медики все равно знают, что их вердикт не остановит потока жаждущих исцеления, скорее подстегнет их, и тайком способствуют «хилерству». Но это вряд ли справедливо: так можно заподозрить все и вся.

Третий вид целительства сомнений не вызывает ни в ком: это хорошо знакомые народной медицине едва ли не всех стран костоправы («мануальная терапия»), они же на Филиппинах и массажисты. Здесь результаты поразительны и непротиворечивы. Помогает практически всем, хуже не становится никому. Техникой этого третьего направления пользуются и представители двух первых течений, что придает им надежность и респектабельность.

Хоакин не навязывает своего мнения ни о феномене филипп-

пинских «хилеров» вообще, ни о самом знаменитом из них, Антонио Агпаоа, в частности. Тони Агпаоа практиковал тот вид психохирургии, который выше был обозначен как первое ответвление народной медицины. Вывод, который можно сделать из повествования Хоакина, сводится к формуле: «В этом что-то есть». Можно добавить, что репутации Тони Агпаоа и всего «хилерства» сильно повредила его ранняя смерть: он умер в 1982 г. в возрасте 42 лет. Соперники и недоброжелатели говорили, что его погубило неумеренное жизнелюбие, поклонники — что он весь отдал себя людям и сгорел. Читатель волен сам сделать выбор. Ныне самый знаменитый хилер Филиппин — Алекс Орбито, всего же на Филиппинах насчитывают до семидесяти «хилеров», пользующихся международным признанием. Есть отели, отведенные паломникам за здоровьем, в коих недостатка нет. Бывает, стены таких специализированных отелей сплошь увешаны костылями исцеленных — это очень впечатляет.

Филиппины — страна религиозных мистиков; мистик, как уже говорилось, и сам Ник Хоакин («чертовщинка» непременно присутствует в его художественных произведениях). В стране много визионеров, прорицателей (особенно прорицательниц), их часто именуют бесноватыми, но некоторые из них сумели увлечь за собой десятки, а то и сотни тысяч людей, создав устойчивые деноминации. Одна из таких деноминаций — Иглесия-ни-Кристо, Церковь Христа, организация с поистине железной дисциплиной, оказывающая влияние на политическую жизнь страны. О ней говорят много и говорят разное, но ясно одно: к Богу они относятся очень серьезно.

Филиппины — страна истово верующих, к Богу там стремятся чуть ли не все, пусть и по-своему, а это верный признак жизнеспособности народа. Сектантов, пророков, поклонников экзотических культов нередко именуют изуверами и фанатиками. Что есть, то есть, но несомненно, что под всеми этими часто непривлекательными формами религиозности кроется что-то чистое и искреннее. И нет большого греха, справедливо замечает Хоакин, в непостоянстве поклонения: ибо надо постоянно изумляться, не допускать рутинизации культа. «Бог меняет моды на святых, чтобы святость всегда изумляла нас». Может быть, Хоакин слишком снисходителен к религиозной практике своих соотечественников, но кто может бросить в него камень, и в них тоже?

Филиппины также — а может быть, и прежде всего — страна завзятых петушатников, страстных поклонников петушинных боев. И вот тут трудно примириться со снисходительностью. Петушинные бои — это мука и страдания, это причина распада семей даже здесь, в католической стране, это источник неисчислимых бед и огромного горя. Эта страсть всепоглощающая: пету-

шатник в считанные минуты, секунды даже, спускает все, что имеет: деньги, отложенные на учебу детей, верного помощника — буйвола-карабао, еще не собранный урожай риса.

Во вполне современном городе, таком, как Манила, по утрам нас будит бодрый петушиный крик, потому что петухов держат многие, и в самом центре города можно увидеть привязанного к дереву или ограде красавца, горделиво вышагивающего в ожидании очередной схватки. Техника подготовки петухов к бою, воспитания в них доблести изощрена и не поддается описанию. Хоакин прав: у филиппинца, кажется, эта страсть уже в крови, и, завидев двух дерущихся бойцов, он непроизвольно воскликнет: «На белого!» или «На красного!» (так делаются ставки), — и тут же невесть откуда возьмется кристо (так называют держателя пари). Еще И. А. Гончаров, в середине прошлого века посетивший Манилу на фрегате «Паллада», отметил, что каждый тагал таскает под мышкой петуха. Страсть эта древняя, и нет никаких признаков того, что она изживается. Скорее наоборот.

Филиппины — страна поэтов. Хоакин повествует об одном из них, Хосе Гарсии Вилье, мастере необычайно усложненного стиха. Вот образец его поэзии в переводе А. Эппеля:

О прелестная. О пантера мглистая. О
Похитительница бархатистая.
Истая. Не жалею мне яростных чар.
О ярко горящий, ночь золотящий
Жар. Свет звонкопляшущий. Нет —
Шепчущий дар. Обрети меня. Укради меня.

Этот поэтический изыск не натужен, он — от музыкальности и утонченности филиппинской души; она — в стихах Вильи. Она помогла ему добиться признания как поэту на американской литературной сцене, где — как и везде в Америке — так сильна конкуренция. Игра со словами — не баловство, она есть свидетельство развитости поэзии, а Вилья — мастер такой игры. И кому судить об этом, как не Хоакину, тоже чародею слова, способному написать:

Зеленый цвет: люблю тебя, Зеленый;
Жжет
Красный; Белый
бьет; кусает Синева.

Пер. С. Бычкова

Поэту Хоакину нравится поэт Вилья — редчайший случай. Ибо, хотя поэтов, по Пушкину, издревле связует сладостный союз, это верно лишь в каком-то высшем смысле. На земле поэты обычно ссорятся между собой, ибо никак не могут поделить

славу, особенно если поэт невоздержан на язык, как Вилья. А он именно таков, как описано у Хоакина: вполне способный заявить при знакомстве, что вы бездарно одеты (это может быть сказано и женщине), а то и похуже.

Автору этих строк довелось в 1975 г. принимать участие в одном литературном действе, где был и Хосе Гарсия Вилья. К нему подошел начинающий англоязычный поэт из Африки. Подошел, как подобает подходить дебютанту к признанному мэтру: почтительно и робко, и смиренно попросил оценить его стихи. Вилья взял стихи, бросил на них небрежный взор и заявил, что читать их не будет. «Но почему?» — изумился начинающий поэт. «Они некрасивые», — ответствовал мэтр. Он даже снизошел до объяснения: в стихах дебютанта нет разбивки на строфы, «а это так некрасиво — на стихи должно быть приятно взглянуть». И пустился в рассуждения: хороший портной из совершенно скверной ткани может создать шедевр, хороший повар из скверных продуктов приготовит нечто изумительное. Все дело в форме, а не в содержании, как пытается уверить дебютант. Мастер — это всегда мастер формы. «А вы стихам не можете придать форму». Молодой поэт был раздавлен.

Побывал Вилья и у нас, в СССР, — в 1973 г. он участвовал во встрече писателей стран Азии и Африки в Алма-Ате. Его чрезвычайно удивила кириллица, но, как эстет, он нашел, что написание «Хосе» куда красивее, чем «Jose». И с тех пор подписывается так: *Xose Garcia Villa*, сбивая с толку издателей и читателей. Собственно, это ему и надо. Эпатаж, считает он, есть неотъемлемое право — и даже обязанность — поэта. Такой взгляд на поэта и поэзию находит отклик у другого мастера, у Никомедеса Хоакина.

В отличие от Вильи, Хоакин не только поэт. Он еще и тонкий мыслитель. Конечно, мы не вправе отрицать присущие мыслителю качества и за Вильей, но все обещанные им философские труды так и не вышли в свет, а вот Хоакин потряс мыслящих филиппинцев своим эссе «Культура как история», с которым читатель может познакомиться в конце сборника. Почему потряс, станет понятным после знакомства с другими произведениями Хоакина. Дело в том, что для интеллигентов как Запада, так и Востока Филиппины являлись не более как извращением их — восточных и западных — начал, в чем они ничтоже сумняшеся обвиняли филиппинцев. Своих евразийцев у филиппинцев не нашлось, и обвинения такого рода порождали у них некий комплекс неполноценности, стремление оправдаться. Хоакин же прямо сказал освобождающие слова: такими нас создала история, нам не надо стыдиться самих себя, напротив, мы вправе гордиться. Мы азиаты, но азиатами нас сделали европейцы, ибо Восток

оттолкнул Филиппины, а вот европейцы ввели их в Азию. И вообще, вопрошает Хоакин: «Что есть азиатская сущность? Индийская пассивность или динамичность японца? Китайская добросовестность или малайская беззаботность? Это крестьянин, выращивающий рис, или кочевник-скотовод? Шейх, гуру, кули? Буддист, индуист, мусульманин, шаман?» Ответить, конечно, непросто, но это не значит, что ответов нет и нет азиатов.

Хоакин совершенно прав, когда утверждает, что филиппинцам нечего стесняться своей культуры, что у них есть все основания гордиться ее уникальностью. Но не следует и упрощать действительно сложные вещи. Если человек, по Хоакину, есть «бессознательная антология всех предыдущих эпох», то в филиппинце уживаются плохо подогнанные друг к другу начала: исконные, испанские (они же христианские, католические), американские (навыки предпринимательства, право и т. п.). Но антология не обязательно должна быть бессознательной: ведь эссе Хоакина и есть попытка вывести всю противоречивость филиппинского бытия из подсознания в сознание и тем преодолеть ее, т. е. провести своего рода психоанализ. Судя по реакции на эссе Хоакина, бурной и неоднозначной, попытка эта удалась. Комплекс неполноценности в значительной мере снят, хотя раньше проявлялся часто, и прежде всего в каком-то чувстве вины, проскальзывавшем всякий раз, когда мыслящие филиппинцы говорили о своей культуре с западными или восточными коллегами. Теперь лейтмотив бесед на эти темы стал иным: «Такими нас сделала наша история», а нередко слышится задиристое хоакиновское «сами виноваты».

Таков диапазон подлинного мастера слова Никомедеса Хоакина: от репортера до философа, от тонкого знатока петушиных боев (чувствуется, человека в этом отношении небезгрешного) до своеобразного богослова. И раз уж нет возможности побывать на Филиппинах, то лучший способ узнать их — через рассказы Пика Хоакина о своей стране. А если есть, то через них же подготовиться к встрече с нею.

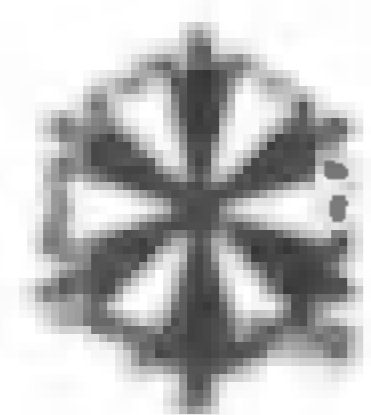
И. В. Подберезский



Четыре дня в начале года Тигра

**Сцены из апокалипсиса
народного гнева**

*Художественно-
публицистическая
хроника*



Quijano de Manila
The Quartet of the Tiger Moon

Scenes from
the People-Power Apocalypse

Book Stop, Inc. 1986

Перевод
И. В. ПОДБЕРЕЗСКОГО

В 1986 году начало китайского Нового года выпало на 9 февраля, когда молодая луна весны возвестила приход года Тигра. Китайцы говорят, что в астрологии тигр означает восстание, мятеж, перемену. Четыре дня длились события на Филиппинах, приведшие к падению диктатуры Маркоса, и произошли они в первое полнолуние года Тигра.

Часть первая

СУББОТА, 22 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА

1

Занимался прохладный день, воздух бодрил, и маниленьос¹ ворчали: кажется, возвращается рождественская погода. Ночи стояли чуть ли не белые, освещенные первой полной луной года Тигра. В то субботнее утро и наш дух был бодр как никогда.

«Бойкот» — слышалось всюду.

Кори Акино, объявив кампанию гражданского неповиновения, призвала к бойкоту товаров, выпускаемых на предприятиях близких к Маркосу людей, в том числе — к огорчению мужчин — продукции корпорации «Сан Мигель». Многие филиппинцы стонали: «Я готов сложить голову в борьбе за свободу — но как отказаться от пива „Сан Мигель“?» Когда Кори докладывали, что все больше и больше филиппинцев идут за ней, она вздыхала: «Но зато я не могу убедить их отказаться от пива!»

Тем не менее все говорили, что акции «Сан Мигель» падают, что достается и промаркосовской прессе. У каждого была про запас история о знакомом мальчишке-газетчике, который не мог продать более двух или трех экземпляров «Буллетин» на улице, где обычно покупали не менее дюжины. То были первые, пока еще слабые проявления народного гнева. Тигр готовился прыгнуть.

А в мире поклонников искусства огорчение вызвало предложение бойкотировать фильмы с Норой Аутор и Ронни По, поскольку эта парочка вела кампанию в пользу Маркоса и Толентино. Ведь именно

¹ Маниленьос — уроженцы или жители Манилы. — *Здесь и далее примеч. пер.*

Ронни поднял руки господ Маркоса и Толентино на митинге в Тондо, а Нора исполнила слащавую песенку о том, что другого героя на встречах ДНО¹ и не надо. Вот почему все митинги ЮНИДО² начинались с такого издевательского объявления: «Сначала неприятные новости: Нора Аунор и Фернандо По-младший в программе не участвуют. А теперь приятные: они нам и не нужны!» Эти слова всегда вызывали хохот и гром аплодисментов.

Самый серьезный бойкот затеял дипломатический корпус. Ходили слухи, что на церемонии введения в должность мистера Маркоса не будет представлено ни одно посольство; и уж совершенно точно, что ни одно из них не подумало поздравить его с победой на президентских выборах 7 февраля. Точнее, никто, за исключением русского посла, который, однако, взял на себя труд объяснить, как это все получилось. Он наносил визит вежливости мистеру Маркосу, и когда последний упомянул, что его только что провозгласили победителем на выборах президента, русский посол был вынужден принести поздравления. Но посол дал ясно понять, что и он не будет присутствовать на церемонии введения в должность из-за открытия парламентской сессии в Москве. Другие государства подкрепили бойкот отзывом своих представителей.

Многие злорадствовали и хихикали в ладошку: Ферди с Имельдой получили вселенский щелчок по носу — мир демонстративно отказывался принимать на веру утверждение о том, будто последние президентские выборы на Филиппинах были справедливыми и Маркос выиграл. Дипломаты предпочитали наносить визиты Кори.

Обозреватель «Буллетин» Бенедикто Давид писал:

Кажется, впервые в истории президентских выборов на Филиппинах на объявленных победителей не изливается поток поздравлений от правительств, поддерживающих дипломатические отношения с нашей страной. Похоже, вместо этого послы впервые сплотились вокруг «проигравшего кандидата». Все

¹ ДНО — «Движение за новое общество», партия сторонников Маркоса.

² ЮНИДО — «Объединенная демократическая оппозиция», куда входили многие оппозиционные к Маркосу группировки и партии.

то показывает, что многие правительства не верят, что воля филиппинского народа была отражена в результатах выборов, объявленных Законодательным Собранием. Да и нашу страну разъедает неуверенность. К примеру, впервые люди не знают, кто у нас начальник штаба вооруженных сил. Отставка генерала Вера и ее принятие в сущности являются предвестником отставки самого Маркоса. При такой неразберихе трудно разобраться в чем бы то ни было — и это на руку некоторым людям из окружения президента. Они из неразберихи извлекают выгоду.

Мистер Маркос отправил генерала Фабиана Вера в отставку после выборов, а тут вдруг Вер заявляет, что он все еще занимает свой пост. Этот парадокс не мог не раздражать министра обороны Хуана Понсе Энриле, а также предполагаемого преемника Вера на посту начальника штаба генерал-лейтенанта Фиделя («Эдди») Рамоса. Никто не верил, что Рамос вот-вот заменит Вера,— по крайней мере, пока Вер продолжал продвигать своих людей на ключевые посты в армии, не ставя в известность ни Энриле, ни Рамоса. Вер не хотел, чтобы вооруженные силы оказались под контролем молодых офицеров, вовлеченных в движение протеста, называемое РАМ (Движение за реформу армии) и вдохновляемое, как предполагали, министром обороны Энриле.

Действия государства против возможных мятежников в это воскресенье, 22 февраля, достигли масштабов переворота. Правительство Маркоса было готово нанести удары вовне и внутри: вовне — по Кори Акино и ее главным сторонникам, внутри — по военным реформистам, возглавлявшимся Энриле. Таким образом Маркос хотел предотвратить падение, уже возвещенное результатами выборов 7 февраля. Угрожая вновь ввести чрезвычайное положение в случае, если Кори призовет ко всеобщей забастовке, «сильный человек» в Малаканьянге¹ не без издевки заметил: «Мы найдем, чем ответить на все их нападки». А пропагандистскую кампанию с целью обесценить его «победу» он заклеил как «деяния сегодняшних империалистов и одиозных личностей, не желающих признать поражение».

Не пронял его и вырисовывавшийся дипломатический бойкот предстоящей инаугурации. Как всегда,

¹ Малаканьянг — президентский дворец в Маниле.

намечалось великое действо на Лунете¹. Если верить одному сообщению, прихвостням Маркоса были выделены двенадцать миллионов песо на наем грузовиков для подвоза людей, чтобы превратить парк в море сторонников Маркоса, причем вознаграждение устанавливалось от тридцати до пятидесяти песо на человека. Два модельера — Баллестра-Латинец и Питой Морено — создали роскошные платья, в которых Имельде предстояло появиться на сногсшибательном торжестве. А вокруг нее, конечно же, должны были блистать в золоте и бриллиантах, модных в этом году, избранные. Так какая нужда в зарубежных благожелателях?

Увы, мистер Маркос никак не предвидел убогого представления, которое ожидало его во вторник, 25 февраля,—эту дату выбрали, потому что сумма цифр тут равнялась семи, числу, для него счастливому. Но, как оказалось, не в год Тигра.

В воскресенье, всего за три дня до катастрофы, мистер Маркос по-прежнему полагал, что сумеет повернуть мировое мнение в свою пользу, для чего он послал в Соединенные Штаты Бласа Опле и Алехандро Мельчора, а в Европу — Х. В. Круса и Хакобо Клаве, собираясь еще командировать Роберто Бенедикто в Японию и Артуро Толентино в страны АСЕАН, чтобы информировать соответствующие правительства о «реальном соотношении политических сил» на Филиппинах. Поскольку «соотношение», на которое претендовал Маркос, было объявлено католическими епископами Филиппин фальсифицированным, Маркос отправил двух эмиссаров убедить Ватикан, что выборы и подсчет голосов вовсе не были «омерзительными». Циники шептались, что, по всей видимости, он рассылает этих «особых» эмиссаров с заданием подыскать место ссылки поудобнее. Иначе с чего бы ему и Имельде обращать часть своих сокровищ искусства в наличные?

В «Инкуайере» на первой полосе сообщалось: *«Президент и миссис Маркос с прошлого года пытаются продать картины стоимостью в несколько миллионов долларов и другие произведения искусства, чтобы получить наличные»*. Среди этих сокровищ был Моне, оцениваемый в два с половиной миллиона долларов.

¹ Лунета — главная площадь Манилы.

Столь же упорным в то воскресенье был слух, что до понедельника 24 февраля министр обороны Энриле подаст в отставку и выедет с семьей за границу.

Около семи вечера в воскресенье мы узнали, что Энриле вышел из правительства, но за границу не уехал. Он и генерал Рамос укрепились в Кэмп Агинальдо на авеню ЭДСА¹, и мятеж первой луны года Тигра начался. Всю ночь радио и телевидение захлебывались разговорами о государственном перевороте — *coup d'état*, так что одна маленькая девочка даже спросила отца: «Папа, о какой это Ку Дэйта они все говорят? Это дочь Ку Ледесмы, актрисы?»

2

В то субботнее утро Энриле отправился в «Атриум» в Макати выпить чашечку кофе и поболтать; он непринужденно беседовал с заместителем премьер-министра Хосе Роньо, когда до него дозвонился министр торговли Бобби Онгпин, взывавший о помощи. «Мои охранники — их всех схватили!» — кричал в трубку Онгпин. Перед тем Энриле сам выделил Онгпину девятнадцать своих охранников; это были, можно сказать, люди министра обороны.

— Тогда я позвонил к себе в министерство, — рассказывает Энриле, — и мне доложили, что телохранители Онгпина оказались с оружием в запретной зоне, где стояла морская пехота, и потому их задержали.

На первый взгляд дело было простое; но, тщательно все перебрав в уме, Энриле сообразил, что его пытаются представить участником заговора, чтобы таким образом оправдать арест не только его самого, но и молодых офицеров, вовлеченных в РАМ. «Так вот оно что...» Он решил подождать в «Атриуме» дальнейшего развития событий. «Но ничего не произошло, и я отправился домой обедать». Дом его неподалеку, и он сидел за столом, когда со срочным докладом явились два офицера его охраны, полковник Грегорио «Гринго» Онасан и полковник Эдуардо «Рэд» Капунан. Генерал Вер сформировал отряды для ареста руководителей РАМ, а у Движения в Большой Маниле четыреста сторонников.

Как поступить в этой ситуации?

¹ ЭДСА — сокращенное название авеню Эпифанио де лос Сантаос.

Они могли или рассеяться, или перегруппироваться.

«Если мы рассредоточимся,— сказал Энриле офицерам своей охраны,— нас переловят всех до одного. Если же перегруппироваться и оказать сопротивление, если рискнуть, то, скорее всего, произойдет стычка. Тогда мы все, вероятно, погибнем, но, возможно, кто-нибудь из нас и уцелеет; да и другая сторона понесет тяжелые потери».

Вторая альтернатива представлялась более достойной.

— Итак, я решил, что мы должны перегруппироваться, обзвонил всех и приказал собраться в Кэмп Агинальдо.

Кэмп Агинальдо в Кесон-Сити, на ЭДСА, местопребывание министра обороны, войдет в историю, как только он прибудет туда после полудня. Но прежде чем отправиться домой, министр связался с генералом Фиделем Рамосом.

«Эдди,— сказал он по телефону,— у меня тут проблема, и я хотел бы знать, сможешь ли ты».

Он описал Рамосу раскрытый заговор против РАМ.

— И я сказал ему, что у меня нет никаких оснований сомневаться в достоверности полученной информации.

Согласно информации, ранее на той же неделе Маркос и Вер со старшими генералами обсуждали во дворце план разгрома руководства оппозиции, особенно «так называемых пятидесяти советников» Кори Акино, в число которых входили Рене Сагисаг, Джо Консепсьон, Данте Сантос, Тинг Патерно, Хаиме Онгпин, Висенте Хайме и другие, а с ними заодно и таких политиков, как Рамон Митра, Акилино Пиментель и Нептали Гонсалес, и церковных деятелей вроде отца Хоакина Бернаса из Атенео¹. Планировалось захватить их и убить, а вину свалить на коммунистов. Затем Маркос объявит осадное положение, Рамос и Энриле будут обвинены в предательстве и ликвидированы, а все офицеры, входящие в РАМ, схвачены.

Полученная информация заставила Энриле пре-

¹ Атенео — католический университет в Маниле, управляемый иезуитами.

«ратить поддержку Маркоса и объявить о мятеже против него.

«Ты с нами? — спросил он генерала Рамоса. — Ты поведешь нас?»

Рамос без колебаний ответил:

«Я с вами до конца!»

«Если так, — прокричал в трубку Энриле, — встретимся в Кэмп Агинальдо — я направляюсь туда!»

Он забежал в комнату переодеться в полевую форму и взять из шкафа оружие.

Первым генералом, который присоединится к Энриле и Рамосу, будет генерал Рамон Фаролан, в то время глава таможенной службы, уже ставший для Вера персоной нон грата. Когда Вера временно освободили от обязанностей начальника генерального штаба в связи с убийством Бенигно Акино, в ведущих газетах Манилы появился манифест в его защиту, подписанный целым сонмом генералов. Рамон Фаролан с удивлением обнаружил там свою подпись, хотя манифест он не подписывал. Он созвал всех своих близких и объявил им о намерении публично заявить, что он не подписывался, поскольку это, скорее всего, обернется неприятностями и невзгодами: он может потерять пост, не исключена даже угроза их жизням. Но Сильвия, его жена, дочь Бон и сыновья Мигги и Панчо просили его поступить так, как он сам считает нужным, и заверили, что во всем будут с ним. И он пошел на этот смелый шаг, который действительно принес ему и его семье кучу неприятностей; но он знал, что уберег честь и достоинство.

В субботу, 22 февраля, он и его супруга как раз собирались на свадьбу Филиппа Пиччио, сына командующего военно-воздушными силами. (Интересно отметить, что через четыре дня Рамон Фаролан сам станет командующим ВВС.) И вдруг отчаянный телефонный звонок — звонит Молли, сестра госпожи Фаролан: Энриле и Рамос взбунтовались против Маркоса! Госпожа Фаролан сказала мужу, что, пожалуй, на свадьбу идти не придется — не лучше ли узнать, что происходит в Кэмп Агинальдо? Рамон Фаролан надел куртку попроще и сказал, что направляется в Агинальдо. Его жена и оба сына на весь вечер просто прилипли к радио «Веритас».

В 7.45 наконец-то позвонил генерал. Он сказал:

«Дела обстоят так. Я здесь, в Агинальдо, и здесь останусь. Соберите все необходимое и укройтесь где-нибудь в безопасном месте. Голову не терять». Миссис Фаролан держала с сыновьями совет. Бежать и укрыться? Но оба сына, как и она сама, придерживались мнения, что надо остаться дома и ждать звонков отца.

Сам Энриле, зная характер Рамона Фаролана, вовсе не удивился, что генерал первым присоединился к мятежу. Для Энриле, в отчаянной спешке покинувшего дом, потянулся долгий-предолгий день.

Вскоре после трех он уже был в министерстве, в Кэмп Агинальдо: созывал журналистов на пресс-конференцию, раздавал оружие — автоматы «узи» и «халиль» из Израиля, новенькие, ни разу не стрелявшие автоматические винтовки М-16. Потом приказал Гринго Онасану поставить вооруженную охрану не только вокруг Кэмп Агинальдо, но и вокруг Кэмп Краме, напротив через авеню, где размещался штаб жандармерии и полицейских сил страны, — там все симпатизировали РАМ. Энриле начал с парой сотен людей, но к вечеру это число удвоилось.

Он позвонил американскому и японскому послам и попросил их уведомить свои правительства о том, что он пошел против Маркоса. Затем он позвонил жене и просил ее сообщить кардиналу Сину и издателю Эгги Апостолу о своем шаге. По международной линии связался еще с одним человеком, Рафаэлем Саласом, главой агентства по вопросам народонаселения ООН, — его подняли с постели в Нью-Йорке в половине четвертого ночи, чтобы он выслушал сообщение Энриле о разрыве с Маркосом. «Я звоню, чтобы попрощаться, — сказал Энриле. — Может быть, меня скоро убьют. Паэнг, ты позаботишься о моей семье?» Для Энриле Паэнг Салас был чем-то вроде отца, он был предан ему еще со времени их совместной учебы в Филиппинском государственном университете. Это Паэнг положил начало его карьере, представив молодого Энриле Маркосу.

После этого прочувствованного разговора по международной линии с Паэнгом Саласом (в Маниле было 4.30 дня) Энриле провел совещание с полковником Гринго Онасаном о том, как им обороняться, а затем с бригадным генералом Педро Бальбанеро — тот обещал хранить нейтралитет и не участвовать

ни в каких военных действиях против Энриле. Министр обороны в некотором роде обрек себя на пассивное сопротивление: «Я сказал, что мы откроем огонь только в случае нападения, потому что мне хотелось сохранить шанс на переговоры со всеми, кто выступил бы против нас». Решив не открывать огня первым, Энриле начал обзванивать своих знакомых из оппозиции и, оповестив их о кризисе, вызванном его действиями, просил помощи в предотвращении крупномасштабного насилия, то есть гражданской войны.

Все это время он с нетерпением ожидал появления генерала Рамоса. Какая может быть пресс-конференция без Рамоса? Наконец генерал появился около шести и объяснил, что ему пришлось действовать чрезвычайно осмотрительно, так как он не знал, под наблюдением он или нет.

Когда они направлялись в актовЫй зал министерства обороны для встречи с прессой, огромная белая луна года Тигра поднималась в сгущавшихся сумерках. На Энриле была полевая куртка рейнджера, синие джинсы и кроссовки. Рамос красовался в серой куртке, во рту сигара. Отвечая на приветствие журналистов, Энриле мрачно заметил: «Вечер может оказаться вовсе не добрым!»

А потом они с Рамосом сообщили журналистскому люду, что оба порвали с режимом, потому что не признают Маркоса законно избранным президентом страны.

«Я не могу с чистой совестью поддерживать президента Маркоса, который отверг волю народа на выборах,— сказал Энриле.— Я не могу служить президенту, который не способен далее поддерживать достоинство кабинета».

И он заявил, что у него на родине, в Кагаян-Валли, Маркос приписал себе по меньшей мере триста пятьдесят тысяч голосов.

«Вооруженные силы,— подчеркнул генерал Рамос,— перестали быть вооруженными силами народа. Солдат сделали слугами всемогущих политиканов».

Энриле сказал, что и он, и Рамос становятся на сторону Кори Акино: «Всем умом, всем сердцем я искренне верю, что она была законно избрана президентом республики. Я считаю ее президентом Филиппин».

Рамос призвал «справедливых, добросовестных, преданных народу» военнослужащих «присоединиться к нашему крестовому походу». Он сказал: «Я взываю ко всем вам о помощи, потому что воззвать к президенту мы уже не можем».

А вот еще слова Энриле: «Мы уверены, что честные люди в армии знают, как поступить в такой ситуации. Если они повернут против нас оружие — пусть будет так! Но мы предприняли этот отчаянный шаг, чтобы показать всему миру и филиппинскому народу, в каком неутешительном положении сегодня находится страна. Близится день неминуемой расплаты».

И еще они с Рамосом объявили, что из Агинальдо не уйдут, даже если им суждено здесь погибнуть. А когда какой-то журналист спросил, приглашают ли и прессу остаться на ночь, Энриле хмыкнул: «Если хотите... и если вам хочется на себе испытать минометный обстрел. Что ж, добро пожаловать. Провизии у нас нет, но...»

Ну, провизии-то будет как раз много. Примерно через час после пресс-конференции кардинал Син выступил по радио «Веритас» от имени двух архибунтовщиков, укрывшихся в военных городках на ЭДСА.

«Идите в Кэмп Краме и Кэмп Агинальдо! — возвестил кардинал *urbi et orbi* — „граду и миру“.— Окажите поддержку Энриле и Рамосу, защитите их. И принесите еды — им нечего есть».

И вышли множества.

В одно мгновение целые семьи устремились в Краме и Агинальдо, прихватив горшки вареного риса, сковородки с китайской лапшой, подносы с сэндвичами — и все это для двух архибунтовщиков и их солдат. Сначала дюжинами, потом сотнями, а потом и тысячами филиппинцы хлынули в ворота военных городков, предлагая свои дары: гроздь бананов, коробки с бисквитами, сумки с утиными яйцами, корзины с рисовыми пирожками и блинчиками, ящики с пиццей.

И придя, они остались.

Люди остались на всем протяжении авеню, разделявшей два городка. Разве кардинал Син не просил верующих поддержать Энриле и Рамоса, защитить их?

«Я буду счастлив, если вы продемонстрируете

ное единство с ними и поддержите их,— сказал кардинал.— Они проявили достойный идеализм».

Так что эти кормильцы стояли бивуаком у стенешных городков, не спуская глаз с армейских подразделений, развернутых неподалеку.

«Только,— посмеивались бивуачники,— не они нас унижают, а мы их».

Все сходилось на том, что армия не посмеет наступать на Краме и Агинальдо, если на ЭДСА лагерь будут стоять мирные люди. Так началось это героическое бдение на авеню, длившееся четыре белых ночи в первое полнолуние года Тигра.

3

Кто с крайним изумлением слушал пресс-конференцию Энриле и Рамоса, так это жена Эдди Рамоса, Амелита, которую он зовет Минг. Когда Минг Рамос услышала, что ее муж отзывается о Маркосе как о «канатном плясуне или ком-то в этом роде», она не поверила собственным ушам. «Потому что никто не смел слова сказать против Маркоса — никогда!» Оба они близкие родственники: дед Маркоса и бабка Рамоса были братом и сестрой. И вдруг: пожалуйста, извольте радоваться, Эдди выступает по радио «Веритас» — «вражескому» радио — и говорит о Маркосе не совсем приятные вещи!

Минг Рамос поняла, что ее муж очень сердит и дело серьезное.

Забавно, что в тот же день он встречался с группой так называемых «крестоносцев Кори». Рамосы живут в Алабанге, и их поставили в известность, что «крестоносцы Кори» будут пикетировать их дом; генерал Рамос предложил вместо этого диалог в четыре часа дня, и «крестоносцы» приняли предложение.

В три часа того же дня он услышал от Бетти Го Бельмонте, что Джонни Понсе Энриле вот-вот арестуют. (Бетти была с Эгги Апостолом, когда ему женила Кристина Понсе Энриле. Эгги тут же отправился к Кристине, а Бетти позвонила кардиналу Сину, а потом Рамосу.) Совершенно спокойно Рамос бросил: «Следующим, видимо, буду я». Она спросила, встретится ли он все же с «крестоносцами Кори», и он сказал: «Да».

Через полчаса позвонил Энриле. Минг услышала,

как ее муж обещает поддержку. «Мне надо встретиться с людьми, которые хотят выставить пикеты у моего дома, с „крестоносцами Кори“, — говорил генерал в трубку, — но сразу после этого я двинусь к тебе в Агинальдо».

В четыре прибыли «крестоносцы Кори», и их встреча с генералом шла столь успешно, что продолжалась до шести часов. Минг Рамос подавала гостям домашнее печенье и апельсиновый сок и с радостью отметила, что предполагаемые пикетчики покинули их дом в отличном настроении.

Потом генерал, как обычно, собрал сумку.

— Всякий раз, — говорит она, — уходя из дома, он кладет себе в сумку смену одежды, кроссовки и все такое, поскольку он бегаёт трусцой и вообще увлекается спортом.

Он сказал ей, что к ужину не будет.

— Конечно, — смеется она сейчас, — сколько именно вечеров не ждать его к ужину, он не говорил.

Она знала, что уже долгое время работа не приносила мужу удовлетворения. По старшинству он был впереди Вера, но Маркос объявил, что Вер главнее, чтобы назначить Вера начальником штаба. Потом, когда Маркос объявил, что принимает отставку Вера и назначит Рамоса начальником штаба, бедный Эдди все ждал и ждал, но письменного приказа от Маркоса так и не получил и понял, что никогда не получит. Маркос, Вер и три его подпевалы (Рамас, Пиччио и Очоко) ясно давали понять, что Эдди Рамос — лицо нежелательное. Как-то раз за обедом, когда Рамос встал, чтобы произнести речь, подпевалы вообще покинули зал.

Поскольку и другие офицеры, лизавшие сапоги Веру и трем его подпевалам, тоже вели себя оскорбительно по отношению к Рамосу, многие задавались вопросом, как он все это терпит. Одна генеральская жена восклицала: «Почему Рамос не уходит в отставку? Или он, в отличие от своей сестры Летисии, не мужчина?» (Посол Летисия Рамос Шахани ушла с дипломатической службы, объявив, что поддерживает Кори.)

Минг Рамос говорит:

— Мой муж честный, терпеливый, преданный солдат. Он понимал, что отставка сестры коснется лишь немногих людей, тогда как его отставка отразится

на судьбе более ста тысяч солдат — хороших солдат, профессионалов. Он чувствовал, что должен оставаться на посту ради единства вооруженных сил.

Во время той потрясающей пресс-конференции в субботу она слышала, как генерала спросили, где его семья. И даже вздрогнула, когда он ответил: «Они все дома — моя девяностодвухлетняя теща, жена, дети, даже мой четырехмесячный внук. Но с ними мощь всего народа. Вокруг нашего дома сейчас около двухсот человек».

Минг негодует:

— Кто его просил сообщать об этом всем — и что моей маме девяносто два года, и что внуку четыре месяца?!

Собственно говоря, добавляет она, во время пресс-конференции «народная мощь» вокруг дома Рамона и Алабанге исчислялась всего лишь дюжиной добровольцев. Но пока продолжалась осада на ЭДСА, толпа у дома тоже разбухала — подходили новые добровольцы, так что к концу осады вокруг дома стояли лагерем более тысячи человек, пришедших позаботиться, чтобы близких генерала Рамоса никто пальцем не тронул.

Минг очень выдержанная женщина. Она велела всем членам семьи собрать сумки и быть готовыми сняться в любое время.

— На мне самой были джинсы, безрукавка и кроссовки — хоть сейчас бежать! Но я не двинулась с места. Я, так сказать, была под домашним арестом.

Имеется в виду, что она просто не могла вот так встать и покинуть дом. Все, что ей, как и прочим членам семьи, оставалось — это сидеть как приклеенной у радиоприемника.

— И всякий раз, слушая, как говорит Эдди, я ощущала прилив энергии.

Она слышала, как он призывал своих друзей присоединиться к нему в Краме, как напоминал им о днях, когда они вместе бегали трусцой, гоняли мяч, играли в другие игры. И как же Минг хотелось тоже быть с ним!

— Он очень атлетичен, хотя у него только одна почка. Другую он потерял по окончании Уэст-Пойнта¹. И чем бы он ни занимался — испанским мячом, водными лыжами, — с ним всегда вся семья, включая

¹ Уэст-Пойнт — военное учебное заведение в США.

меня. В университете я специализировалась по физическому воспитанию. Водными лыжами овладеть трудно, но после примерно пятидесяти падений я научилась держаться стоя. А когда он начал прыгать с парашютом, мне тоже захотелось попробовать, но он не позволил. Я очень тогда расстраивалась. Но теперь он не возражает: говорит, что мы уже достаточно стары и дети выросли.

Они вместе учились в средней школе Исаак Пераль при Филиппинском университете; потом Эдди отправился в Уэст-Пойнт, потом — в университет штата Иллинойс, а она — в Бостон. К тому времени, когда в апреле 1953 года они объявили о помолвке, они знали друг друга уже тринадцать лет. Обвенчались шесть месяцев спустя. На ухаживание у него ушло столько времени потому, что — Минг морщится — «Эдди вечно корпел над книгами».

Конечно, признает Минг (прежде всего имея в виду четыре дня полнолуния в начале года Тигра), трудно быть женой военного — они вечно где-то болтаются. И еще одно признание: узнав о том, что Эдди с Энриле укрылись в военном городке, она не сразу сообразила послать им чего-нибудь поесть — по той простой причине, что ее Эдди вообще о еде не думает.

— Потому он всегда и в форме. Ест простую пищу, не любит жирного, зато поглощает множество бананов — в них много углекислого калия. Всякий раз съедает на десерт один большой банан или два маленьких. И еще он всегда ест только что-то одно: если это тушеное мясо — то только тушеное мясо, если рыба с овощами — то только рыба. Иногда я разогреваю остатки и тоже подаю ему. Но Эдди всякий раз интересуется: откуда взялось «лишнее»? Он даже кофе пьет немного. Предпочитает простой чай или имбирный. Он очень воздержан, и у него сильная воля. Но я-то люблю поесть!

Кое-кто обратил внимание, что все четыре дня революции Эдди без конца жевал сигару, и люди спрашивали Минг, не есть ли это «нервная привычка» ее мужа.

— Нет. Раньше он курил трубку, но потом как-то заметил, что его дантисту пришлось потратить два часа, чтобы снять камни с зубов. Тогда он вообще забросил табак и не курил, пока наша дочь, Чула, не забеременела — а Эдди надеялся на внука, пото-

му что у него пять дочерей. И он обратился к сигарам, чтобы способствовать рождению мальчика.

Сигара — символ мужского плодородия. Но Чула все равно родила девочку. Однако Эдди Рамос за время ожидания уже пристрастился к сигарам, вот он и жевал их, пока сидел с Энриле в осаде на ЭДСА, а его бедные жена и дочери беспомощно следили за происходящим из Алабанга.

Один их сосед, сторонник Маркоса, невзирая на улюлюканье толпы вокруг дома Рамосов, пробрался к ней и предложил воспользоваться его вертолетом для эвакуации или телефоном, чтобы напрямую связаться с Малаканьянгом и Маркосом. «Мне нечего ему сказать», — пожала плечами Минг.

Она предпочла не двигаться с места и триумфально досидела до конца кризиса.

Но навсегда величайшим потрясением всей ее жизни останется в ее памяти тот вечер, когда она услышала, как муж назвал по радио своего двоюродного брата Ферди «канатным плясуном или кем-то в этом роде».

«Канатный плясун», если верить словарям, еле держится на канате.

В те ночи, когда полнолуние Тигра уже возвещало его крах, человек, которого на Филиппинах поклонники называли мастером политического маневра, сам не знал, держится ли он прочно или вот-вот слетит.

В те ночи, увы, он трагическим образом был совсем не на коне.

На коне был Рамос — он был в центре внимания, он шел вверх.

4

После пресс-конференции до Энриле дозвонилась Кори, которая на Себу вела кампанию гражданского неповиновения.

— Она спросила, что произошло. Я сказал ей, что мы сидим здесь и у нас все в порядке. Еще она спросила, что может сделать, и я сказал: «Молитесь за нас».

Потом на Энриле обрушились неожиданные посетители.

— Одним из тех, кто пришел и оставался с нами

от начала до самого конца, был бывший начальник штаба генерал Ромео Эспино, которого сменил на этом посту генерал Вер. Прибыл также бригадный генерал Рамон Фаролан и заверил, что поддерживает наше дело. Кроме того, он заявил, что уходит с поста руководителя таможенной службы, отказывается от военного звания и присоединяется к нам. Следующим был генеральный почтмейстер Роило Голес, который, насколько я понимаю, всегда поддерживал реформистское движение. Он тоже публично заявил о своем уходе в отставку. Чуть позже пришел отставной бригадный генерал Мануэль Флорес, спрашивал, как у нас дела. Довольно неплохо, сказал я ему, но учитывая, какие мощные силы могут быть брошены против нас, нельзя исключить и угрозу полного разгрома.

Один из посетителей оказался эмиссаром Малаканьянга.

— Полковник Роландо Абадилья прибыл сообщить, что президент желает поговорить со мной во дворце. Я сказал полковнику Абадилье, что говорить уже поздно. Мы сожгли мосты и полностью определились. Если сдадимся, окажемся беззащитными.

Какое-то время спустя Абадилья опять появился и сказал, что все же Маркос хотел бы поговорить о Энриле. Энриле снова отказался.

— Уж я-то знал, насколько это опасно — Маркос способен заговорить кого угодно. Я как-никак был с ним рядом двадцать один год, и его игры мне известны.

Эмиссар, однако, настаивал. Если Энриле не желает встречи с Маркосом, будет ли он говорить с Вером? В конце концов Энриле согласился переговорить с Вером, и скоро его соединили с генералом.

«Сэр, мы удивлены таким поворотом событий», — сказал по телефону Вер. «Видите ли, — ответил Энриле, — мне стало известно, что вы пытаетесь нас арестовать». — «Это неправда, это ложь! Не было ни таких планов, ни таких приказов!» — «Тем не менее, — продолжал Энриле, — жребий брошен, скорлупа яйца разбита, осталось только разболтать содержимое. Но если вы желаете диалога с нами, прошу вас не предпринимать сегодня ночью никаких нападений. Подождем до утра, а там поговорим».

На том и кончился телефонный разговор двух людей, всей душой ненавидевших друг друга.

Шел уже десятый час вечера. Энриле приказал поставить посты на каждом этаже здания министерства и по всему периметру Кэмп Агинальдо, а бригаду военной полиции сосредоточить у ворот — для предотвращения просачивания или ночного нападения.

Зная, что в кампусе Университета жизни¹ устанавливают артиллерию для обстрела Кэмп Агинальдо, Энриле мог только надеяться, что Маркос и Вердужа дважды подумают, прежде чем откроют огонь по району, где отовсюду собрались самые разные люди: мужчины и женщины, молодые и старые, миряне и священнослужители. Даже профессора, монахини и обитатели роскошных кварталов Макати, как уличные мальчишки и девчонки, запанибрата общались на тротуарах с крестьянами и рыбаками. А что уж говорить об ордах иностранных корреспондентов — они буквально как псы гонялись за голубыми джинсами Энриле.

— Журналисты были с нами, спрашивали, можно ли им остаться. Я сказал, что мы будем рады, но у нас нет никаких удобств, а они говорят: «Наплевать на удобства, мы хотим быть поблизости». Люди потоком устремлялись в здание министерства обороны. Входя, они сообщали, что снаружи, на улицах, защитить нас собрались сотни и тысячи, миллионы людей. А радио «Веритас» все призывало верующих идти оградить военных мятежников. Странно: мы в министерстве обороны призваны защищать народ, а тут он защищал нас».

Была среди посетителей и сестра Энриле, кинозвезда Армида Сигион Рейна. Встретившись, брат и сестра молча посмотрели друг на друга, так же молча обнялись и заплакали. Чуть позже Армида привела свою приятельницу, суперзвезду Нору Аунор, — толпа снаружи освистала ее. «Сука!» — шипели те, кто видел ее; и еще: «У нас нет, как у Маркоса, семи миллионов, чтобы купить тебя!» И сравнивали ее с балимбингом — тропическим фруктом, по форме похожим на морскую звезду. Поэтому, пред-

¹ Университет жизни — высшее учебное заведение, основанное Имельдой Маркос; расположен недалеко от военного городка Кэмп Агинальдо.

став перед Энриле, в пользу которого она вела кампанию, когда тот баллотировался в конгресс, она начала объяснять, что ни сентаво не взяла у Маркоса; но Энриле прервал ее, обняв так основательно, что оторвал от пола.

Поздним вечером, в одиннадцать часов, в эфире объявилась и другая сторона. Мистер Маркос наконец-то созвал свою пресс-конференцию, впрочем весьма немногочисленную, — была представлена только послушная ему пресса, поскольку большинство иностранных корреспондентов находились на ЭДСА, где разворачивались главные события. Малаканьянг за ограждениями из колючей проволоки казался покинутым — машина истории прокатила дальше.

Тем не менее из одряхлевшего зала для избранных — Махарлика — была поведена миру еще одна страшная сказка: существовал заговор убить его и Имельду, Энриле с Рамосом участвовали в заговоре, а когда их предательство было раскрыто, они взбунтовались.

«Я призываю бывшего министра обороны и бывшего заместителя начальника штаба прекратить глупости и «сдаться», — сказал Маркос.

Тут он выставил некоего капитана Рикардо Моралеса, который зачитал признание: «Я был участником заговора, имевшего целью штурмовать Малаканьянг и убить президента».

«Признание» прозвучало неубедительно — ведь люди только что слышали от Энриле, как в 1972-м было инсценировано покушение на жизнь Маркоса, чтобы дать ему предлог ввести чрезвычайное положение. Маркос — большой мастак по части подделок, ухмылялись они: липовые торжества, липовые медали, липовые литературные труды, липовое здоровье, так что ему по зубам подделать даже покушение на собственную жизнь.

Ночью дворец оглашал стук плотницких молотков. Нет, плотники сколачивали не гроб — это были подмости. Маркосы решили провести инаугурацию 25 февраля — здесь, во дворце, а не на площади Лунета. Они утрут нос всем, кто хочет им утереть нос: не пригласят дипломатов и иностранных гостей — и всё. Один твердокаменный сторонник Маркоса потребовал гнать прочь «всех крыс, псов и змей».

Близилась полночь, но толпа на ЭДСА, вместо

того чтобы редеть, сгущалась. Сотен тысяч там не было, тем более миллионов, но, по осторожным оценкам, в первую ночь там бодрствовали около ста тысяч человек. Одна из причин такой активности: стояла дивная ночь. Луна, почти полная, светила так ярко, что нашлись люди, утверждавшие, будто могли читать при ее свете; а воздух был столь чист и свеж, что уходить никому не хотелось. Впрочем, довольно скоро размеры толпы подтвердило зловоние, доносившееся из укромных местечек — там люди следовали зову природы, — особенно от западной стены городка, где растет густой кустарник. Когда ветер дул оттуда, толпа чуть-чуть отшатывалась.

Никто не бахвалился и не выставлял себя героем на этом бивуаке, которому грозил обстрел. Священники, монахини, благочестивые верующие находились там по приказу примаса, взрослые миряне были просто-напросто против Маркоса, для молодежи это была забава.

Только на следующий день, когда угроза смерти подступила вплотную, общее настроение стало мрачнее и торжественнее, серьезнее и напряженнее, хотя внешне все были по-прежнему беззаботны. Толпы людей, с улыбками, с крестами и цветами, с розами и четками устремлявшиеся на пушки и танки, поуждали себя к этому акту последнего причащения.

Шафранные ленты, которые мы повязывали себе, символизировали желтизну тигра, однако в ней были черные полосы.

Воодушевясь, филиппинцы наконец-то сажали тигра в свой танк, но не тот, о котором кричала реклама бензина.

Часть вторая

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА

5

Безобразие началось воскресной битвой телепрограмм. В час ночи Маркос появился на экране телевизора, чтобы представить другого предполагаемого убийцу, майора Саулито Арумина, заявившего, что он входил в одну из сформированных пяти групп, которым была поставлена задача пересечь Пасиг,

атаковать Малаканьянг и убить Маркосов. Руководителями заговора, утверждал Арумун, были Гринго-Онасан, Рэд Капунан, Джейк Малахакан и Арсенио Сантос. Явно пойдя на попятную, Маркос на этот раз заявил, что нет свидетельств причастности Энриле и Рамоса к заговору, и просил их обоих «прислушаться к голосу разума и прекратить эту бессмыслицу». Он сказал, что вооруженные силы тесно сплочены вокруг него, но: «я бы предпочел не стрелять».

1.45: радио «Веритас» — заявление об отставке члена Верховного Суда Нестора Алампа зачитывается его дочерью Марией Белен; вся их семья рада, что ее отец, отдавший юриспруденции тридцать девять лет, наконец-то ушел из маркосовского Верховного Суда. «Мы давно ждали этого», — добавила Мария Белен.

2.15: в эфире Энриле — он отвечает на предъявленные Маркосом обвинения в неудавшемся мятеже. Энриле заявляет, что все это абсолютный вздор. Если Маркос действительно хочет вступить в переговоры, Энриле готов пойти навстречу, но не в Малаканьянге: «Не исключено, что нам оттуда живыми не выйти!» Он, Рамос и их соратники не согласятся «меньше чем на отставку мистера Маркоса», поскольку мистер Маркос не имеет права на четвертый срок президентства — он захватил власть путем мошенничества на выборах 7 февраля. Энриле высмеивает уверения Маркоса, что тот-де способен в любой момент подавить мятеж: «Сегодня правительство располагает только поддержкой со стороны кучки военных. А мы делаем ставку на молодых офицеров, не утративших идеализм и любовь к родине». Энриле также признает, что беспокоится за своих близких: «Мне неизвестно, где они сейчас. Надеюсь, они уцелеют. К этому делу они не имеют никакого отношения. Уходя, я просил жену позаботиться о семье».

3.07: кардинал Син выходит в эфир с призывом к войскам Маркоса не применять оружие; пусть Вер откажется от насилия. Затем кардинал воззвал к верующим, моля их «не покидать Энриле, Рамоса и их семьи».

3.11. бизнесмен Хаиме Онгпин призывает «обеспокоенных граждан» собраться «в больших количествах» возле Кэмп Краме и Кэмп Агинальдо. «Толпы людей — барьер насилию», — заявляет Онгпин.

3.20: капитан военно-воздушных сил Джон Эндрюс по радио «Веритас» призывает своих товарищей по оружию перейти на сторону Энриле и Рамоса: «Они пошли на большие жертвы ради филиппинского народа. Мы просим филиппинцев сплотиться вокруг них. В этот час кризиса нам нужен каждый человек. Пришло время встать, провести перекличку и отвергнуть тиранию!»

Передали и письмо генерального почтмейстера Голеса об отставке. «Это,— заявил Голес,— не акт дезертирства, а дело совести».

Приближался рассвет, и Энриле попросил журналистов и сочувствующих, толпившихся в его кабинете на третьем этаже здания министерства, спуститься вниз — возможна атака вертолетов.

По воспоминаниям Энриле, ему надарили столько крестиков и четок, что в конце концов их некуда было девать.

— С рассветом прибыл отец Нико из прихода Магальянес, а с ним отец Бернас и Джимми Онгпин. В актовом зале отслужили мессу. Читали главу из Исхода об освобождении израильтян от пленения. Мы все отстояли службу, все причастились. Потом отец Нико и ректор Бернас из Атенео попросили меня и генерала Фаролана преклонить колени. Они благословили нас и окропили святой водой.

В это время генерал Рамос в соответствии со стратегическим замыслом, разработанным им совместно с Энриле, находился в другом лагере на противоположной стороне авеню.

— Рамос оставил на меня Кэмп Агинальдо, а сам отправился организовать оборону в Кэмп Краме. Мы хотели держать под контролем оба городка. Все воскресенье мы оставались каждый на своем месте, ожидая нападения. К тому времени вся ЭДСА между Кэмп Краме и Кэмп Агинальдо была уже забита людьми. К обоим городкам можно было подойти только по телам людей, только убивая гражданских.

Конечно, можно было артиллерийским огнем стереть в порошок оба городка, и не продвигаясь по ЭДСА,— Энриле до сих пор не может понять, почему они не использовали артиллерию.

— Это была их ошибка. Они колебались. Они не знали, что тут у нас происходит. Отсюда урок — на войне необходима решительность. Первые двенад-

цать часов решают победу; если не действовать сразу — успеха не будет.

Очевидно, Вер стоял за более решительные действия, а Маркос предпочитал тянуть время. Позднее Маркос скажет, что не хотел проливать кровь филиппинцев. Судя по всему, он уже знал, что может столкнуться с неповиновением, если отдаст приказ открыть огонь. Военные пачками переходили на сторону мятежников.

По другой версии, Рейган предупредил Маркоса, что США тут же прекратят помощь, если Маркос откроет огонь по мятежникам.

Как бы то ни было, все согласны, что «сильный человек» действовал нерешительно, когда надо было проявить твердость. Подстрекая его нанести удар по сильнее, обозреватель «Таймз Джорнэл» Хосе Гевара так говорил о своем кумире: «Подождите, пока он снимет перчатки!»

Когда перчатки были сняты, оказалось, что силы в руках нет.

6

Насколько Энриле помнит, в то прохладное воскресное утро сон сморил его около трех.

— Мы не разувались, спали где придется.

Как-то раз, во время совещания с Рамосом, они оба заснули друг подле друга. Рамос вздрогнул, когда, пробудившись, увидел рядом с собой мужское лицо: это был Энриле, который откровенно храпел!

Энриле утверждает, что днем в воскресенье его охватило чувство нереальности происходящего — все было как во сне, «в дурном сне», и тут его пробудил от дремоты адъютант, сказавший: «Надо подготовиться к эвакуации».

Энриле спросил, нет ли сведений о готовящемся нападении. Адъютант ответил: «Нам лучше перебраться в Кэмп Краме и соединиться с силами генерала Рамоса».

Как раз в это время толпы на ЭДСА были взбудоражены сообщением, что по авеню к городкам идут танки.

Энриле и его люди вышли из Кэмп Агинальдо, словно в религиозной процессии, сопровождаемые молящимися монахинями и борцами за свободу, ко-

горы несли изображения Девы. По выходе на авеню его окружила толпа.

— Мы видели море людей, кричавших так громко, что нам сразу же стало ясно — нельзя проиграть, имея такую поддержку народа. Вот так я примерно думал, идя через дорогу. Толпа была настолько плотная, что я едва протискивался.

В Кэмп Краме он присоединился к генералу Рамосу на террасе четвертого этажа — оттуда открывалась широкая панорама обоих городков, от улицы Ортигас до улицы Сантолан и района Кубао.

— О господи! Я был прямо-таки изумлен количеством людей. Они пели, хлопали в ладоши, смеялись, подбадривали нас!

То, что они увидели чуть подалее улицы Ортигас, было не столь вдохновляющим: колонна из семи танков и два батальона морской пехоты двигались из форта Бонифасио к городкам.

— А мы знали еще об одном танковом соединении, стоявшем в Кубао, на другой стороне авеню, — их пушки были наведены на Краме.

Энриле понял, что их хотят взять в клещи, которые сомкнутся у Ортигас и Кубао.

— Но атака как-то выдохлась, даже не начавшись. Спасибо людям. Люди остановили танки и войска.

Эта драма привела в восхищение весь свободный мир: филиппинские борцы за свободу преградили путь военной машине своими телами, своими улыбками, своими молитвами, песнями, цветами, шутками, своей верой в Господа. Энриле тоже не остался без дела.

— Я сделал два телефонных звонка. Первый — американскому послу, в надежде, что он посоветует своему правительству предостеречь Малаканьянг, чтобы там придерживались более осторожного курса. А потом я позвонил генералу Веру. Если вы убьете нас, сказал я ему, вы с президентом войдете в историю как мясники, как убийцы своих же офицеров и солдат, мирных филиппинцев и иностранных корреспондентов.

Результатом этого был телефонный разговор с Маркосом. Тот предложил еще один выход. «Собственно говоря, — сказал он Энриле, — в мои намерения не входит наказывать ваших людей. Но они должны предстать перед трибуналом — надо показать

общественности, что мы чтим закон. Однако могу вас заверить — они будут помилованы».

Тем не менее Энриле отказался проглотить эту наживку.

— Я сказал Маркосу, что не могу связать себя обязательствами, ибо не знаю, как решат мои люди. Мне нужно собрать их и обсудить дело с ними. На этом наш разговор был окончен.

Тем временем разворачивалась «битва» на ЭДСА. Роландо Доминго, метрдотель, ходил туда посмотреть, что к чему, и обнаружил, что выбраться оттуда невозможно. Утром в воскресенье он уже побывал в Краме, и его «первые впечатления о взбунтовавшихся солдатах» сводились к трем джипам, набитым людьми в полевой форме, которые показывали разведенные большой и указательный пальцы, то есть букву «L», что означало *laban* — «против».

— Ворота Кэмп Краме были украшены флагами и плакатами. Наверху, на цементной крыше кордегардии, вперемежку толпились гражданские и военные с желтыми лентами, привязанными к стрелковому оружию. Оно было не с правительственных складов. Я разглядел издалека израильские «узи», пехотную винтовку «халиль», бельгийский карабин. У каждого солдата на рукаве был пришит или приклеен филиппинский флажок, солнцем и звездами вниз.

Роландо Доминго шел через толпу, слушал ораторов с мегафонами, призывавших людей собираться или у главных ворот на ЭДСА, или у ворот со стороны 13-й авеню.

— Я узнал священника из Атенео: он купил пакет орехов и бросил его за ограду лагеря, крикнув солдатам при этом, чтобы они разделили их между собой. Человек с пакетом сдобных булочек тоже принялся их кидать. Кто-то скупил весь лоток разносчика сигарет и бросал пачки через ворота. Солдаты расплывались в улыбке до ушей и собирали сигареты. Потом были речи через громкоговорители, толпа аплодировала. Ворота отворились, над толпой поплыл национальный флаг. Толпа скандировала: «Ра-мос! Ра-мос!» Генерал вышел и зачитал список подразделений, перешедших на сторону мятежников.

В тот же день часам к трем, прихватив своего друга из Макати, Роландо Доминго вернулся на место событий в Краме.

— По пути мы встретили джип морских пехотинцев и прокричали им «ура», полагая, что они переходят на сторону мятежников. Затем обогнали еще три джипа, потом четыре бронетранспортера с солдатами, а потом, к нашему ужасу, увидели три танка. Точнее сказать, не танки, а гусеничные боевые машины пехоты, каждая солдат на двадцать. Огромные, величиной с туристский автобус. На каждой по меньшей мере один 50-миллиметровый пулемет Браунинга. А как несутся! Я делал километров восемьдесят в час, когда обогнали последнюю. Они с ревом устремлялись на авеню, дробя покрытие.

Доминго припарковал машину сразу за подземным переходом у бульвара Шоу; он с приятелем пошел к месту, где солдаты высаживались из бронетранспортеров.

— Морские пехотинцы были в пятнистой форме — не в полевой, оливкового цвета, а в бледно-зеленой, которая сливается с цветом листвы в джунглях. Поясов с патронами на них не было, но у каждого — патронташ на десять обойм по тридцать патронов. Они выстроились у стены и стали проверять винтовки — между прочим, старенькие М-16. Некоторые даже без ремней — так, какие-то нейлоновые бечевки привязаны. Из грузовика высыпал взвод солдат — видом получше и, похоже, поопытнее. Это были рейнджеры, в маскировочной форме, да и огневая мощь у них куда сильнее. У одного на груди пулеметные ленты крест-накрест. Другой снимал с машины базуку, еще двое сгружали деревянные ящики — по-моему, с разрывными реактивными снарядами для гранатомета. «На чьей вы стороне?» — крикнули мы им. Они нахмурились. Мы показали пальцами «L» — «против». Они только оглядывались на своих офицеров.

Подойдя поближе к перекрестку ЭДСА и Ортигас, Доминго и его напарник увидели, почему бронированная колонна остановилась. Толпа на ЭДСА стала стеной перед танками и войсками.

— Пять автобусов по осевой блокировали шоссе, а люди разбирали покрытие, чтобы сделать дорогу вовсе непроходимой. И тут я с ужасом понял, что стою как раз на пути бронетранспортеров — их моторы работали на холостом ходу. Вдруг в толпе закричали: «Садитесь! Садитесь! Все садитесь — тогда

солдаты увидят, как нас много!» Я сел. Меня била дрожь. Потом кто-то начал молиться вслух. Это была женщина в белом — она стояла на коленях перед самым танком. Другие стали повторять за ней. Мой напарник взял у нее четки. Корреспонденты снимали видеокамерами, как женщина в белом громко творила молитву, выделяя слова «ныне и до смертного часа». Впервые за много лет я ощутил *присутствие*. Там оно было, совершенно явно...

Наконец офицер приказал танкам свернуть вправо, на поросший травой пустырь возле перекрестка. Взрыв восторга. Потом монахини вышли вперед, смешались с солдатами, пытались разговорить их. «Почему вы не отвечаете?» — спрашивали они поджавших губы солдат. Один наконец-то смущенно сказал: «Нам приказано не вступать в разговоры».

Роландо Доминго и его приятель отправились в Кэмп Краме.

— К этому времени мешки с песком уже перегородивали авеню до самой бетонки, ведущей к Белым Равнинам. А вокруг люди — целые семьи, группы студентов... напряжение чувствовалось, но настроение праздничное. Над головами кружили вертолеты — так низко, что мы различали лица солдат, машущих нам руками. «Они на нашей стороне», — заулыбались все. Я видел один вертолет Сикорского с ракетами под фюзеляжем. Было уже темно, когда мы надумали вернуться домой. Пешком пошли к машине, но тут же убедились, что вывести ее невозможно. Решили провести ночь на ЭДСА, но как можно ближе к Краме — на случай нападения правительственных войск. Тогда хоть успеем сообразить, что делать. С едой проблем не было. Люди сами делились своими запасами. Кроме того, специальные бригады снабжения раздавали продовольствие из фургонов и легковых машин.

А потом — как будто не хватило великолепия полной луны — раздали фонарики... Их мягкий свет делал обстановку еще более праздничной.

7

Те, кто дерзнул пойти дальше, в то воскресенье были вознаграждены переживаниями, которые на всю жизнь останутся у них ярчайшими воспоминаниями.

Елена Роко, профессор университета Святого Фомы, рассказывает о незабываемой сцене, свидетельницей которой она оказалась в тот воскресный день. На пути к авеню от улицы Сантолан она услышала шум — словно мчалось огромное стадо — и тут же увидела сотни тысяч людей, бегущих по ЭДСА. На первый взгляд могло показаться, что людей охватила паника и толпа в ужасе спасается бегством. На самом же деле люди бежали не от опасности — скорее, они целеустремленно неслись *навстречу* ей! Вот почему это было так зрелищно, говорит Елена Роко. Завидев танки, двигавшиеся к авеню Ортигас с грозно поднятыми стволами пушек, борцы за свободу поспешили *навстречу* пушкам, чтобы *остановить* технику!

Тысячи людей вывела на улицу и попытка Маркоса заглушить голос свободы в стране — радио «Веритас». Радио «Веритас» подробно освещало ход восстания, особенно события в мятежных военных городках. Утром в воскресенье, 23 февраля, правительственные войска взяли радиостанцию «Веритас» и уничтожили там оборудование на пятьдесят миллионов песо. Лишенные сообщений, за которыми все так напряженно следили, горожане решили отправиться на ЭДСА, чтобы своими глазами увидеть восстание.

Оказалось, однако, что радио «Веритас» умолкло только на время. Воспользовавшись запасным оборудованием, радиостанция сумела возобновить передачи. Фашисты хотели заглушить не только этот голос; была угроза нападения на оппозиционные газеты, а потому начиная с субботы персонал «Инкуайера», который стал самой популярной газетой в городе, сидел как на иголках, ожидая ударов прикладами в дверь. Позднее стало известно, что глава маркосовского ведомства информации, Грегорио Сенданья, разработал план подавления не только оппозиционной прессы, но даже подвывавших президенту газет, чтобы уж наверняка заставить всех редакторов следовать линии Маркоса.

Увы, в то воскресенье, 23 февраля, о Маркосе говорили уже по-иному: *Tama na! Sobra na! Palitan na!*¹ Над ЭДСА плыла рапсодия в желтых тонах: почти на каждом было что-то желтое — рубашка, юбка или желтая лента на лбу. Уличные продавцы

¹ Хватит! Слишком! Перемен! (тагальск.)

получили колоссальную прибыль, продавая желтые ленты за песо, а то и за два. Особым спросом пользовались желтые шляпы в форме кисти руки, изображавшей знак «L». Со всех сторон звучала песня «Страна моя», ставшая гимном революции против фашизма; но забавно, что возродился и шлягер 50-х годов: например, политические куплеты «Мамбо, мамбо Магсайсай». И, конечно же, молодежь в любой момент готова была подхватить «Повяжи желтую ленту».

За возрождение «Мамбо Магсайсай» следует благодарить Джун Кейтли, нашу радиогероиню. Все четыре дня восстания она была в эфире в среднем по семнадцать часов в сутки! Уходила в семь утра, шла домой принять душ и соснуть пару часов, а к одиннадцати возвращалась на радио «Веритас» и оставалась в эфире весь день и всю ночь.

Поклонница современной музыки, она пришла в ужас от набора записей на «Веритас». Потом кто-то принес целый ворох пластинок, и среди них она обнаружила песни эпохи Магсайсая¹, написанные Манглапусом, в том числе «Я снова буду жить». Джун поняла, что эти песни выражают сегодняшние чувства, и начала прокручивать их. Отклик на «Мамбо Магсайсай» был потрясающим; восторженные люди звонили на станцию, чтобы сообщить: они без ума от новой мелодии, и она стала второй боевой песней революции.

Леа Наварро, певица, еще бодрствовала в тот воскресный день после ночи бдений, когда услышала по радио, что бронетранспортеры двигаются к мосту Гвадалупе. Она была с группой стражей революции.

— Мы были в четырех машинах, по двое в каждой. Поехали на ЭДСА, где увидели бэтээры. Они надвигались на нас как сама смерть — это все равно что встретить смерть на дороге. Грохот от гусениц стоял такой, что ничего не было слышно. Две машины мы послали к улице Ортигас, чтобы предупредить там людей на баррикадах, остальные двинулись за танками. Внутри словно сработал выключатель: мы все вдруг стали храбрыми.

Когда танки и войска остановились на Ортигас, Леа заставила себя заговорить с солдатами.

¹ Рамон Магсайсай (1907—1957) — президент Филиппин в 1954—1957 гг.

— Уинни Монсод, Тита Течи Веласкес и я взялись за руки и все трое первыми подошли к танкам. Сердце бешено колотилось, я едва справлялась со слезами. Я страшно боялась. На нас смотрели дула пулеметов. Я сказала одному солдату в танке: «Командир, почему бы тебе не спуститься к нам? Там, наверное, душно». Но он ответил: «Нет, мэм, у нас тут кондиционер».

Подшли еще люди, мы завязали разговор с солдатами. Кто-то догадался принести кассетный магнитофон и прокручивал обращение генерала Рамоса. Одна отчаянно храбрая дама взобралась на головной танк и уселась наверху. Солдаты умоляли ее слезть, а она только попросила у них прикурить. Потом она крикнула сверху, чтобы солдатам дали поесть. Мы убеждали солдат перейти на нашу сторону, выслушать Рамоса, хотели привязать желтые ленты к танкам, но они помалкивали.

Говорят, на авеню Ортигас вообще пытались руками отталкивать двигавшиеся танки — иностранцы на это даже восклицали в изумлении: «Эти сумасшедшие филиппинцы!»... Кто-то видел, как Вики Персе де Тагле «лоб в лоб» стояла против танка, упершись в него ладонями, а механик-водитель смотрел на нее, и слезы струились у него по лицу. Соня Роко возглавляла другую «противотанковую группу», но там танк заставил остановиться голос, обращенный к солдату, сидевшему в башне: «Сынок, а ведь здесь внизу твоя мать!»

Соня, жена мистера Рауля Роко, была одной из тех дам, которые организовали продовольственные бригады в самом начале восстания. Она с соседями установила у ворот № 4 в Кэмп Агинальдо стол и раздавала цыплят с рисом.

Когда танки все же двинулись дальше, люди легли на землю. Потом те, кто оказался позади, бросились вперед, чтобы защитить лежащих. Это было удивительное зрелище: никем не руководимая толпа действовала как один человек, и танки не могли двинуться, не раздавив людей. Когда они свернули с шоссе на боковую улочку, словно намереваясь пройти справа, сокрушив стены, толпа бросилась туда и заблокировала проход.

Кристина Аранета была в живой баррикаде, на Ортигас, где люди стояли взявшись за руки — они

дали клятву не разрывать эту *kapit bisig*¹, пока танки не остановятся. А они все приближались и приближались, и вот Кристина Аранета уже ощущала на лице горячее дыхание бронированных машин. Громче и громче ревели моторы, и казалось, что это уже сами люди вопят от страха,— и все же живая цепочка рук не оборвалась. Никто не побежал, никто не потерял сознание; все стояли на месте, готовые лечь под колеса надвигавшейся военной техники.

И танки остановились.

Вот теперь можно было хотя бы женщинам падать в обморок. Но никто не упал, только из толпы вырвался вздох — почти рыдание — облегчения. Через какое-то время танки свернули в сторону и остановились у торговых рядов возле Ортигас.

Кристина Аранета вспоминает, как группа девушек двинулась с цветами к танкам. Священники и монахини, распевая «Мать непорочная» — а подхватывали все,— дюйм за дюймом медленно приближались к солдатам — и вот они уже рядом, раздают им цветы и четки.

Среди тех, кто набрался храбрости подойти к солдатам и обратиться к ним, была Летти Гарсия Гонсалес, служащая Столичного банка. Она несла распятие, и толпа расступалась перед нею; и вот она уже стоит с распятием перед солдатами.

— Когда я оказалась лицом к лицу перед морскими пехотинцами, у меня язык прилип к нёбу, но я заставила себя говорить. «Мир тебе, брат мой», — обращалась я к каждому поочередно. На вид все молоденькие, двадцати еще нет, и я сказала им, что Господь любит их всех, и мы тоже всех их любим. Я все повторяла: «Мир, брат мой», потому что ничего лучшего не могла придумать. Один из морских пехотинцев — он выглядел очень смущенным — объяснил, что они только выполняют приказы. После этого мне стало как-то легче говорить с ними. Я сказала им, что у меня два маленьких мальчика и я пришла издалека, из Лас-Пиньяс, и один из сыновей лежит в постели больной, но я все равно считала, что должна прийти на ЭДСА по зову родины, разделить общую беду. Я сказала им, что муж за границей, работает в чужой земле, потому что в своей стране не мог найти подходящую работу. Боюсь, тут во мне

¹ Близость, сплетение рук (тагальск.).

что-то надломилось, и я зарыдала прямо перед морскими пехотинцами. Я умоляла их не причинять нам вреда — мы ведь рискуем жизнью, чтобы вернуть свободу, права, демократию. Я умоляла их перейти на нашу сторону.

Толпа вокруг Летти запела «Страна моя», подняв руки со знаком «L».

— Я подняла распятие еще выше, по щекам снова покатались слезы, но оказалось, что я все же могу петь громче. Часов в шесть танки снова пошли, и толпа снова сомкнулась вокруг них, но на этот раз морские пехотинцы были начеку и не дали людям подойти вплотную. Я вцепилась в руку морского пехотинца, стоявшего передо мной, умоляла его разрешить мне пройти. Он опустил руку, я тут же проскользнула вперед, к танкам, толпа двинулась за мной. Мы стояли перед приближающимися танками, слушали рев моторов и покрывались гусиной кожей. Я решила: будь что будет — и вручила свою судьбу Господу. Стоя перед танками, высоко подняв распятие, я кричала танкистам: «Брат, да пребудет с тобой мир! Брат, Бог любит тебя! Брат, мы любим тебя! Мир, брат!» Толпа колыхалась вокруг идущих танков, сумерки надвигались. Потом мы услышали, как офицеры приказывают танкам отойти на бульвар Шоу. Танки развернулись, мы с ликованием пошли за ними, и все кричали: «Мир, брат! Мы любим тебя, брат! Иисус любит тебя, брат!» — и так, пока последний танк не ушел с Ортигас.

В тот воскресный день, когда танки были остановлены на авеню, 23 февраля, стало ясно, что филиппинский народ победит.

Кардинал Син говорит о планах построить часовню на том месте и в честь нового явления Девы Марии наречь ее «Мадонна на ЭДСА». Несомненно, здесь должен быть мемориал в память того дня, когда люди стояли против танков и пехоты и из всех сердец исторгся крик: «Они не пройдут!», и в один миг из камней, из обломков, из всего, что попадало под руку, на перекрестке Ортигас были воздвигнуты заграждения. Останавливали автобусы, высаживали пассажиров и ставили автобусы поперек дороги. Люди оставляли свои машины и там, и вдоль авеню Ортигас, чтобы перекрыть проезд к Сантолан. Какой-то зевака сказал об отличной новой машине, поставлен-

ной середине улицы: «Вот жалость! Машина, должно быть, стоит немалых денег». Владелец пожал плечами: «Есть вещи подороже».

В тот же день в половине четвертого генерал Тадиар выдвинул ультиматум: если люди не разойдутся через тридцать минут, танки пойдут через толпу и дальше, к Кэмп Агинальдо. Ультиматум никого не поверг в панику. Тридцать минут истекли, а люди все равно стояли в живых баррикадах.

Кое-кто из механиков-водителей сообщил, что они вели военные действия в джунглях Замбоанги и на Биколе, когда их неожиданно перебросили в Манилу, дав приказ захватить Кэмп Краме и Кэмп Агинальдо.

После отхода танков толпа на перекрестке с Ортигас поредела, но на протяжении всей ночи баррикады ни на миг не оставались без людей. Стражи революции сидели на траве вдоль авеню и, чтобы не уснуть, делились впечатлениями о восстании; от одной группы к другой переходили истории о том, что произошло за время кампании гражданского неповиновения. О том, как четыре дочери президентов — Нини Кесон, Вики Кирино, Розы Осменья и Линда Гарсия — обходили иностранные посольства и уговаривали дипломатов не признавать Маркоса законно избранным президентом. Как кардинала Сина якобы «уговорили» сделать заявление в поддержку мятежа Энриле и Рамоса — поначалу он всего-навсего собирался обратиться к верующим с призывом помочь мятежникам едой. Как многие были оскорблены двусмысленными действиями папского нунция и не без сарказма предлагали ему отслужить мессу на инаугурации Маркоса. Как Маркос добавил к списку своих подделок часы марки «Ролекс», которыми награждал «обеспокоенных» художников и писателей, — эти часы были изготовлены на Тайване. Как Франца Арсельяну и супругов Тиempo из университета Дилиман уговаривали возглавить сборище «обеспокоенных» художников и писателей. Как Лино Брока и Бен Сервантес доказали, что они настоящие мужчины в шоу-бизнесе: оба оказались нестигаемыми борцами за дело оппозиции на протяжении всей кампании и оставались по сей час героями сопротивления — не то что иные мускулистые суперзвезды, которые на экране ведут массы на борьбу против эксплуататоров, а в

жизни все же предпочитают эксплуататоров массам. Как Нора Аунор, освистанная во время первого посещения лагеря повстанцев, нашла в себе мужество вернуться туда, чтобы доказать свою солидарность с революцией. Как генерал Рамос стал «Норой Аунор революции» — где бы он ни появлялся, вокруг собиралась толпа, люди хотели прикоснуться к нему, поцеловать его. И как его жена, Минг, жаловалась: всем и каждому он объявлял, что она с детьми находится дома. «Почему ты всем объявляешь, что мы дома? — упрекнула она его. — А если нас возьмут заложниками?» На что Эдди Рамос спокойно отвечивал: «Если кого-либо из вас похитят, я на уступки не пойду!»

Хотя морские пехотинцы отошли, всю ночь они напоминали о себе, то и дело стреляя в воздух. Такой варварский способ запугивания должен был бы сработать, особенно если учесть, что из-за усталости и недосыпания люди были крайне подвержены приступам страха. И все же эти страхи не заставили их прекратить бдение, хотя все знали: медали за это их отнюдь не ждут.

Роскошная луна освещала линию противостояния с народом, где стрельба велась только с той стороны. Ночь, хотя и не тихая, как на Рождество, все же была святой — святой, потому что народ готов был принести себя в жертву.

Мы, не допускавшие насилие ни под каким видом, держали экзамен на допуск к чему-то высшему.

Часть третья

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА

8

Утро началось плохими вестями, потом хорошими, но затем и хорошие новости обернулись плохими.

Большую тревогу вызвала весть о применении слезоточивого газа, чтобы очистить ЭДСА от баррикад и людей. Большую радость вызвала весть о бегстве мистера Маркоса на Гуам.

Но прежде этой радостной вести до Энриле дошла другая великолепная новость: 15-е авиакрыло вертолетов перешло на его сторону.

— А потом командор Хардиниано, командующий боевыми кораблями, прислал сказать, что они поддерживают наши усилия. Неожиданно баланс сил сместился в нашу пользу. И в то же утро, между половиной восьмого и восьмью, радио объявило, что президент покинул дворец. Мы возликовали. Мы обнимали друг друга, плакали друг у друга на плече. А потом отправились произносить речи, отправились поговорить с народом.

Пока Энриле и Рамос выступали перед восторженной толпой, плясавшей на авеню, над обоими городками кружили истребители.

— И вдруг нам говорят: по четвертой программе сообщают, что президент все еще во дворце. Мы проверили эти данные и установили, что Маркос действительно был в Малаканьянге. Тогда я поручил генералу Рамосу послать отряд для захвата четвертого канала ТВ, что и было превосходно исполнено полковником Сантьяго и его людьми. Одновременно группе боевых вертолетов было приказано пролететь над Малаканьянгом и обстрелять территорию дворца ракетами. Там было двенадцать вертолетов, но мы запретили им обстреливать сам дворец, потому что не хотели причинять вред президенту.

Этот безобидный налет выявит в Маркосе истеричного труса: он завопил, что его семья «содрогается от ужаса во дворце».

Да и не пора ли было?

Джоби Провидо, студент-выпускник университета де Ла Саль, дает такую жуткую картину апокалипсиса:

— В понедельник в пять утра мама, заливаясь слезами, принялась колотить ко мне в дверь. «Танки идут! — кричала она. — Они хотят применить слезоточивый газ против народа!» Я вскочил с постели, что-то натянул на себя. Радио «Веритас» передавало инструкции, что надо делать в случае применения слезоточивого газа; всех, кто живет поблизости от Краме, просили доставить влажные носовые платки. Я схватил полотенце, платки, кое-какие полотняные вещи и сунул их в ведро с водой. Родители обходили соседей и просили их сделать то же самое.

Семейство Провидо живет в микрорайоне Хоршу; местом сбора им были назначены боковые ворота Краме, на углу Сантолан и Третьей авеню. Джоби

пришел туда еще затемно, но на улице уже толпился народ.

— Монахи, священники и семинаристы образовали переднюю линию — это чтобы смягчить сердца нападающих. Мы раздавали мокрые тряпки, а толпа читала молитвы. После каждой молитвы священник инструктировал, как вести себя во время нападения. И вдруг над нашими головами закружили три вертолета. Толпа застыла, никто не знал, чего ожидать. Потом сообщали, что там было семь вертолетов, но мы видели всего три — они шли треугольником.

На их глазах вертолеты перестроились и пошли в одну линию.

— Мы различали направленные вниз пулеметы. Толпа стала молиться громче, монахи все пели. И вот — о чудо! С первого вертолета махали белым флагом! С других — тоже! Солдаты свешивались, чтобы показать рукой «L» — «против». Люди в толпе словно сошли с ума! Они смеялись, плакали, обнимали друг друга. Еще одно чудо произошло на улице Либис (это в другом конце улицы Сантолан), где был применен слезоточивый газ. Когда солдаты бросили гранаты, ветер круто переменялся и погнал газ на них! Некоторых пришлось срочно везти в больницу.

Тем временем вертолеты кружили над Краме.

— Потом они снизились и сели на плацу. Солдаты, выходя из своих железных птиц, отдавали честь в направлении штаба — должно быть, генералу Рамосу и флагу. А радио «Веритас» как раз в это время вещало, что большая часть военно-воздушных сил перешла на сторону мятежников. Передатчик станции «Веритас» был уничтожен огнем верных Маркусойск, но Джун Кейтли перешла на передатчик ДЗРБ (104,1 МГц). Я бы сказал, это действительно была революция улыбок — особенно когда разнеслась весть, что мистер Маркос покинул страну. Люди пустились в пляс и оглушительно вопили!

Когда отворили боковые ворота Краме, толпа хлынула вовнутрь.

— Люди позировали перед танками и вертолетами — хотели сняться на память об этом историческом моменте. Потом перед зданием штаба появились Энриле и Рамос, чтобы произнести победные речи. Рамос прыгал от радости. Энриле представил толпе

полковника Гринго Онасана — это он в последнюю минуту узнал о приказе Малаканьянга схватить Энриле, Рамоса и их людей.

Джоби Провидо вслед за Энриле и Рамосом пробирался через орущую толпу к главным воротам Краме.

— Они говорили с крыши автомобиля — белого форда; она потом провалилась под их тяжестью. Но радость сменилась унынием, когда в Краме объявили, что Маркос жив и все еще находится в Малаканьянге. Может быть, ложное известие о его бегстве было преднамеренным — чтобы деморализовать верные ему войска. Маркос появился на экранах телевизоров. Я увел родителей домой завтракать.

В тот же понедельник утром еще одна юная душа, Бэби Герл Фрики, проснулась от «очень радостного голоса» Джун Кейтли, объявившей «рассвет нового дня» — это было преждевременное сообщение о бегстве Маркоса на Гуам. Бэби Герл Фрики тут же бросилась к Краме и принялась исполнять прямо на улице дикий танец — пока не пришло разочарывающее известие, что Маркос вновь объявился.

Сама Джун Кейтли объясняет, что прежде чем выйти в эфир с сообщением о бегстве президента, она получила не менее двенадцати телефонных звонков о том, что Маркос бежал, приземлился на Гуаме и появился на экранах телевизоров в Сан-Франциско. Все это были неподтвержденные сведения, но один звонивший заявил, что представляет президентскую службу охраны: он-то и передал, что Маркос «только что взлетел». Тут до Джун дозвонилась Кори Акино и сообщила, что и ей сказали, будто Маркос отбыл. За этим последовал звонок от генерала Рамоса с известием, что поступило «подтвержденное сообщение» об отлете семьи Маркоса.

Тут-то Джун и вышла в эфир объявить о «рассвете нового дня». Но когда выяснилось, что никуда Маркос не улетал, бедняге Джун этот рассвет показался самым мрачным в ее жизни.

Рассказывает ее подруга:

— У Джун оборвалось сердце, она не знала, что делать: подтвердить сообщение о том, что Маркос еще здесь, или нет. Все же пришлось ей выйти в эфир и извиниться. Подействовало это на нее угнетающе, она ведь очень серьезно относится к своей

роли радиокomentатора. Из-за нее возникла вся эта эйфория, а теперь из-за нее же воцарилось отчаяние. Тьма опустилась на нее, да и на других на радио тоже. Почувствовав, что силы на исходе, она часов в десять упростила отпустить ее, чтобы отдохнуть хоть немного дома. И уже собиралась уходить — это было в половине одиннадцатого, — как раздался настойчивый телефонный звонок. Требовали ее: звонивший не назвался, но предупредил, чтобы она не появлялась дома: ее могут схватить. Тут же товарищи по работе взяли Джун в кольцо, и она так и шла вниз все восемь маршей лестницы (пользоваться лифтами было запрещено), окруженная сонмом «телохранителей». Домой она не поехала, а отправилась к своей золовке. Теперь Джун понимала, что ей надо во что бы то ни стало остаться в живых, поскольку она, сама того не ведая, сделалась символом единения людей.

Для менеджера Берта Тахонеры, который рекомендует себя «прирожденным трусом», тот понедельник начался в три часа утра на улице Сантолан в районе Белых Равнин, где он старался мужественно противостоять газовой атаке.

— В конце концов ведь там были даже шестидесятилетние женщины, подруги моей мамы по игре в маджонг. Они не отступили, даже когда был применен газ. Они плакали и вопили, но живая баррикада упрямо держалась. Тогда солдатам приказали двигаться вперед с примкнутыми штыками. Штыки должны были испугать людей. А солдат, пока они угрожающе помахивали штыками, еще погоняли: «*Sugod! Sugod!*»¹. Но куда там вперед — тут стояла баррикада из живых людей, и колоть их штыками никто не хотел. Тогда прозвучал приказ еще раз применить против толпы гранаты со слезоточивым газом, но у солдат у самих не было противогазов, и когда — видимо, не без Божьей помощи — ветер понес газ назад, солдаты тоже заплакали.

В конце концов они плюнули на все и ушли.

В половине четвертого утра, на углу ЭДСА и Ортигас, где расположились ребята из Филиппинского государственного университета, появился военный грузовик, видимо с разведывательными целями.

— Там в живой баррикаде было не более ста че-

¹ Вперед! Вперед! (тагальск.)

ловек. Говорили, что Маркос прикажет напасть на рассвете. И тогда толпа, состоявшая из монахинь, семинаристов, проходящих военные сборы студентов университета и других храбрецов, начала таскать камни с ближней стройки на ЭДСА. Камни были тяжелыми, но клич «*Isang bato para kay Marcos!*»¹ вдохновлял. На стройплощадке стоял и автопогрузчик, но у сторожей не было ключа от него, так его прикатили руками на перекресток Ортигас. Правая сторона авеню была заблокирована автобусами и машинами, левая — вот этим погрузчиком, несколькими машинами и принесенными камнями; все вместе образовывало внушительно выглядевшую баррикаду. Но народу было не больше сотни, а на нас шли два танка!

Лунный свет уже сливался с рассветом, а ребята из университета все гадали, как отразить неминуемое нападение с такими слабыми силами, к тому же без всякого оружия.

— Семинаристы стали с хоругвями, а все женщины выстроились впереди, перед самой баррикадой. Замысел состоял в том, что сперва они вступят в разговор с солдатами. А мужчины образовали *karit bisig* — «сплетение рук». Когда все разобрались по местам, получилось всего три ряда! И еще надо было растянуться. Один ряд состоял целиком из студентов университета, у них был боевой клич: «Вперед, воины Христовы и один мусульманин!» Они предложили одному семинаристу читать молитву. Тот, явно трясясь от страха, только бормотал: «Потом! Потом!» Но когда люди держатся за руки, они чувствуют, как у них бьются сердца, и поэтому все знали, что настало время молиться — СЕЙЧАС!

Они слышали рев танков, они уже различали две боевые машины, шедшие на них с залитого лунным светом запада. Чудовища все накатывались и накатывались на них, и вот они уже рядом, перед живой стеной людей, так что чувствуется их дыхание.

Три знаменосца изо всех сил размахивали флагами.

Танки, урча моторами, казалось, раздумывали.

Все невольно затаили дыхание.

Вот танки дошли до первого ряда живой барри-

¹ Еще один камень для Маркоса (тагальск.)

кады и остановились. Потом подались назад, потом развернулись, потом ушли! Даже единственный мусульманин в толпе кричал со всеми: «Слава Господу!» Посрамленные машины смерти двинулись на запад, где садилась луна, а люди ликовали. Но радость их была кратковременной, сухо вспоминает Марк Пас, один из студентов университета:

— Только эта сотня храбрецов начала ликовать и благодарить Господа, как услышала, что Энриле по радио предупреждает: к Ортигас идут два бронетранспортера. Засевшие в Краме выставили наблюдателя на крыше здания В. В. Соливен на ЭДСА — он-то, видимо, и передал Энриле эти сведения. И еще кто-то, проезжавший в машине, тоже сказал людям на баррикаде, что видел по пути два бэтэера.

Живая стена изготовилась к еще одной вечности ожидания.

В группе «воинов Христовых и одного мусульманина» нашлась бутылка водки. Похоже было, что настало время извлечь ее и пустить по кругу. Ее осушили в считанные минуты. Монахини, став на колени перед баррикадой, начали молиться. Бронетранспортеры приближались. Опять надо размахивать флагами, сплетать руки, молиться.

Но бэтэеры, дойдя до живой стены, остановились, словно в раздумье, затем подались назад, развернулись и ушли.

И снова взрыв ликования!

Потом люди на баррикаде увидели в занимавшемся свете дня: пять вертолетов в боевом порядке подлетели и приземлились в Кэмп Краме. Военные продолжают переходить на сторону Энриле и Рамоса!

Снова взрыв эйфории!

Рядом с баррикадой, наспех сооруженной из автобуса, погрузчика и камней, дважды обманувшие судьбу кадеты и монахини, студентки и философы ликовали, хлопали в ладоши и плясали под восходящим солнцем.

9

Утром в понедельник самая продажная телестанция из всех средств массовой информации, «Четвертый канал», до смешного легко перешла в руки Славной Революции.

Репортер из «Мидуик мэгэзин» так описывает этот закат и падение:

Где-то после восьми «Четвертый канал» вдруг прекращает передачи. Причина: солдаты «Новых вооруженных сил народа», как их теперь называет генерал Рамос, захватывают здание ТВ-4. Но через какой-нибудь час становится известно, что верным Маркосу войска развертываются вдоль Бохоль и Панай-авеню (это рядом с ТВ-4): следует перестрелка, и все, кто бежал сюда поглазеть, бросаются врассыпную.

Улица превращается в поле боя, уличное движение замирает, домовладельцы наглухо запирают двери и окна.

Часам к одиннадцати священникам, прибывшим на место событий, удается вступить в переговоры с офицерами верных Маркосу войск. Те заявляют, что хотят перейти на сторону реформистов,— толпа приветствует их криками восторга. Люди высыпают на авеню Панай, мчатся к войскам — у солдат на лицах явное выражение ужаса. Но люди всего лишь обнимают и целуют их.

Приветствие звучит так: *Mabuhay ang mga bagong sundalo ng Pilipinas*¹. Потом солдаты вытаскивают из здания огромные портреты Маркоса и его жены, которые летят в толпу.

В тот же миг их вырывают из рам, люди отталкивают друг друга — каждому хочется растоптать портреты. Кто-то пытается их разорвать, но голыми руками холст не возьмешь. Третьи кричат: «Сжечь их! Сжечь их!» Однако портреты и не горят. Какой-то мужчина в страхе кричит: «Не горят! Даже дьявол их не берет!» Он поливает портрет Имельды Маркос бензином, приговаривая: «Ну, если и это не поможет...» Толпу не удержишь. Кто-то плюет на изображение Имельды, другие глумливо замечают, что пламя первым делом выжигает дыру в нижней части портрета. «Ага! Вот так-то! — слышатся крики. — Теперь-то ей всадили!» Но и это еще не конец.

Человек двадцать оставшихся верными Маркосу солдат укрылись в доме на авеню Панай и у задних ворот комплекса телестанции.

Узнав об этом, люди бросаются туда, что приво-

¹ Да здравствуют новые солдаты Филиппин! (тагальск.)

дут в смятение лоялистов: они отказываются сдать-ся, отвечая парламентарам, что боятся суда линча. Священнослужителям приходит в голову мысль выставить для переговоров женщин. Отбирают почти пятьдесят женщин и поручают им вести переговоры с солдатами. Некоторые женщины идут на территорию комплекса охотно, другие явно напуганы. Солдатам раздают бутерброды и обещания, что их никто не тронет. Люди берутся за руки, чтобы образовать для них проход.

К часу дня битва окончена: территория освобождена женщинами, потрясенными молодостью солдатиков, сущих детей — большую их часть привезли из Илоило и других южных районов, и все они понятия не имеют, что происходит в Маниле, а потому вызывают жалость, когда испуганно спрашивают: «А что с нами будет?»

Служащие радио «Веритас», распевая гимны в честь Непорочной Девы, организуют марш к зданию «Четвертого канала». На одной из машин поднято что-то вроде ватиканского флага, тоже, между прочим, желтого цвета. За статуей Богоматери Фатимской выстраивается толпа, и все принимает вид религиозной процессии.

Ликование прерывается известием, что шесть грузовиков с морскими пехотинцами идут отбивать телестанцию.

Передают призыв о помощи, и к трем часам дня там собираются сотни людей. Видимо, солдаты, охраняющие ворота, получили еды куда больше, чем могут съесть, и потому они начинают швырять в голодную толпу сэндвичи, бисквиты, сигареты. Похоже, что свобода означает прежде всего свободу от голода — потребность в еде все же главная.

Как бы то ни было, телестанция остается свободной, и Маркосам приходится наяву пережить ужасный кошмар — на них лает их самый верный пес!

Часов в десять утра в тот же понедельник вертолеты, которые должны были спасти семью президента от разъяренной толпы, приземляются в парке Малаканьянга, у комплекса Пангарап («Мечта») на противоположном берегу реки. Там пять пилотов и четыре солдата.

Рассказывает очевидец:

— Вскоре после того, как вертолеты сели, истре-

битель Ф-76, который был замечен над Малаканьянгом еще раньше, выпустил шесть ракет. Одна попала в сад доньи Хосефы Эдралин Маркос, метрах в тридцати-пятидесяти от вертолетов. Осколки заделали вертолеты, но особенно не повредили их. Из-за этого обстрела люди в Малаканьянге стали нервничать. Особенно был потрясен генерал Вер.

За овальным столом в одном из залов дворца (известном как «военная комната») Вер, сидевший перед тридцатью телефонами и несколькими генералами, выражал горячее желание атаковать Кэмп Краме.

— Силы у Малаканьянга были огромные. Там находилось больше дюжины гусеничных бронетранспортеров новой модели, куда мощнее тех, что видели на улицах, танки «скорпион», орудия на огневых позициях (то есть на крышах зданий) и по меньшей мере два батальона пехоты.

Мало того, в осажденном дворце было полно припасов, и его защитники пировали, поедая жареных поросят и цыплят.

— Но экипажи вертолетов тем не менее уже стали беспокоиться. Они полагали, что их задача — только вывезти президента с семьей в Илокандию¹ или на Кларк-филд², однако приказа все не было. Тогда они решили посоветоваться с командиром, родственником миссис Маркос, и тот сказал им, что они — на выбор — могут остаться в Малаканьянге, могут вернуться на базу в Вильямор, а могут отправиться в Краме. Командир заверил, что их имена уже переданы в Краме, так что там им не причинят вреда. Поскольку пилоты считали себя профессиональными военными — не реформистами и не лоялистами, а просто солдатами, которым приказано эвакуировать президента, кто бы этим президентом ни был, они решили остаться.

Малаканьянг чувствовал себя в осаде, но и Кэмп Краме тоже. И в самом деле, городок, как говорит Энриле, был окружен боевыми частями.

— Танковая рота стояла в Кубао, еще одна — на пересечении Ортигас и ЭДСА. Мне сообщили, что в Кэмп Агинальдо нам угрожают два батальона мор-

¹ Илокандия — населенные илоканцами северные провинции о-ва Лусон, откуда родом был Маркос.

² Кларк-филд — американская военно-воздушная база

ской пехоты. Там же заняли огневые позиции минометы, готовые к бою. На бульваре Хорсшу были развернуты части командос, и еще — минометная батарея на улице Аннаполис в Гринхилз. Вот таково было положение утром в понедельник. Мы ждали нападения. По всему периметру городка у нас было меньше четырехсот человек. Ничего себе революция! Нет, американцы во всем этом не участвовали. У нас на командном пункте иностранцев не было. Только филиппинцы.

Но боевые части продолжали переходить под знамена повстанцев.

— Мы страшно обрадовались в то утро, услышав, что батальон закаленных в боях солдат с Центрального Минданао захватил самолет компании «Филиппин Эйрлайнз» и прилетел в Манилу нам на выручку. Но когда они приземлились в аэропорту, их окружили танками, разоружили и отправили в форт Бонифасио, где и держали под арестом. На гауптвахте командовал ими полковник Бибит, который, как только их освободили, тут же вернул им оружие. Дело было так. Раздобыв два танка, полковник отправился к дому генерала Лютера Кустодио, командующего войсками авиационной охраны, навел на дом пушки и заорал: «Верните мое оружие!» Вот что я имею в виду, когда говорю, что были дружественные нам войска и за пределами городка. Может быть, противник не напал только потому, что полагал, будто у нас несколько батальонов в городке да еще несколько с нами заодно за его пределами!

В полдень три боевых вертолета мятежников совершили дерзкий налет на военно-воздушную базу Вильямор и уничтожили на земле пять вертолетов промаркосовских сил. ПАЛ, национальная авиакомпания, объявила, что она за революцию и за Кори; то же сделала и Французская республика — первая страна, признавшая ее избранным президентом. «Мы должны оказать поддержку демократии и заявляем, что мы на стороне госпожи Акино», — объявил французский премьер-министр Лоран Фабие. Кокой Ро-муальдес, брат госпожи Маркос, вылетел с семьей на Гуам, как только узнал, что филиппинские консулы в Гонолулу, Сан-Франциско и Хьюстоне объявили о своей поддержке Кори и потребовали от Маркоса уйти в отставку. Должно быть, особенно горько было

«сильному человеку» слушать слова собственного «официального представителя» Адриана Кристобалия, который в этот черный-черный понедельник советовал своему шефу «склониться» перед национальным и мировым общественным мнением — и убраться ко всем чертям.

— *Et tu, Brute?*¹ Так пади же, Цезарь!

А в Вашингтоне, округ Колумбия, Большой Белый Отец точил томагавк, чтобы нанести самый безжалостный удар.

10

Коринта Барранко провела почти весь понедельник на улице Мендиола — еще до того, как она обратилась в поле битвы. Коринта преподает английский язык, и часов в девять утра с нею была ее сестра Махела.

— Мы слышали ложное сообщение о бегстве Маркоса. Я не верила, что он убрался. Не так-то легко от него избавиться, подумала я. Когда мы пришли к мосту Мендиола, солдаты за ограждением, казалось, не знали, что делать, и запросто пропускали людей через мост. Мы с сестрой воспользовались этими послаблениями и добрались до университета Сентро Эсколар — там у меня были кое-какие дела.

Но оказалось, что Сентро Эсколар закрыт.

— Мы постояли там, поговорили со знакомыми. Потом я увидела, как из Малаканьянга вышли человек пятнадцать-двадцать солдат и направились к заграждению на мосту Мендиола. Двигались они как-то уверенно и решительно, словно выполняли приказ. Маркос только что появился на экранах телевизоров — доказывал, что никуда он не улетел. Наверное, солдаты получили более строгие приказы, а может быть, появление Маркоса приободрило их. Как бы то ни было, мне стало не по себе: надо было убираться с этой стороны моста. Махела, моя сестра, была того же мнения. Но когда мы вернулись к мосту, проход через него был закрыт. Люди на той стороне уже начали разбирать переносные заграждения из колючей проволоки.

Коринта и Махела направились к переулку меж-

¹ И ты, Брут? (лат.)

ду Сентро Эсколар и школой Мапа — он выходит на Калье Сан Рафаэль.

— На этом коротком пятнадцатиметровом отрезке нас два раза останавливали солдаты. Спрашивали, куда мы идем. Они держались вежливо, ну и я тоже. Однако у них были винтовки, и, хотя я не боялась, я чувствовала, как здесь все напряжено. Минут через пять после того, как мы выбрались оттуда, началась стрельба — разгоняли толпу, двигавшуюся по улице Легарда к мосту Мендиола.

Волнующим был тот день, понедельник, и для юного Джоби Провидо, радикально настроенного студента из Ла Саль, отвечавшего за микрорайон Хорсшу, потому что и его папа, и мама стояли всецело на стороне оппозиции.

— В нашем доме разместилось что-то вроде штаба или, если хотите, гарнизона — там наши соседи и сослуживцы отца собирались, чтобы обдумывать дальнейшие действия и составлять графики дежурств на баррикадах. А дом, возвышающийся рядом, принадлежит — кому бы вы думали? — коммодору Альфредо Ромуальдосу, брату Имельды. Они с кучей багажа эвакуировались в Гонконг еще до выборов 7 февраля. Но охрана и морские пехотинцы все еще кишели на их участке, хотя нас это совершенно не тревожило.

Тут Джоби Провидо проводит параллель между двумя кризисами в нашей истории.

— Родители и деды моего отца были в подполье во время японской оккупации. Так что дом моего прадеда и прабабки — он был у партизан капитаном, а она «капитаншей» — служил штабом для сил сопротивления в нашем районе, хотя японский гарнизон стоял совсем рядом. Это ведь зеркальное отражение того, что происходит сейчас. Именно здесь мы открывали дверь перед ненасильственной революцией, хотя враг был за углом.

Людское море на ЭДСА и в боковых улочках между Сантолан и Ортигас бурлило слухами о еще одной танковой атаке. Джоби обратил внимание, что родители для успокоения нервов играли в карты или маджонг, не выключая радио, настроенного на новости.

— И вот свершилось. Газетный репортер пронесся через толпу, вопя: «Танки! Танки! Танки идут!»

Если он думал, что толпа в страхе разбежится, ему пришлось разочароваться: мгновенно взявшись за руки, мы образовали два ряда и двинулись навстречу танкам. Мы слышали тяжелый лязг гусениц. Грохот и рев наполнили воздух. Монахини и монахи вышли навстречу металлическим чудовищам. Став на колени, они пели гимны и молились, простирая руки. У всех перехватило дыхание. Никто не знал, чего ждать. Потом откуда ни возьмись какой-то человек бросился вперед. Думали, сумасшедший. А он, добравшись до головного танка, вложил розу в ствол пушки!

Это мгновенно разрядило обстановку: все заулыбались, слышался смех.

— Табачные торговцы подошли к танкам, предлагали солдатам сигареты: «*Boss, yosi tupa tayo!*»¹ Вокруг толпились люди, протягивали сэндвичи, сласти, бумажные стаканчики с соком. Вокруг танков ходили священнослужители — они их благословляли. Но прошло не меньше двух часов, прежде чем откинулся люк одного из танков и вылезли солдаты — у них слезы текли по щекам. Скоро они уже с аппетитом жевали все, чем их угощали. Они, может, и не совсем еще перешли на нашу сторону, но уже понимали, что мы — их братья... братья-филиппинцы!

Группе Джоби поручили охранять район у Третьей авеню.

— Отцу удалось одолжить у себя в конторе четыре тяжелых грузовика (в них перевозили цемент), и мы перекрыли ими Третью авеню и другие важные подступы к Краме. Спустилась ночь, нас собрали студенты-юристы из Государственного университета для инструктажа — объясняли, как нести охрану. Мы отработали срочное построение в шеренгу, а еще нас предупредили, что, скорее всего, солдаты применят дымовые шашки, слезоточивый газ и стрельбу в воздух, чтобы рассеять нас, ну и, конечно, не остановятся перед физическим воздействием. Но победа была близка, и мы твердо решили вкусить ее плоды!

В ту ночь все были охвачены духом взаимопомощи. Какая-то почтенная дама из Гринхилз заметила, например, что на перекрестке Сантолан с Хорсшу темно, и тут же принесла несколько электрических лампочек. А один местный житель позволил протя-

¹ Босс, сначала перекурим (тагальск.).

путь провода от его дома, отказавшись от платы за пользование электроэнергией.

Лоялисты Маркоса в понедельник тоже праздновали «победу». Потеряв «Четвертый канал», они оставались без своей программы, пока не были посланы войска захватить телестудию седьмого канала. После захвата она стала «правительственной станцией», соперником «Четвертого канала» — некогда рупора маркосовской пропаганды, а теперь «канала свободы». Самым унижительным для мистера Маркоса моментом оказалось утро понедельника, когда без четверти девять в середине телепередачи (он представлял зрителям очередных сознавшихся «убийц») она прервалась на полуслове — исчезли и звук и изображение, поскольку «Четвертый канал» перешел в руки солдат генерала Рамоса. Но месть за это унижение «сильного человека» последовала незамедлительно.

Во всяком случае, теперь и его люди могли объявить: «Они не пройдут!» — имея в виду, конечно, подступы к Малаканьянгу, которые и так были закрыты в течение четырнадцати лет, с того черного дня в сентябре, когда он окопался во дворце как единовластный, но ненавидимый всеми диктатор.

Вот что сообщал репортер «Мидуик» о положении возле дворца в тот грозный понедельник гнева народного:

В то время как Кесон-Сити, похоже, стал освобожденным районом, Манила все еще находится под контролем лоялистов Маркоса. Но и там власть народа дает о себе знать — колючую проволоку с заграждений на Мендиоле срывают на глазах у безучастно взирающих на это безоружных полицейских. Из проволоки делают терновые венцы — скоро Великий пост — и импровизированное оружие против врага.

Мост Нагтахан, заблокированный танком со стороны Санта-Меса, перекрыт морскими пехотинцами и президентской охраной — их автоматы направлены на орущую толпу в желтых лентах, собравшуюся на переходе.

Наконец группами в двадцать человек разрешают пройти по мосту Нагтахан. Еще один танк стоит внизу, под мостом, возле казарм Малаканьянга, там же окопались солдаты с «базуками», минометами и гранатомерами, готовые отбить любое нападе-

ние со стороны реки. На другом конце моста два танка перекрывают Кирино-авеню, а подальше солдаты первой танковой роты сдерживают толпу. Все спешно покидают улицу Отиса — пронесся слух, что будет обстрел.

Внизу у реки — дворец, но никто на мосту даже не останавливается, чтобы взглянуть на него. Ирония в том, что Малаканьянгу (буквально «там власть») угрожали два слова — лозунг, который уже был у всех на устах: «Власть народу!».

11

Сумерки — настоящий *Gotterdammerung*¹ — уже сгущались, когда пришел приговор из Вашингтона: Рейган требовал (хотя и очень сдержанно) ухода Маркоса. Ослепительный апофеоз полнолуния.

Наша судьба решалась одновременно на улицах Большой Манилы и за столами совещаний в Вашингтоне.

Там еще было воскресное утро (в Маниле — понедельник, и толпы людей на улице Сантолан стояли против танков), когда Рейган встретился с Филиппом Хабибом, специальным посланником, только что вернувшимся из Манилы. Присутствовали министр обороны США, заместитель директора ЦРУ и заместитель государственного секретаря Майкл Армакост. После обсуждения доклада Хабиба согласились по четырем пунктам: 1) Маркосу конец; 2) что бы он ни предпринял, это только ухудшит положение; 3) США должны предотвратить применение силы; 4) со свергнутым Маркосом следует обойтись лучше, чем с шахом Ирана. Последний пункт был принят по настоянию Рейгана.

На другом совещании, в Совете национальной безопасности, Хабиб снова сделал доклад о поездке на Филиппины и суммировал свои выводы без оценок: «Эра Маркоса кончилась. Он получил по заслугам». Теперь Вашингтон был озабочен одним: как удержать Маркоса от применения военной силы.

В воскресенье вечером Майкл Армакост встретился с Бласом Опле и передал через него послание Маркосу: если Маркос не уйдет, гражданской войны на Филиппинах не избежать. Лишь утром в поне-

¹ Сумерки Божии (нем.).

дельник (по вашингтонскому времени) Опле дозво-
нился до своего хозяина. Маркос пришел в ярость:
они со всей семьей содрогаются от ужаса во дворце,
а ему отказывают в праве на оборону? «Имельда
здесь, рядом со мной, она не хочет сдаваться».
«Сильный человек» решил ехать на телевидение и
предъявить своим противникам ультиматум.

Вряд ли стоит упрекать Маркоса за то, что он
потерял голову, прочитав полный текст приговора
Рейгана.

«Все попытки силой продлить жизнь нынешнему
режиму,— утверждал Рейган,— тщетны. Кризис мо-
жет быть разрешен только мирным переходом вла-
сти к новому правительству».

Прочитав послание Рейгана, мистер Маркос в де-
сять минут девятого появился на экранах телеviso-
ров со страшными угрозами. Он сам, лично,— гремел
теряющий власть диктатор (и даже голос у него вре-
менами срывался на визг),— поведет свои армии
и сотрет в порошок Энриле, Рамоса и их сторонни-
ков, если они будут продолжать бунт. «Кровь буду-
щих жертв — на вашей совести!» Никакой он не боль-
ной человек, объявил Маркос, он старый боевой конь,
которого только бодрит запах пороха. В конце кон-
цов, что у бунтовщиков? Крохотный пятачок Кэмп
Агинальдо. «Теперь все ясно: нам надо принять меры
к самообороне, что и будет сделано в течение бли-
жайших дней. Я сражаюсь за собственную жизнь».
Видимо, не без умысла он подхватил основной лозунг
оппозиции (*Tata na!* — «Хватит!»), сказав об откры-
том неповиновении Энриле—Рамоса: «Вот уж дейст-
вительно хватит!» Однако он по-прежнему готов ве-
сти с ними переговоры, «несмотря на раны, нанесен-
ные мне». А когда Вер, ощетинившись, потребовал
разрешения штурмовать Кэмп Краме, Маркос отве-
тил: «Приказываю не атаковать!» И еще он оболгал
Энриле, заявив, что тот хочет украсть власть сразу
и у правительства, и у оппозиции.

Что до кардинала Хаиме Сина, которому было
предложено воздержаться от «незаконных действий»,
то мистер Маркос сделал такое зловещее предосте-
режение: «Им я займусь позже».

В телеинтервью принимала участие Имельда и их
дети со своими супругами и отпрысками, но зато
не хватало целой шеренги военных мундиров, кото-

рые неизменно маячили на заднем плане во время предыдущих телепередач с участием Маркоса. Иными словами, как раз когда Маркос отказывался следовать указке Вашингтона и грозил применением военной силы, армия, на которую он рассчитывал опереться, демонстрировала безразличие, хоть он и «сражался за собственную жизнь».

Столь же ярким свидетельством краха явилось всеобщее безразличие к объявлению комендантского часа «с шести до шести» — этим воспользовались исключительно как еще одним поводом продемонстрировать «гражданское неповиновение». Толпы людей бродили по всему центру Манилы, а в увеселительных заведениях «туристского пояса» гуляющей публики было не меньше, чем обеспокоенных граждан на улицах Сантолан и Ортигас, не говоря уже о столь же воинственно настроенных районах Сан Рафаэль и Мендиола, Легарда и Санта Ана.

Роландо А. Доминго, менеджер, дорисовывает картину понедельника, когда первая луна года Тигра достигла полноты:

— Утром без четверти восемь атмосфера царила праздничная. Люди фланировали по ЭДСА от Краме до Ортигас и обратно. В 10.00 состоялось что-то вроде парада. Когда на ЭДСА вдоль тротуаров стали парковаться машины, служащие из деловых контор начали собираться в группы. Три грузовика электрокомпании «Мералько» возглавили колонну машин коммунальной службы. Тут я услышал, как рабочий компании «Мералько» в фирменном комбинезоне сказал: «То, что идет за нами, еще похлеще будет». А за ними шла колонна машин Филиппинской телефонной компании: двадцать желтых фургонов обгоняли колонну «Мералько», и люди орали лозунги в поддержку Кори, рукой показывая «L».

Однако Роландо Доминго больше интересовало происходившее в мятежных военных городках.

— Вертолеты все время курсировали над обоими городками, и их приветствовали взрывами энтузиазма. В самом Краме было уже четыре вертолета. Я вскарабкался на стену и увидел их на плацу. Люди перелезали через стену и бежали к воздушным машинам — я сделал то же самое. Подбежал к огромным железным птицам и с замиранием сердца стал трогать их рукой. Я чувствовал себя как мальчиш-

ка, да и все мы вели себя по-ребячески; я даже слышал, как один парень весело спрашивал: «Эй, а оружие они тут раздают?» Потом, часа в четыре дня, через мегафон объявили, что в городок проникают шпионы, и публику попросили очистить территорию. Мы повиновались.

Наблюдатель в Малаканьянге отметил, что атмосфера стала менее напряженной с приближением ночи. К одиннадцати часам, утверждал Ирвин Вер (сын генерала), президент нашел верное решение. Если на ЭДСА власть перешла в руки народа, то и в Малаканьянге можно установить то же самое. Президент призвал своих собратья с оружием в Малаканьянге и показать противнику, что и Маркос пользуется поддержкой народа. Увы, по сравнению с многолюдными толпами на ЭДСА ему удалось собрать ничтожно мало. Хотя по меньшей мере на одного человека — адъютанта Имельды — сборище лоялистов произвело впечатление достаточно сильное для того, чтобы он предпочел остаться во дворце, потому тут было «самое безопасное место». К ночи сам мистер Маркос, скорее всего, так уже не думал.

Всходила яркая луна — ей предстояло достичь полноты перед полночью. Суеверному мистеру Маркосу следовало опасаться полной луны больше обычного. А вот Кори, смеясь, могла утверждать, что ей она предвещала удачу.

Часть четвертая

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ 1986 ГОДА

12

Во вторник многие не спали уже в самые ранние часы. Для Маркоса день «икс» (день Страшного суда) начался с полуночного фейерверка, потому что настойчивые слухи о его падении и бегстве побудили многих отпраздновать это событие ракетами и шутихами.

Юный Джоби Провидо все еще не покинул свой пост на улице Сантолан, хотя его так и не сменяли с восьми вечера.

— Часы от полуночи до рассвета были решающими: самое время для лоялистов напасть на нас. Что-

бы поберечь силы, мы отдыхали с восьми до двенадцати. Кто дремал, кто играл в карты, но все мы были начеку. В полночь студенты университета затеяли хоровое пение — чтобы не уснуть. В три часа мы все помолились перед статуэткой Пресвятой Девы — ее принесла моя мама.

Никаких признаков нападения, но где-то поблизости происходит непонятное движение.

— Мы с тревогой узнаём, что «люди в штатском» разворачиваются в микрорайоне Хорсшу и у дома Джолли Бенитес. Радиостанция подтверждает это сообщение. До Хорсшу от нас метров сто, однако дом мистера Бенитес совсем рядом. Может, эти «люди в штатском» — громилы, доставленные из Тарлака мистером Кохуанко?

Если даже то и были громилы, ничего опасного они не предпринимали — возможно потому, что увидели, как много народу начеку вокруг Краме; тем не менее Джоби Провидо и его друзья были начеку.

— Потом мы увидели поодаль огни фар. Что за машина, разобрать не могли, но, судя по шуму мотора, это был грузовик. Он приблизился, и мы уже различали на фоне темно-синего неба трехосный тягач с людьми в кузове. «*Kapit bisig!*» — раздалась команда. «Сплетай руки!» Мы бегом на боевые позиции. Все-таки подошли войска противника? Мы ждали нападения, и тут выяснилось, что тревога ложная — в грузовике были наши, объезжали позиции.

Оставшаяся часть ночи тоже была щедрой на встряски, но столкновений не было. Тем не менее их группа дрожала всю ночь.

— Спустя часа три, после еще двух ложных тревог, наконец-то начало рассветать. Мы уже все намеревались разойтись по домам, к мягким постелям, однако радио обратилось с призывом остаться до прибытия замены. Все еще циркулировали сообщения о неминуемом нападении, так что мы остались на местах, чтобы завершить начатое.

Бессонную ночь провел и человек, которого история отправляла на свалку. Все еще не веря, что друг Рейган оставил его, шестидесятивосьмилетний Фердинанд Эдралин Маркос ходил взад-вперед и размышлял. Наконец он позвонил в Вашингтон. Звонил сенатору Лэксалту, близкому другу Рейганов.

В Маниле был вторник, три часа ночи, в Вашингтоне — понедельник, два часа дня.

Маркос просил Лэксалта узнать у Рейгана, что именно тот имел в виду под «мирным переходом власти к новому правительству» Филиппин. Означает ли это, что он, Маркос, может остаться президентом до, скажем, 1987 года, если согласится «разделить власть» с оппозицией? Лэксалт согласился отправиться к Рейгану и получить ответ.

У Лэксалта создалось впечатление, что хотя Маркос беспокоился за личную безопасность и безопасность своей семьи, он все еще был намерен оставаться президентом. «Он был как бы в подвешенном состоянии и искал защиты. Это был отчаявшийся человек, цеплявшийся за соломинки». Лэксалт отправился в Белый дом, где встретился с президентом Рейганом и государственным секретарем Джорджем Шульцем.

В четверть пятого по вашингтонскому времени Лэксалт позвонил Маркосу, который сразу же спросил, требует ли Рейган его ухода. Видимо, Маркос мучительно раздумывал над этим.

«Президент Рейган,— ответил Лэксалт,— не вправе предъявлять такие требования».

Помолчав, Маркос спросил: «Сенатор, а вы что думаете? *Надо* ли мне уходить?»

Ответ Лэксалта был недвусмысленным: «Господин президент, меня дипломатический протокол не связывает. Я говорю только от своего имени. По-моему, вы должны уйти, и уйти совсем. Время пришло».

Тут, казалось, связь прервалась. Лэксалта обеспокоило долгое молчание. «Господин президент, вы у телефона?» — воскликнул он.

«Да, я здесь,— ответил Маркос севшим голосом.— Я очень, очень разочарован».

Примерно в это же время Имельда разговаривала с Нэнси Рейган. Чуть раньше она уже звонила первой леди Америки, чтобы узнать, о чем было послание Рейгана. Нэнси обещала спросить у мужа. Когда Нэнси перезвонила, ее слова были столь же неутешительны, как и ответ Лэксалта. Если Маркос не прибегнет к силе и согласится на мирную передачу власти, он получит приглашение жить в Соединенных Штатах.

Маркос и Имельда получили ответы из Вашингто-

на к пяти часам во вторник. Так что с рассвета они оба знали: игра кончена и скоро придется бежать. Но они все же предпочли устроить фарс с инаугурацией, снова жестоко обманув своих приспешников, а затем сокрушив их иллюзии. Впоследствии одна верная им газета в редакционной статье вопрошала, почему Маркосы предпочли бежать «аки тати в ночи» — ведь, объяви они все честно и открыто, можно было бы уйти с большим достоинством. Ответ, не исключено, состоит в том, что поступать честно они вообще уже не могли. И действительно, в то же утро мистер Маркос предпримет последнюю попытку со- вратить своих противников. К счастью, эта попытка выступить в роли Искусителя провалилась.

Первой победой оппозиции во вторник было отвоевание Кэмп Агинальдо без единого выстрела. Гарнизон городка попросту вышел оттуда в походном порядке и исчез. Энриле вернулся к себе в кабинет в министерстве обороны.

Живые баррикады на ЭДСА стали еще теснее, но атмосфера царила мирная, даже праздничная — не то что вокруг Малаканьянга, где на улицах время от времени завязывались схватки. Когда Коринта Барранко вернулась на место событий, там как раз наступило затишье, но огонь и дым делали улицы Сампалока похожими на поле битвы; переходя улицу, преподавательница университета Святого Фомы почувствовала, что сражение может вспыхнуть в любую минуту.

— Во вторник в девять утра я снова оказалась возле Малаканьянга, на этот раз в компании друзей и соседей. Мы должны были держать охрану возле телестанции «Четвертого канала», но нас неудержимо влекло к «университетскому поясу». Сампалок превратился в настоящую зону боевых действий. Везде дымили горящие шины. Поперек дороги сооружали преграды из камней, кирпича, толстых веток, чтобы не дать танкам и бронетранспортерам пройти из дворца к освобожденным районам. Движение на улицах было слабое, но всюду стояли люди, суровые и решительно настроенные. И даже машины проезжали возле возведенных преград с одной целью: продемонстрировать мощь народа.

На Морайте-стрит весь персонал больницы при Дальневосточном университете в полном составе де-

журил на улице, готовый оказывать медицинскую помощь.

— Лица у всех были гневные и напряженные. Эту ярость ощущал всякий, попадавший в «университетский пояс». Там царило тревожное ожидание. А люди все прибывали — кто пешком, кто на машинах. Их не пугала опасность — ни реальная, ни воображаемая. Я встретила кое-кого из моих студентов на баррикадах (сделанных по большей части из рекламных щитов) на углу улицы Морайта и авеню Ректо. Они сказали, что ситуация взрывоопасная. Да я и сама чувствовала, что весь Сампалок, все эти людские толпы готовы с голыми руками штурмовать Малаканьянг, если из дворца попытаются их отбросить. *Patauy kung patauy*¹, как у нас говорят. Танки, солдаты, вся военная сила Вера не могли бы остановить их. Не знаю, чего уж там было больше — отчаяния или героизма. Но ясно было одно: долго их не удержишь. Это сквозило во всем.

Мятежный дух обуял и военно-воздушные силы. Пилоты реактивных истребителей на аэродроме Баса объявили, что если им прикажут выступить против Краме, они не взлетят, а если их все же заставят подняться в воздух, они перелетят к американцам на Кларк-филд!

Около восьми утра во вторник до Энриле дошли тревожные вести.

— Мы получили сообщение, что колонна из пятнадцати танков движется на Манилу с севера. Выслали группу боевых вертолетов для проверки, дав приказ подбить головной танк, чтобы можно было захватить остальные. Но тревога оказалась ложной. И как раз когда мы обсуждали случившееся, зазвонил телефон.

На проводе был мистер Маркос, он хотел поговорить с Энриле.

— Президент спросил меня, как бы нам уладить эту проблему. И я ответил: «Абсолютно не представляю». А он говорит: «Почему бы нам не создать временное правительство? Мне ведь надо только уйти, не теряя лица. Я отменю результаты выборов, создадим временное правительство, и я останусь всего лишь почетным президентом до восемьдесят седьмого года». И тогда я ему сказал: «Господин президент,

¹ Умирать так умирать (тагальск.).

насчет этого я не знаю, но за властью мы не гонимся». Что было истинной правдой. Мы вовсе не собирались создавать военную хунту или военное правительство.

Замысел Маркоса совершенно очевиден. Он просил Энриле оттеснить Кори и захватить власть. Но Энриле видел, куда клонит Искуситель.

— Президент, мой бывший босс, просил меня создать временное правительство, чтобы «спасти» страну. Он сказал, что хочет передать власть человеку, способному «защитить» верных ему людей.

Имелся в виду кто-нибудь вроде Энриле, если бы он пожелал содействовать видам мистера Маркоса. Но Энриле уже поднаторел в разгадывании президентских замыслов.

— Я отклонил его предложение, потому что создание военной хунты обернулось бы подлинной трагедией.

Кроме того, добавляет он, было уже поздно: и сам он, и Рамос обязались поддерживать миссис Акино.

Он сказал Маркосу: «Мы уже обязались поддерживать миссис Акино. Мы дали слово. Надеюсь, вы поймете мое положение. Полагаю, что выражу мнение всех, кто пошел за мной, если скажу, что в наши намерения не входит причинять вред вам и вашей семье. Это последнее, что могло бы прийти нам в голову. Собственно, именно об этом меня спрашивают американцы последние двадцать четыре часа, и я им отвечаю: „Он был нашим лидером двадцать лет, а это не в наших обычаях — мстить лидерам. Так что если мистер Маркос хочет уехать и мирно жить где-либо в другом месте, что же, мы позаботимся, чтобы он не пострадал“. Думаю, что говорю и от имени бывших ваших людей, мистер Маркос, людей, которые служили вам долгие годы».

На дальнейшие увещевания своего бывшего шефа Энриле, у которого не было времени, ответил категорически:

«Я, господин Маркос, как человек, столько лет связанный с вами, и рад бы был пойти навстречу; мне очень больно отказывать вам. Но не я один принимаю такие решения. Мне надо посоветоваться со своими людьми. А люди здесь настроены решительно — по целому ряду причин. В течение тех дней, что мы провели в этом здании, нам грозили многими

карами. Сейчас, думаю, перед нами очень трудная дилемма, поскольку мы чувствуем, президент больше не желает иметь дело с нами — так что пришлось нам примкнуть к другим людям. И такой тонкий вопрос не может быть решен наспех».

Энриле предупредил, что огромные толпы людей, собравшиеся на ЭДСА, настроены революционно: даже с его сторонниками могут «расправиться», если законного победителя на досрочных выборах не провозгласят президентом Филиппин.

«Наша единственная цель, — подчеркнул Энриле, — проследить за тем, чтобы уважалась воля народа, кто бы ни вышел победителем — вы, мистер Маркос, или миссис Акино; хотя многие считают, что на мандат имеет право миссис Акино».

Но почему бы, продолжал настаивать мистер Маркос, не обсудить с миссис Акино его предложение? И он, и Энриле отлично понимали, что обсуждение этого дьявольского предложения может привести к расхождению между Кори и Энриле, а в этом-то и заключалась главная цель Маркоса.

Скажем еще раз: большое счастье, что Энриле отказался поддаться лести Искусителя и бедный мистер Маркос убрался ни с чем, посрамленный, как сам дьявол после искушения в пустыне. Одна из причин этого в том, что Энриле очень торопился в то утро: ему надо было присутствовать на введении Кори Акино в должность президента.

13

Домохозяйка, которую Маркос называл не иначе как «эта женщина», прибыла на собственную инаугурацию опять без украшений, косметики и побрякушек, за что Имельда Маркос всегда потешалась над нею. Она была в строгом желтом платье, в очках в желтой оправе, но сияла тем блеском, который исходит не от драгоценностей.

За плечами у Кори был изматывающий уик-энд. Они с Доем Лаурелем вели в Себу кампанию гражданского неповиновения, когда в воскресенье вечером до них дошло известие, что Энриле и Рамос порвали с Маркосом. В некоторых кругах утверждают, что Кори намеренно удалили из Манилы на конец недели (в субботу она должна была быть на Себу,

в воскресенье — на Минданао), потому что решено было преподнести мистеру Маркосу пренеприятный сюрприз, но доказательства заговора с целью осуществить государственный переворот еще надо предъявить.

Как бы то ни было, кто-то из ее окружения узнал о событиях в Маниле еще до митинга в Себу, но счел за лучшее ничего не говорить ей до окончания митинга. В ее свиту входила Беа Собель, жена Хаиме Собеля, сопровождавшая Кори в поездках по провинциям и оказавшаяся незаменимой, когда надо было вызвать положительную реакцию толпы. Беа Собель любит потолкаться в толпе, почувствовать чем она дышит, а заодно и присматривает за безопасностью Кори. (Как-то раз, в Пампанге, она долго преследовала какого-то человека с черным ящичком, пока не увидела, что тот остановился передохнуть, зажав ящичек между ног; тогда она прекратила преследование, ибо столь легкий предмет не мог представлять опасность!) В Себу Беа Собель с удовольствием отметила, как люди всячески стремились надеть что-нибудь желтое — особенно группка дам преклонного возраста, чьи очень-очень выцветшие желтые платья свидетельствовали, сколь долго им пришлось покоиться в сундуках, прежде чем их извлекли оттуда в честь Кори. Беа Собель сама была в желтой безрукавке, на голове — желтый козырек от солнца с надписью «Кори—Дой». Вечером, часов в семь, она принимала душ, когда ей сообщили, что Энриле и Рамос окопались в Краме и Агинальдо. Через две минуты она уже была одета и бросилась к Кори.

У Кори в тот час сидели Акилино Пименталь, Мончинг Митра и ее брат, Пепинг Кохуанко. Она, как обычно, была спокойна и сосредоточена.

— Новости ее несколько встревожили, — вспоминает Митра, — но она еще не сознавала вероятных последствий. А означало это, что будут репрессии, и что она, может, следующая на очереди.

Митра слышал, что и он сам, и Пепинг Кохуанко тоже внесены в черные списки.

— Кори и ее команда должны были обедать в доме одного из лидеров оппозиции в Себу, но о роскошном обеде просто забыли за отчаянными попытками дозвониться до Манилы и получить дополнительную информацию. Циркулировали зловещие слухи: к при-

меру, что Кристина Понсе Энриле выла как зверь, когда ее мужа волокли люди Маркоса.

— Все ждали чего-то недоброго,— вспоминает помощница Кори.— Мы никак не могли связаться с Манилой и думали, что линия перерезана.

Но вот наконец Кори разговаривает с Энриле, сидящим в Кэмп Краме. Разговор был коротким — оба знали, что их телефонные разговоры прослушиваются. Он предупредил, что ее жизнь в опасности: «Они, видимо, придут за вами. Примите необходимые меры предосторожности». Она ответила: «И вы поберегите себя; а мы будем тут молиться за вас».

Позднее американский консул в Себу, Блен Портер, заглянул осведомиться, как идут дела у Кори. «Я спросил, может ли он дать дельный совет»,— говорит Митра. Консул Портер ответил, что запросит Манилу.

Консул отправил Стефану Босворту, американскому послу, шифрованное послание, запрашивая инструкции. Ответ Босворта: военный корабль США, стоявший на рейде в бухте Себу, готов взять на борт Кори и доставить ее в Манилу, если она попросит об этом. Ответ был тут же передан Кори и ее советникам.

Она однако решила укрыться на ночь в монастыре кармелиток. Ее заверили, что там она будет в полной безопасности, поскольку монахини скорее умрут, чем допустят до нее кого бы то ни было. Но до монастыря она добралась только к полуночи. Она не хотела ехать без Крис, ее дочери, а та отправилась за покупками в центр города. Пронесся слух, что военные блокируют все улицы, чтобы схватить Акино и ее свиту, но, несмотря на это, она отказывалась двинуться с места, пока не разыщут дочь. А на это ушло сорок тревожных минут. И только часов в одиннадцать Пепинг Кохуанко отвез мать вместе с дочерью к кармелиткам. Остальные отправились в здание американской миссии, где консул Портер предоставил в их распоряжение канал связи с Манилой.

На следующее утро, в воскресенье, Пименталь и Сонни Осменя пытались пробиться к Кори в монастырь, но их не пускали. «Пресса просто визжала, требуя заявления,— говорит Митра,— так что нам пришлось вновь повторить заявление Кори, призы-

ваше Маркоса уйти во избежание кровопролития».

Но пресса требовала встречи с Кори.

Была предпринята еще одна попытка связаться с Кори у кармелиток. На этот раз ворота монастыря отворились, ее советников впустили, и она села с ними завтракать. «Она вела себя непринужденно,— говорит Митра,— хотя мы и знали, что уже, может быть, подписан ордер на ее арест».

Прибыли дружелюбно настроенные военные, чтобы обеспечить ее безопасность, и она вернулась в отель «Магеллан». Решено было немедленно возвратиться в Манилу, но не на военном корабле США, предложенном американским послом. Прибытие избранного президента в Манилу на военном корабле янки выглядело бы не очень красиво. «Кроме того,— добавляет Митра,— мы не хотели создавать впечатление, будто не в состоянии постоять за себя».

Однако мест на коммерческий рейс добыть не удалось, и в результате, чтобы доставить ее домой, потребовали личный самолет Кори.

— Идея была не из лучших,— говорит помощница.— Правительство знало этот самолет, так что она оказалась бы легкой добычей.

Сразу после обеда Кори направилась в аэропорт, где ее провожала вся свита, в том числе и Беа Собель, которая только скрещивала пальцы, чтобы принести удачу подруге.

— Кори снова была великолепа. Она всегда находит нужную тональность, всегда собрана, всегда говорит то, что надо.

Беа Собель сама толком не знала, как доберется до дому, пока ее муж Хаиме не прислал за ней самолет. Так через каких-то двадцать минут после проводов Кори Беа тоже улетела в Манилу, прихватив с собой Пепинга Кохуанко и Мончинга Митру. Оба полета проходили в напряжении, но все кончилось благополучно. Перехватчики с небес не свалились, никто не препятствовал посадке в Маниле, в ангарах солдат не было!

Беа Собель так комментирует события того бурного уик-энда:

— Человек всегда раскрывается в критический момент. Кори в такие минуты ведет себя великолепно. Это очень важно, особенно для президента.

Ну и конечно, вернувшись в Манилу, Беа Собель

вместе с мужем и сыном Фернандо немедленно отправились на ЭДСА — крепить народную мощь перед Кэмп Краме.

С прилетом в Манилу перед Кори Акино встал вопрос, отправиться ли тут же к Энриле и Рамосу в осажденные военные городки. Однако уже по пути из аэропорта одного вида войск и танков, с ревом несущихся туда, оказалось достаточно, чтобы ее советники решили не делать этого. Собственно, они даже высказались против того, чтобы она отправилась к себе домой на Таймз-стрит. Вместо этого она поехала к старшей сестре Хосефине — та жила в хорошо охранявшемся районе Вак-Вак в Мандалуйонге, поблизости от столь же хорошо защищенного района Гринхилз в Сан-Хуане, места сборища националистов, называемого Филиппинский клуб.

И именно из Вак-Вака Кори проехала несколько кварталов в Гринхилз, где в Филиппинском клубе во вторник 25 февраля, примерно в 10.46 утра, была провозглашена президентом Филиппин.

Первоначально инаугурация намечалась на восемь, но была отложена на два часа: к народу обратились с призывом окружить место проведения церемонии на случай, если мистер Маркос вздумает сорвать ее. К десяти часам толпа вокруг Филиппинского клуба в торговом районе Гринхилз стояла так плотно, что и сам мистер Маркос не сумел бы проскользнуть — живым, во всяком случае. К счастью, как раз в это время он клевал носом после долгой бессонной ночи.

Менеджер Роландо Доминго рассказывает:

— Из Краме я отправился в Филиппинский клуб, где должна была состояться инаугурация. Солдаты — сторонники реформ — помогали регулировать движение, направляя машины от Филиппинского клуба к стоянкам. Часам к девяти люди стояли по всему периметру территории. Приятели непринужденно болтали, фотокамеры щелкали, толпа приветствовала криками знаменитостей, идущих по подъездной дороге к клубу. Потом с жизнерадостным маршем прошел духовой оркестр. Все взрывом восторга приветствовали любимые мелодии — «Страна моя», «Повяжи желтую ленту». Оркестр даже сыграл дикси, чтобы привлечь внимание американской группы, снимавшей на видеопленку. Солдаты-реформисты прибывали в

грузовиках и на вертолетах. Их тут же окружали толпы людей, восхищенно разглядывавших оружие. Какой-то солдатик высоко поднял свой «узи» — показать, что к стволу привязана желтая ленточка.

К десяти часам все места для парковки возле универсама были забиты до отказа. Роландо А. Доминго решил пешком двинуться назад, к Краме, где увидел охранявших ворота солдат, только что прибывших из Батангаса. Он слушал церемонию инаугурации по радио.

Филиппинский клуб, в котором Кори принесла присягу, был создан как революционный клуб в начале века и, несмотря на то что в него были вхожи представители высшего общества, сохранил свой националистический дух, проявившийся и в антильском стиле массивного каменного здания, и в мебели, отвечавшей вкусам наших колониальных господ. Над плавательным бассейном — большая веранда, похожая на *асотею* прежних времен. Во время церемонии территория здания была окружена толпами, пришедшими защитить свою Кори.

Амандо Доронила, обозреватель «Манила таймз», комментирует:

Представителей народа — а именно ему и его творческому духу революция обязана успехом — в здании клуба не было. Они стояли снаружи, силой мышц и числом защищая революцию.

От внимания мистера Доронила ускользнуло, что, хотя люди внутри здания клуба представляли «чопорный средний и высший класс», толпа снаружи тоже была не особенно пролетарской: там тоже было немало из чопорного среднего и высшего класса, и все они стояли терпеливо — о да, смиренно! — на солнцепеке и ждали. А их лимузины перегораживали дорогу на улице Ортигас.

То было время, когда слово «народ» означало филиппинское общество, а не какой-то отдельный класс — будь то высший или низший, которому «революция обязана успехом».

В самом большом зале клуба, в Зале сампагиты¹, где проходила церемония инаугурации, народу было столько, что Беа Собель, чтобы хоть что-нибудь увидеть, пришлось скинуть туфли и влезть на кресло.

¹ Сампагита — пахучий белый цветок, разновидность жасмина, символ Филиппин.

Энриле и Рамос прибыли на вертолете. Когда они входили в клуб, какой-то американский корреспондент бросил: «Вчера иные предатели, сегодня иные герои!» Энриле был в розовой рубашке в белую полосу. Рамос — в мундире с трехцветным флажком на левом плече. Когда Кори в ответ на их приветствие отдала им честь, все, наблюдавшие за ней, пробормотали умильно: «Господи, ее еще надо научить отдавать честь!»

Возникли препирательства: как к ней обращаться? Мадам президент? Но это неприятно напоминало блистательную Имельду, которой говорили «мадам». Сама Кори пожелала, чтобы к ней обращались «миссис президент». Конечно, если бы феминистка Эгги Апостол настояла на своем, то к первой женщине — президенту Филиппин обращались бы Ms., произнося это как «миз»: не «миссис» и не «мисс».

После молитвы, вознесенной епископом Теодоро Бакани, Верховный судья Висенте Абад Сантос привел к присяге вице-президента Сальвадора Лауреля. Дой был в белой филиппинской рубашке и принес присягу на Библии, которую держала его жена Селия — тоже в белом.

В краткой речи Дой сказал:

— Я призываю наш народ к единению и поддержке новой администрации, которую он сам создает в этот славный час, неустанно демонстрируя величайшую смелость, боевой дух и решимость избавиться от прогнившего режима. В качестве вице-президента я, в свою очередь, обязуюсь работать вместе с президентом, как никогда не работал раньше.

В 10.46 наша Кори перед судьей Клаудио Тиханки принесла присягу на красной Библии, которую держала мать Ниноя¹, донья Аурора Акино. Потом, обращаясь к филиппинскому народу как к «возлюбленным братьям и сестрам», она сказала:

— Показательно и символично, что права и свободы, отнятые в полночь четырнадцать лет назад, эти потерянные права и свободы возвращаются народу при ярком свете дня... Для появления столь прочного единения, для появления феномена народной власти понадобилась трагическая смерть Ниноя. Мы стали изгнанниками в нашей собственной стране — мы, фи-

¹ Ниной (уменьшительное от Бенигно) Акино — муж Корасон Акино, убитый в августе 1983 года.

липпинцы, которые чувствуют себя как дома только в условиях свободы,— когда Маркос уничтожил республику четырнадцать лет назад. Народовластие вновь вернуло нас домой. И теперь я хотела бы обратиться ко всем вам с призывом работать для национального примирения, ради которого Ниной вернулся домой. Молитесь! Молите Господа о помощи, так нужной нам в эти трудные дни.

После этого президент объявила, что она не выдвинет обвинений против Маркоса: «Победив, я могу быть великодушной» — и что она с семьей не переедет в Малаканьянг, «поскольку не подобает в эти трудные дни жить в роскоши».

14

Полдень — час государственных похорон, час, когда в вестернах действие достигает кульминации,— был выбран мистером Маркосом для своей инаугурации, происходившей за закрытыми дверями в зале церемоний, а не снаружи, не на территории дворца. По оценкам, публика составила две-три тысячи человек — совсем уже не те многочисленные толпы наемных крикунов дней минувших. И премьер-министр Маркоса, мистер Сесар Вирата, и вице-президент Маркоса, мистер Артуро Толентино, решили не затруднять себя слушанием прощальной речи. Отсутствовали и другие видные фашисты режима: Кокой, Тантоко, Эдуардо Кохуанко, множество генералов и адмиралов, связка министров, а также избранные из общества нуворишей и из шоу-бизнеса. Только у Джозефа Эстрады хватило духу появиться на этом обреченном на провал спектакле Маркосов.

Мистер Маркос принес присягу как глава исполнительной власти члену Верховного суда Рамону Акино в присутствии всего своего семейства. Он был в парадной тагальской рубашке. Его супруга Имельда и дочь Айми были в одинаковых белых платьях, а другая дочь, Ирена, в белом костюме. (Во время предвыборной кампании женщины семейства Маркосов питали пристрастие к красному цвету.) Сын, Бонгбонг, был в военной форме. Зятя Маркосов держались на заднем плане.

Как только некогда грозный правитель поднял правую руку для принесения торжественной присяги,

прямая передача из дворца была прервана. «О Иисус! О нет! Это уж слишком!» — стонал помощник президента Хуан Тувера. Телестанция девятого канала, ведущая передачу, была захвачена мятежниками. Удачный выстрел, произведенный по приказу полковника Онесто Ислеты, вывел из строя сразу вторую, девятую и тринадцатую программы.

Принеся присягу, мистер Маркос обратился к толпе с краткой речью. Не улыбающийся, с опущенными плечами, он выглядел старым и немощным. То и дело у него сдавал голос. Жестоко, конечно, но стоит напомнить, как во время кампании он твердил, что стране нужен настоящий мужчина, а не слабая невежественная женщина вроде Кори. В тот полдень мистер Маркос совсем не выглядел настоящим мужчиной: его дряхлость резко контрастировала со словесной бравадой.

«Мы выдержим это испытание, — сказал он, — мы одолеем. И мы двинемся вперед, к такому будущему, в котором наш народ обретет свободу и достаток».

Соединенные Штаты довели до его сведения, что единственный способ решения проблемы — уход в отставку. «Я уважаю политику Соединенных Штатов, но моя отставка невозможна!»

Он обращался к народу, допущенному на территорию дворца, с балкона, а рядом группа солдат на уступе здания держала толпу под прицелом. Потом они с Имельдой спели дуэтом, и на глазах Имельды выступили слезы, когда толпа скандировала: «Маркос! Маркос! *Marcos kami!*¹» Юную Герберту Баугисту, восходящую кинозвезду и марионеточного руководителя Кабатаанг Барангай (молодежный корпус Айми), видели плачущей в окружении фашистских безрукавок. А чуть поодаль стояли девять танков и бронетранспортеров с приглушенно работающими моторами и сотни солдат с винтовками М-16 в руках.

Для избранных в зале церемоний был устроен обед, заказанный у Виа Маре: рыбное филе, говядина, китайская лапша (лапша — знак долголетнего пребывания в должности). Маркосы восседали на скамьях, затянутых красным бархатом. Было слышно, как Имельда сказала, глядя на своих внуков, но-

¹ Мы за Маркоса! (тагальск.)

сившихся среди гостей: «Бедные дети, они даже не знают, что их могут убить в любой момент».

Кстати, за четыре дня кризиса Малаканьянг заказал у лучших поставщиков в общей сложности десять тысяч пакетов с провизией. Говорят, этот заказ, предназначавшийся для защитников дворца, так и остался неоплаченным из-за бегства Маркосов, а счет достигал миллионов песо.

Около четырех в день инаугурации мистер Маркос позвонил Энриле, чему тот очень удивился.

«Не будете ли вы столь любезны,— попросил Маркос,— приказать своим людям прекратить обстреливать дворец?»

Энриле отвечал: «Мистер Маркос, мои люди не ведут огонь по дворцу. Может быть, провокаторы?»

Тогда Маркос спросил, не могут ли Энриле и Рамос послать своих солдат остановить провокаторов. Энриле понял: это признание неспособности контролировать положение в окрестностях дворца.

Когда Энриле пообещал сделать все возможное, Маркос обратился с новой просьбой:

«Не будете ли вы столь любезны связаться с послом Босвортом и спросить его, не может ли он поручить генералу Тедди Аллену и его людям выделить нам охрану?»

Это, понял Энриле, еще одно признание. Если Маркос просит дать ему *охрану*, значит, он готовится покинуть Малаканьянг, хотя примерно в это же время он клялся, что никогда и ни за что не уйдет в отставку, никогда и ни за что не покинет дворец.

Энриле и на этот раз пообещал сделать все возможное.

Не исключено, что, прежде чем положить трубку, Маркос снова спросил, нет ли все же еще какого-то способа договориться с Энриле. Энриле отказывается об этом говорить, признавая только одно: «Последние слова Маркоса навеки останутся у меня в памяти».

Поскольку Энриле ответил: «Мистер Маркос, у вас нет выбора», можно представить, что это были за последние слова.

Непонятно, почему Маркос бежал только в восемь часов вечера, если уже в четыре дня он был готов удрать. Одно из объяснений: Имельда отказывалась двинуться с места, пока ее заместитель,

Джолли Бенитес, не будет доставлен из Пангасинана. Другое: генералу Тедди Аллену и его людям нужно было время, чтобы обеспечить охрану и переброску по воздуху Маркосов и их огромной свиты. Конечно же, американские дипломатические учреждения хранят полное молчание по этому поводу. Они не говорят даже, как бежал Маркос — в туфлях или шлепанцах.

Сейчас все чаще утверждают, будто мистер Маркос даже не знал, что спасается бегством (якобы полагая, что его просто перевозят в Илокандию); но, чтобы опровергнуть это утверждение, достаточно заявления самого мистера Маркоса о том, что он не хотел «проливать филиппинскую кровь». А кровь наверняка пролилась бы, если бы его перебросили в Илокандию. И тем не менее нам снова и снова твердят, что мистер Маркос никак не хотел покидать родные берега и что его против воли перевезли туда, где он быть никак не желал. Протесты мистера Маркоса слишком вымученны.

Да, он вне всякого сомнения хотел потянуть время, не уступая Кори и Дою, Энриле, Рамосу и Рейгану, а также мировому сообществу, но в конце концов ему пришлось признать здравый смысл, заключавшийся в словах, которые Энриле хотел довести до его сознания: «Мистер Маркос, у вас нет выбора».

15

В семь часов вечера посол США Босворт дозволился до Кори — она все еще находилась в доме своей сестры в Вак-Ваке. Он сообщил, что Маркос определенно покидает страну — с помощью американцев. Босворт сказал, что отлет назначен на вечер, но просил Кори пока никому не сообщать эту новость.

— Она уведомила об этом своих людей, — вспоминает Мончинг Митра. — Нас обуял восторг, мы обнимались. Сама Кори была поспокойнее, но тоже улыбалась во весь рот.

Таким образом, президент и ее люди знали об отлете Маркоса еще тогда, когда тиран находился во дворце. А Малаканьянг был в осаде.

Репортер «Мидуик» описывает:

Три ряда колючей проволоки отделяют войска Маркоса от тысяч людей, настроенных чрезвычайно

решительно. Здесь очень мало монахинь, цвет флагов и лозунгов преимущественно красный. Мы помогаем группе студентов сооружать баррикаду на углу авеню Ректо и улицы Морайта. Узнав, что на мосту Нагтахан назревает столкновение, решаем отправиться туда на машине.

Раньше, еще днем, на мосту Нагтахан уже была стычка — толпа забрасывала морских пехотинцев камнями и бутылками.

Тысячи людей заперудили ротонду в Санта-Меса и выплескиваются на улицу Лауреля, которая ведет к Малаканьянгу. Сотни людей забили наземный переход, другие глазеют из окон. Танк и бронетранспортер перекрывают подход к мосту Нагтахан, толпа стоит метрах в пятнадцати от солдат, а между ними ряд колючей проволоки. Три человека с едой и водой приближаются к солдатам, те встречают их аплодисментами. Полагая, что солдаты уже на их стороне, они подходят ближе к заграждению, но откатываются назад, когда из толпы их призывают держаться подальше от колючей проволоки. Через несколько минут мы видим восемь грузовиков с морской пехотой — они движутся от Малаканьянга по улице Лауреля к мосту Нагтахан.

Режиссер Лино Брока был свидетелем последнего уличного боя у Малаканьянга:

— У Малаканьянга мы то наступали, то отступали. Лоялисты Маркоса, оказавшиеся на территории дворца, швыряли камни — они не знали, что президент уже бросил их. стыдно говорить об этом, но филиппинцы не могут без позерства. Сколь бы ожесточенным ни было сражение, сколь бы паническим ни было бегство — как только включались огни съемки, все замирали, передние опускались на колени, чтобы не загоразивать задних, все принимались улыбаться в объективы, показывая знак «L». «Снимают!» А потом — снова град камней, проломленные головы, кровь, бунт в разгаре! Филиппинец храбр — с оружием и без него.

В 9.05 спасающихся бегством Маркосов и их приближенных доставили по воздуху на авиабазу Кларк-Филд на предоставленных американским посольством четырех вертолетах. По некоторым сведениям, беглецы переправились на лодках через Пасиг и сели в вертолеты в парке Малаканьянга. На мистере Мар-

косе была шляпа и рубашка с длинными рукавами. Поначалу он запросил тридцать мест, окончательный список составил восемьдесят девять человек. В Кларке сотни жителей Анхелес-Сити встретили его криками «Ко-ри! Ко-ри!», а колонна из пятидесяти машин устроила двадцатиминутный «шумовой вал» вдоль ограды базы.

Весть о том, что тиран наконец-то бежал, распространилась по Маниле с быстротой молнии. Она прокатилась по столице, как раскаты грома.

Коринта Барранко была в машине на пути к телестанции «Четвертого канала», когда услышала об этом по радио.

— Мы не могли поверить. Новость казалась слишком прекрасной, чтобы быть правдой, а нам хотелось знать *навверняка!* У телестанции было полно народу. Потом появились добровольные глашатаи и режиссеры, подтвердившие благую весть, — они дирижировали пением, возглавили молитву и вообще все торжество. Конечно, нам тут же захотелось в Малаканьянг. Но проехать туда было нелегко — улицы забиты ликующими толпами. Как будто все новогодние празднества двадцати лет диктатуры объединились в этом истеричном излиянии восторга по случаю освобождения народа. Невозможно описать безудержное ликование людей, которые носились на автомашинах всех мастей, вопя и размахивая флагами, приветствуя друг друга знаком «L» — «против». Везде национальные филиппинские флаги. Маркосово Движение за новое общество присвоило этот флаг как символ, теперь же народ возвращал то, что принадлежало ему по праву. Какие-то люди раздавали еду и напитки — их припасли заранее, готовясь к длительной осаде. Несмотря на безудержное ликование, буйства не было. В тот вечер на улицах Манилы было абсолютно безопасно!

Юный Джоби Провидо заготавливал сэндвичи для еще одной ночи бдений у Краме, когда услышал новость по радио.

— Казалось, весь мир взорвался криком. Мы бросились бегом к Краме. Толпы людей просто сошли с ума от радости. Они прыгали, танцевали, кричали, обнимались, целовались и все выкрикивали имя Ко-ри. На Мендиоле лоялисты во дворце и толпы перед оградой бросали друг в друга камни. Потом толпа

прорвалась через колючую проволоку, и началась рукопашная. Пролилась кровь. Толпа избивала лоялиста, пока кто-то не воскликнул: «Прекратите! Он тоже филиппинец!» И та же толпа отнесла свою жертву к машине скорой помощи. Это была ночь славы. Ниной Акино указал нам путь, кардинал Син сплотил нас, а Кори привела к победе. Это была первая революция, победившая молитвами, цветами, любовью. Ответом на «улыбающееся чрезвычайное положение» Маркоса было массовое действие, которое кардинал Син называл «революцией улыбок».

Репортер «Мидуик» нашел улицу Эспанья забитой ликующей толпой, все показывали знак «L», а водители машин непрерывно сигналили.

Бенгальские огни и ракеты освещали ночь, дорога была усыпана конфетти. В районе улицы Тимог горели шины — проехать там было невозможно. Сотни тысяч людей, высыпав на улицы, приветствовали с тротуаров проезжавшие машины. На авеню Бохоль, напротив здания телестанции «Четвертого канала», измученные стражи революции спали на картонных коробках, не обращая внимания на ликование. На улице Томас Морато — обычная деловая активность, пьют пиво, кричат: «День независимости!» и «Счастливого Нового года!» У молодежи появляются кассетники, они врубают рок-музыку и принимаются танцевать на улицах.

Слух о том, что лоялисты и войска, запертые в Малаканьянге, грабят дворец, заставляет всех броситься туда.

Роландо Доминго с трудом пробирается на территорию дворца — многочисленные толпы стремятся туда же.

— Мое первое впечатление — спектакль. Две девушки пляшут на крыше автомобиля. Внутри все будто отделано перламутром. В комнатах — разорение. Давка, толкотня — и грабеж! Наконец я просто решил не ходить дальше; я остановился и начал вбирать в себя все, на что падал взгляд. Какие-то два человека тащат дорогую раму — сам портрет выдран. Человек в сандалиях высоко над головой держит коробку с овощами. Какая-то группа торопливо увязывает в узел не то одежду, не то занавеси. Мужчина сует под пиджак обоймы с патронами от М-16. Солдаты там были, но они даже не пытались остановить.

грабителей. Просто слонялись с изумленным видом. Я ушел рано. Из моих бдений вот это, в Малаканьянге, было самым коротким — и самым ужасным.

Коринта Барранко говорит, что она попала во дворец «с, так сказать, второй волной нападающих».

— Ворота были отворены, но люди лезли и через ограду — так им не терпелось попасть вовнутрь. На деревьях вдоль ограды обламывались сучья — их забирали как сувениры. Каждому хотелось обзавестись хоть каким-нибудь сувениром на память о посещении Малаканьянга. К счастью, к этому времени во дворце уже поставили охрану из людей генерала Рамоса, и грабеж прекратился. За окном я увидела знаменитые люстры — все зажжены, словно прежние хозяева все еще на месте. На балконе, с которого Маркос в полдень обращался к подкупленной толпе, красовался плакат с изображением Кори и Доя. Кругом сновали люди, топча подстриженные газоны. Я подумала: увидь это Имельда, она бы лишилась чувств! Группа мальчишек влезла на два танка — сфотографироваться. Там все фотографировали. На щите для киноафиши, водруженном над воротами, теперь красовалась надпись: «*Marcos, isusumpa mo ang araw nang isilang ka!*»¹ Снаружи, на улице Мендиола, перед колледжем Сан-Беда толпа возносила благодарственную молитву Деве Марии.

Только около двух часов ночи Кори, уже президент, пожелала спокойной ночи последнему из бесконечного потока посетителей в доме сестры в Вак-Вакке. Среди них были Энриле и Рамос, которые пришли часов в девять выразить свое почтение. Когда был выпровожен последний из поздравляющих, Кори заметила, что только теперь начинается ее первый день как бесспорного президента Филиппин. Потом она отправилась спать под родную крышу на Таймз-Сёркл.

16

Наверняка совсем не спал в ту ночь на авиабазе Кларк беглец, мистер Фердинанд Маркос, которого в пять утра должны были отправить вместе с его приближенными на Гуам. Ему было о чем поразмышлять, к примеру о том, что осталось в Мала-

¹ Маркос, ты проклянешь день, когда родился! (тагальск.)

каньянге. Он приказал заминировать территорию дворца на случай, если туда ворвутся толпы («Я не хотел проливать филиппинскую кровь»), но минами и для него, и для семьи оказалось множество вещей, забытых в суматохе бегства. Скажем, вся эта икра и бифштексы в семейных холодильниках — они предельно дискредитировали человека, чьи псы лаяли на «командос от бифштексов», окопавшихся в Соединенных Штатах (так называли эмигрантов). Каким скандалом обернулось известие, что и мистер Маркос, и его родня сами жили на бифштексах, импортированных из Штатов, да на икре, импортированной у «этих коммунистов», которые, как утверждала миссис Маркос, приводили ее в ужас, хотя раньше она очень любила у них погостить.

Маркосы бежали из дворца столь поспешно, что оставили стенные шкафы открытыми, а ящики комодов выдвинутыми, и часть их содержимого была разбросана по полу. Однако мистеру Маркосу хватило осмотрительности запереть свои апартаменты — а это мера, которая не только уберегла их от грабежа, последовавшего той же ночью, но и сохранила нетронутыми для истории свидетельства того, как он провел последние часы в обители Малаканьянга. И вряд ли они говорят о величии духа.

Судя по всему, под конец все Маркосы сгрудились в комнате мистера Маркоса — дети и их семьи спали на полу на матрасах. Один из дворцовых лакеев сказал, что в последний день в Малаканьянге Маркосы почти не выходили из спальни хозяина, только Ирена обедала в столовой: «Когда я подошел, она сказала „привет“. Выглядела она печальной и измотанной». И добавил, что в большом зале, где давались банкеты и где всегда было полно гостей, теперь было пусто. Только плакали несколько слуг.

Многие слуги говорили, что, по их мнению, мистер Маркос хотел держаться во дворце до последнего, но вынужден был покинуть его под давлением семьи. «Я проработал здесь шестнадцать лет, — сказал один лакей, — но впервые видел президента беспомощным. Напряжение было ужасное. Над дворцом опустилась туча отчаяния, снаружи неслись крики разъяренной толпы». Лоялисты у ворот осыпали толпу на улице камнями, бутылками — всем, что попадет под руку.

В девять часов вечера Маркосы спустились по

лестнице. Адъютанты несли вещи. Мистер Маркос, прежде чем выйти с женой и детьми в ночь, кивнул слугам, собравшимся в холле. Только они одни и провожали семью, при отъездах и прибытиях которой обычно присутствовали ликующие придворные.

Чуть позже удалилась дворцовая охрана, и лоялистов у ворот смяла многотысячная толпа, которая с воплями ворвалась за ограду и пошла на штурм дворца. Часы показывали 11.30.

Одним из первых обошел дворец после изгнания Маркосов корреспондент газеты «Малайя» Бутч Фернандес, которого слугитель провел в тайную «мини-больницу» Малаканьянга. Бутч Фернандес с удивлением узнал, что этот лазарет именовался *лупус-рум* — «волчья комната».

Сложнейшие приспособления и всевозможнейшее медицинское оборудование заполняли эту мини-клинику. Справа в комнате стоял шкаф с разнообразными медикаментами и витаминами. В центре — огромный очиститель воздуха и какая-то непонятная большая штука, похожая на сканирующее устройство; в углу — установка для диализа. Еще одно приспособление с велосипедным рулем — от него тянулась цепь к застеленной койке.

Позднее в подвальном помещении дворца обнаружили еще две больничных палаты; одна из них, очевидно, операционная.

В зале для церемоний Бутч Фернандес увидел усыпавшие пол квитанции казино «Манила Бэй» — «дойной коровы» мистера Маркоса.

За подиумом стояла бутылка с жидкостью цвета мочи, которая, по словам другого «гостя дворца», скорее всего, принадлежала смещенному диктатору; он, говорят, давно страдал почками. Клочок бумаги с обожженными краями оказался письмом художника-портретиста Ральфа Вольфа Коуэна, адресованным мистеру и миссис Маркосам, с требованием о вознаграждении за картину в размере четырнадцати тысяч пятисот долларов. Вспомним, что журнал «Уи, Форум» однажды поместил репродукцию портрета мистера Маркоса работы Коуэна — картины, принесшей художнику несколько тысяч долларов, как раз когда страна отчаянно нуждалась в иностранной валюте.

В ту же ночь по дворцу бродил иностранный кор-

респондент Марк Файнеман, потрясенный расточительством Маркосов.

Зеркальная туалетная комната бывшей первой леди, Имельды Маркос, все еще была набита сотнями дорогих шелковых платьев и огромными плетеными корзинами, полными душистого мыла со всего мира. Десятки бутылей емкостью до галлона с дорогими французскими духами наполняли комнату ароматом и через два часа после того, как их владелица вместе с мужем и семьей бежала от народа, который двадцать лет терпел их правление. Бегство было настолько поспешным, что они оставили множество семейных реликвий, включая шестифутовый портрет полуобнаженного Маркоса. На серебряной посуде — недоеденные остатки, в комнатах — полдюжины телевизоров с широким экраном, дорогие стереосистемы, двойной холодильник, набитый бифштексами из Америки; встроенный шкаф высотой в три метра, набитый ночными рубашками бывшей первой леди. У кровати миссис Маркос шириной в двенадцать футов — недоеденный банан.

Она захватила свои самые лучшие драгоценности, но бросила что похуже. Под ее ложем нашли связку — несколько тысяч! — золотых ожерелий и счет на два миллиона долларов от ювелиров Ван Клифа и Арпельса. Журналист Марк Файнеман отметил, что в личных апартаментах Маркоса полы везде были покрыты роскошными коврами — афганскими, китайскими, персидскими и индийскими.

В спальне Маркоса стояли два широкоэкранные телевизора, хитроумные приспособления для физических упражнений и даже пятифутовый игрушечный автомобиль с дистанционным управлением. В личной ванной комнате миссис Маркос — заглубленная ванна в 15 квадратных футов, зеркальные потолки, галлонные бутылки с изготовленными на заказ духами под названием «Первая леди», а также не менее пяти итальянских купальных халатов.

Подсчеты покажут, что Имельда оставила три тысячи трусиков, три тысячи пар обуви, сотни черных лифчиков и пять шуб, включая норковые.

Марк Файнеман отметил также, что рядом с огромной кроватью мистера Маркоса стояла специально оборудованная больничная койка, соединенная с кислородным аппаратом.

Маркос был явно помешан на своем здоровье. В подвальном этаже он оборудовал самую совершенную на Филиппинах реанимационную палату.

На столике возле кровати — три книги, которые он читал; одна из них, как ни странно, по разведению вод. А на оставшейся разобранной постели, между подушками, самый грустный из всех брошенных сувениров — военная каска времен второй мировой войны.

Однако не все представители средств массовой информации, в ту полночь бродившие по дворцу, видели самое выразительное свидетельство обуявшего мистера Маркоса страха в его *hora de verdad*¹. В ванной комнате были найдены черные военные ботинки, брюки и множество одноразовых полотенец. И ботинки, и брюки, и полотенца были вымазаны экскрементами. Испугавшись или запаниковав, Маркос замарал штаны. А то, что он не в состоянии контролировать свой мочевой пузырь, выяснилось еще во время выборной кампании — он путешествовал с урильником. Теперь, похоже, он потерял — или начал терять — контроль над кишечником, что объясняет, почему у Маркосов оказалось так много коробок с одноразовыми полотенцами.

Как бы то ни было, представляется символичным, что под конец Маркос еще и обгадил дворец.

З а к л ю ч е н и е

НА СЛЕДУЮЩЕЕ УТРО

17

Все остальные месяцы 1986 года представляются затянувшимся «наутро», ужасным похмельем после колоссальнейшей в нашей жизни попойки.

Впервые не столько история творила нас, сколько мы сами творили историю. И опять-таки впервые это сотворение истории было исключительно бескровным. Подсчеты на следующее утро показали, что было всего пятнадцать убитых и шестнадцать раненых — не столь уж внушительный список для четырехдневного неподготовленного мятежа. Разумеется, даже

¹ Час истины (исп.).

единственная насильственно пролитая капля крови есть невыносимая трагедия, но, с другой стороны, должны же мы понимать, что орошается древо свободы. А наше древо зазеленело во время весеннего полнолуния, всегда связываемого с насилием. «В пору мужания года пришел Христос-тигр». Но в нашу луну Тигра наш Христос-тигр вполне может быть назван невинным агнцем.

«Тайм Мэгэзин» с оправданным удивлением констатировал:

Старайтесь же не забыть, чему вы стали свидетелями. Сейчас вы говорите, что забыть это невозможно: филиппинцы, до зубов вооруженные четками и цветами, стояли перед танками, и танки останавливались, солдаты, выступившие против народа, обнимали людей и принимали цветы. Что это — революция? Но где же тогда головы на пиках? Где факелы, которыми поджигали усадьбы богатых? Богатые были на улицах вместе с бедными, поднялась вся страна — и поднялась с цветами... Заглядывая в будущее, мир хочет знать, сумеет ли страна покончить с насилием и коррупцией, которые мы видели задолго до Маркоса. В какой-то ошеломляющий момент на первый план вышел захватывающий дух порыв. На наших глазах мысль превратилась в волю, воля — в действие, вызванное не чем иным, как осознанием права народа самому распоряжаться своей судьбой... Вообще-то странно, что демократия — этот комический персонаж экрана и сцены — хоть раз одержала победу. Филиппинцы удивили мир.

«Браво!» — воскликнул мир и с ним «Тайм Мэгэзин», но оба упустили главное.

Мыслящего филиппинца в годы правления Маркоса приводило в отчаяние не то, что тиран сокрушил наши права и свободы, а то, что он показал всем грядущим фашистам, как можно подавлять нас снова и снова — для этого попросту надо быть столь же тщеславным и аморальным, столь же наглым, изощренным и прижимистым, как и он. «Будет ли жизнь после Маркоса?» — в шутку вопрошали мы в годы диктатуры. Однако ответ был далеко не шуточным: «Нет, потому что отныне мы обречены быть банановой республикой, которой будет править один „сильный человек“ за другим, а мы будем покорно сносить всякое насилие, как мы смирялись

и насилем, учиненным Маркосом и его чрезвычайным положением».

Бесконечный круг: тирания за тиранией, а за ней следующая — такая вот мертвая жизнь была у нас во времена Маркоса и ждала после него. До него — да, была долгая история «насилия и коррупции», но тогда история для нас все же представлялась каким-то усилием, попыткой — пусть робкой — перейти к демократическому образу жизни. С Маркосом эти упражнения в демократии прекратились, а после него, конечно же, будут оставлены даже притязания на демократию — любой негодяй и оппортунист сможет воспользоваться созданной им системой. У нас нет будущего, нет завтра — только вечная, всегда сегодняшняя банальность зла.

Примерно так мы думали в те дни, когда нас охватывало отчаяние за филиппинца, поскольку он, казалось, навеки отстранился от борьбы и смирился с насилем, чинимым Маркосом и компанией.

Но вот пришел «час истины» — на баррикадах под тигровой луной, когда, по словам «Тайм Мэгэшина», мы «нашли, чем удивить мир». Каждый защитник нашей чести вправе настаивать, что он вовсе не намеревался удивить мир, а делал обыкновенное дело. То, что мы делали, было обычным, естественным, обыденным, обыкновенным, нормальным. Короче говоря, мы действовали так, как должны были бы действовать тогда, в 1972 году, в первый же день, когда мистер Маркос поставил свой сапог нам на шею.

Однако тогда мы не возмутились этим сапогом на шее — вот это-то и было удивительным. Мы терпели этот сапог на шее долгих четырнадцать лет — вот это-то и было удивительным. В том же, что в ночи первого полнолуния года Тигра, 1986 года, мы сбросили сапог с шеи — в том нет *ничего* удивительного. Мы вернулись к повседневности, обыкновению, традиции. Мы вернулись к норме. Потому что мы решили вновь обрести будущее, вновь обрести завтра, мы решили не смиряться с цепенящей перспективой получать одного Маркоса за другим.

Это революционное решение — оно вполне в духе нашей истории, где восстания, особенно в колониальные времена, бывали по одному в год. И именно это я и имею в виду, когда говорю, что полнолуние

1986 года никаким «удивительным» не было — но было обычным, естественным, обыденным, обыкновенным, нормальным.

Филиппинец вернулся к своему *обычному* состоянию.

Поэтому избавьте нас от ваших возгласов «браво».

Что же до наших игр с демократией, то вот единственный возможный ответ: мы вновь действуем свободно, а неопределенность — один из признаков свободной воли. Никакой неопределенности не было, когда у нас не было будущего, теперь же мы вновь обрели веру, надежду — и тайну.

Как сказал Честертон:

Говорю не в утешение тебе,
Нет, не для того, чтобы предугадать твое желание,
Небо потемнеет еще более
И волны поднимутся выше.

Однако можно предположить, что отныне и впредь мы будем больше вовлечены в дела общественные, мы будем строже следить за тем, что происходит в правительстве.

Приняв участие в мятеже первого полнолуния года Тигра, Роландо Доминго, менеджер, обнаружил, что у него пропало прежнее циничное безразличие к политике.

— В эти дни, к славе которых я был причастен, я думал о том, что люди вроде меня, с пренебрежением относящиеся к политике, в сущности, развращают самих политиков. Дурные политики могут сосредоточивать в своих руках власть и богатство только тогда, когда граждане не следят за ними пристально. Теперь, когда мы отвоевали свободу, потерянную из-за нашего же небрежения, я решил быть более бдительным. Я буду внимательно следить за людьми в правительстве — орлиным взором.

И несомненно, на следующее утро после победы народа Ролли Доминго был не одинок в своей решимости. Когда пляски на улицах кончились, мы тут же снова стали серьезными, хотя немало людей хихикало, читая колонку мистера Теодоро Валенсии «Чашка кофе» в «Дейли Экспресс». Она, скорее всего, была написана за день до бегства, когда мистер Маркос еще стоял у кормила власти.

Мистер Валенсия вещал:

Всякий, кто знает мистера Маркоса, скажет, что его можно убить, однако нельзя заставить покинуть страну. Это против его натуры. Это еще неправдоподобнее, чем слухи о его смерти. Конечно, он может умереть, но бегство? — это совсем другое дело. Подать в отставку? А это куда неправдоподобнее, чем даже слухи о смерти.

Когда появились эти строки, мистер Маркос удирал через океан, оставив мистеру Валенсии чашку отравленного кофе, от которого и собака откажется. Хотя, может быть, есть истина в словах, что он не бежал сам, — ему просто дали пинка.

Экс-тиран и его августейшая супруга прихватили с собой двадцать два места багажа, когда они покинули страну в 5.12 утра в среду, 26 февраля. Его, так сказать, «карманы» были набиты новенькими купюрами на миллион песо; она прихватила с собой драгоценности, тянущие на состояние. Приземлившись на Гуаме, они и их свита толпой ворвались в магазин военно-воздушных сил и приобрели товаров на сумму более чем двенадцать тысяч долларов. «Защитите на счет», — распорядился мистер Маркос. А потом — перелет на Гавайи и убийственная скука ссылки.

Любопытный штрих: сообщали, что мать мистера Маркоса отбыла вместе с ним, и прошел месяц, прежде чем донью Хосефу обнаружили в Кардиологическом центре Филиппин в Кесон-Сити — она там пребывала на лечении, как выяснилось, последние восемь лет, и счета составили свыше миллиона песо к моменту, когда ее сын бежал из страны, не уплатив по ним. Президент Кори Акино объявила, что ее администрация оплатит эти счета.

Когда Маркос исчез, кое-кто вздохнул с особым облегчением. К примеру, Рамон Митра не брил бороду с 1972 года: когда офицеры Маркоса посадили его в тюрьму, он поклялся не прикасаться к бороде, пока правит Маркос. И как только разнеслась весть, что тирана вышвырнули, Мончинг Митра — только что назначенный министром сельского хозяйства — помчался к парикмахеру и велел снять свою седую бороду. Из зарослей появился куда более молодой и гладкий Мончинг — такой же обольстительный без бороды, как и с нею.

В трех монастырях вздох облегчения раздался

за завтраком. Когда кардинал Син узнал, что Энриле и Рамос подняли мятеж, он обратился к призывом в три женских монастыря — бедных кларисс, кармелиток и розовых монахинь: не вкушать скоромной пищи и молить небеса не допустить перерастания мятежа в кровавую гражданскую войну. «Если же это случится,— передал кардинал монахиням,— вам, может быть, придется поститься до конца дней!» Небеса вняли, восстание было мирным — мятеж улыбок. Когда пришла весть, что Маркосы отбыли, кардинал Син послал сказать розовым монахиням, кармелиткам и клариссам, что пост можно прервать. И подали им мороженое и пирожные — для разговения.

Пожалуй, с наибольшим облегчением вздохнула Кристина Понсе Энриле, супруга министра обороны. На протяжении всего кризиса она не спала и вместе с детьми и внуками постоянно меняла убежища.

«Кошмар кончился,— сказала она, услышав, что Маркоса наконец-то выставили.— Ребенком я пережила агонию войны, но не чаяла пережить вместе с детьми этот ужас. Испытание позади, но ощущения победы пока нет, поскольку как нация мы поднимаемся из руин и перед нами множество проблем».

Одно несомненно — теперь она может выспаться.

Самый несчастливый вид являли собой деловитые монахини (последний раз мы их видели коленопреклоненными перед танками), возившиеся с граблями и метлами на ЭДСА. Четырехдневный бивуак превратил авеню от Кубао до Гринхилз в район бедствия. Везде кучи мусора, вытоптанное газоны и лужайки, удушающий запах нечистот. Неудивительно, что городские дворники были в запарке. Кроме того, на них угнетающе действовали язвительные крики. «Эй, слуги Имельды, проваливайте! — кричали бессердечные люди.— Ваша сеньора бросила вас!» И в самом деле, Имельда, будучи губернатором Большой Манилы, вела себя так, будто работники коммунальных служб были ее крепостными, выстраивая их вдоль улиц всякий раз, когда выезжала за границу или возвращалась оттуда.

А теперь, на следующее утро, обескураженные дворники безмолвно взирали на разорение ЭДСА, требовавшее колоссальной уборки. С чего начать? Задача казалась неосуществимой, все равно что отскрести поле боя! Но тут прибыли отряды монахинь

и заверили, что, работая вместе, они с уборщиками приведут улицу в порядок за самое короткое время и она снова будет ласкать взор и благоухать. Потом монахи закатали рукава и принялись орудовать метлами и граблями, а увидев это, и городские служители воспряли духом и принялись за работу, трудясь усердно, как гномы, рядом со своими святыми помощницами. Революция все еще была за работой.

В восторженном хоре этого утра диссонансом прозвучал голос мистера Артуро Толентино, насмешливо заметившего, что нескольких тысяч людей на баррикадах ЭДСА недостаточно, чтобы объявить происшедшее национальной революцией, поскольку они составляли ничтожную часть населения Манилы.

Мистер Толентино, который не нашел в себе смелости даже присутствовать рядом с Маркосом на собственной «инаугурации» как вице-президента (тем самым зачислив себя в разряд «крыс, кобак и змей», подвергнутых анафеме маркосистов), являет собой тип педанта, у которого специальные знания (в его случае — знание закона) так и не переросли в мудрость.

Еще в 1896 году ученые пандиты вроде него издевательски утверждали, что восстание нескольких сот человек, поднявшихся с оружием в руках вместе с Бонифасио в Балинтаваке¹, не могло считаться национальной революцией, потому что они составляли лишь незначительную часть населения Манилы. Как-де можно сказать, что они представляют страну?

В книге о нашем национальном герое Леон Маррия Герреро со скорбью отмечал, что даже такой патриот, как Рисаль², отказался признать народ, когда он предстал перед ним в виде вооруженной толпы.

К счастью, на ЭДСА во время первого полнолуния года Тигра весь народ сразу же был признан как полноценный участник действий теми, кто стоял на страже эти четыре дня революции.

Для них признание пришло как переживание,

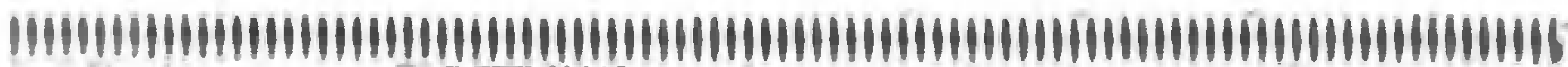
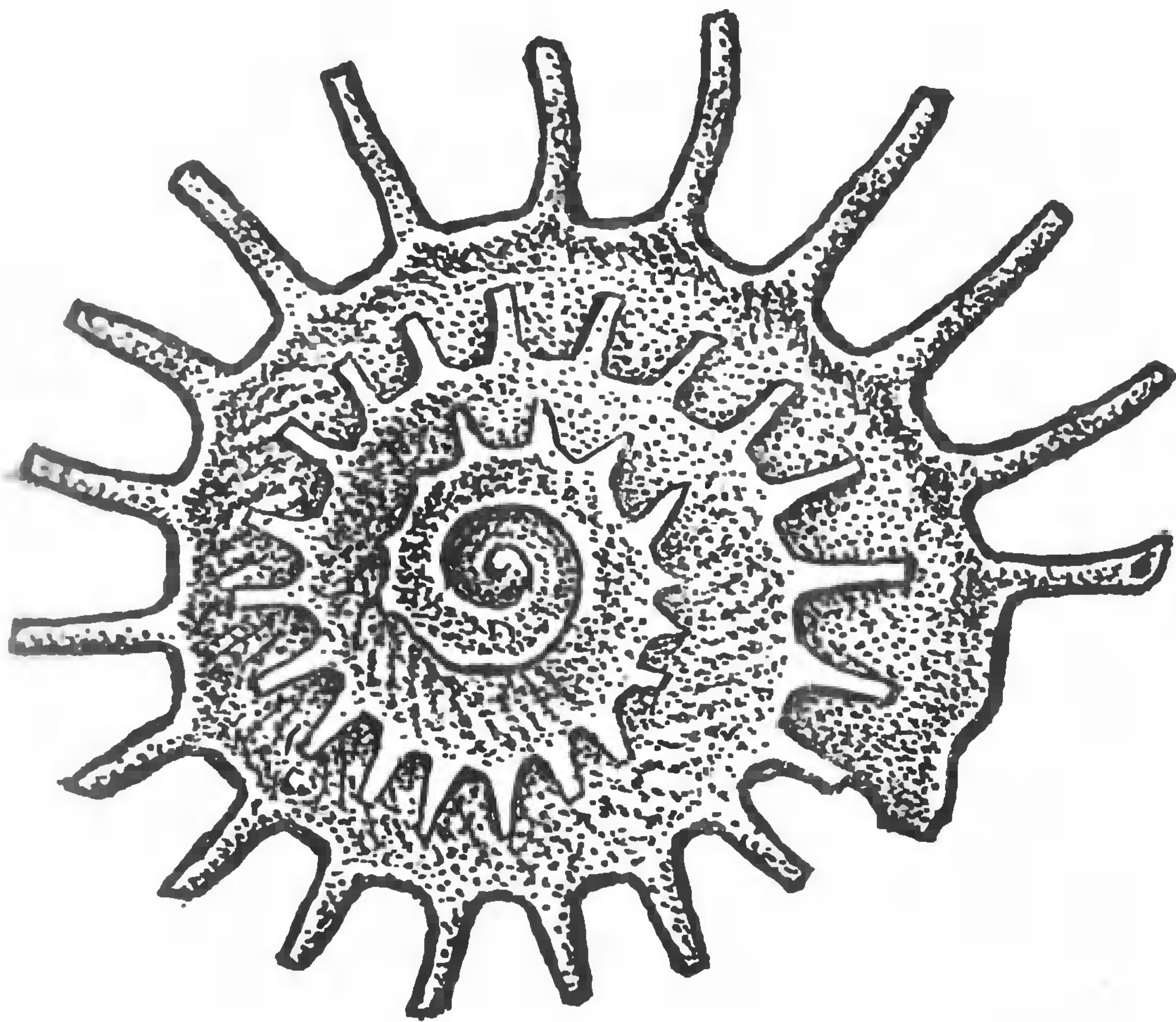
¹ 24 августа 1896 года в местечке Балинтавак Андрес Бонифасио призвал своих сторонников к восстанию против испанских колониальных властей. «Клич Балинтавака» считается началом революции.

² Хосе Рисаль (1861—1896) — филиппинский национальный герой, писатель, поэт, врач и гуманист. Казнен испанскими колонизаторами.

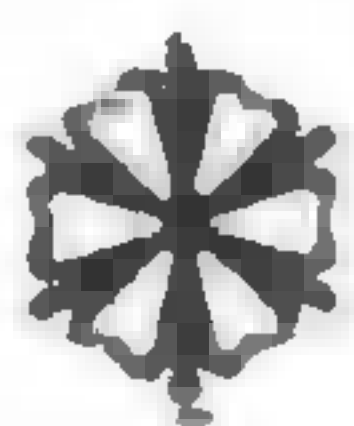
описанное Илером Бэлоком в знаменитых трех строках:

И, стоя у восточного окна, я
Увидал великолепную Республику на небе.
А вокруг ее ужасной главы — утренние звезды.

Можно только пожалеть тех, кто не понял происшедшее на ЭДСА, потому что они не поняли саму историю. «Благословенно было ощутить себя живым в то утро, — пел другой поэт другого апокалипсиса, — и божественно было быть молодым!» Но на ЭДСА небеса низошли на всех, ибо даже старые вновь почувствовали себя молодыми, снова стали крепкими в самый христианский момент нашей истории: в четыре славных дня революции, в первое полнолуние года Тигра.



Рассказы о Филиппинах



Перевод
И. В. ПОДБЕРЕЗСКОГО

ЛАПУ-ЛАПУ И ХУМАБОН: БЛИЗНЕЦЫ ПО-ФИЛИППИНСКИ *

Позвольте мне начать с излюбленного приема журналистов — с «если бы». Если бы Лапу-Лапу вдруг ожил, если бы он вернулся к нам, оказался бы здесь, на этом сборище, как бы он отреагировал на нас?

Что до меня, то я полагаю, он был бы очень удивлен. Он был бы очень поражен, увидев нас собравшимися здесь, чтобы почтить его, — нас, представляющих столь разные племена: тагалов, себуанцев, пампанганов, илонго, биколов, илоканцев и кто тут еще есть среди нас в этом зале. Как бы он был изумлен, узнав, что все эти племена ныне составляют единое сообщество, что все мы носим одно общее имя, что мы стали одной страной, одним народом.

Мыслимо ли предположить, что Лапу-Лапу не изумился бы, услышав, что именно он стал существенным фактором в создании этого сообщества, того, что мы называем филиппинской нацией? Ведь по сути идея нации зародилась при нем — если, допустим, мы условимся считать началом филиппинской нации бурную реакцию на приход христианства и западной культуры.

С этим вы можете не согласиться. Вы можете спросить, почему это филиппинец, человек Востока, вдруг оказывается продуктом западной культуры? А ответ очень прост. Филиппинец есть продукт своей истории.

Я знаю: сейчас модно утверждать, будто четыреста с лишним лет существования в качестве колонии Запада есть не более чем малозначащая интерлюдия — это, мол, не наша история, а перерыв в ней; подлинная же наша история есть история превращения в свободный народ, принадлежащий азиатской

* © 1983 by Nick Joaquin

культуре. Однако и при таком подходе фигура Лапу-Лапу чрезвычайно важна: он первый в длинном ряду героев, сопротивлявшихся культуре Запада; а наша колониальная история должна быть прочтена как долгое движение сопротивления — движение, которое продолжало героический отказ Лапу-Лапу покориться культурному вторжению.

Отказ, конечно, тоже реакция, но, думаю, мы чересчур односторонни, если считаем, что реагировать — значит идти против, сопротивляться, отвергать. Ведь и принять — тоже значит отреагировать. Модифицировать принятое — тоже значит отреагировать. Изменить и измениться — тоже значит отреагировать. Наш народный католицизм есть реакция на христианство не в меньшей мере, чем, скажем, романы Рисаля.

Наше сопротивление западной культуре, безусловно, есть часть нашей культуры, но только часть. Другая ее часть — наше принятие этой культуры, способ ее адаптации для наших собственных нужд, способ ее преобразования нами и способ преобразования нас ею.

Говоря «да» чему-то, мы реагируем столь же определенно, как если бы говорили «нет». Собственно, когда речь идет о культуре, реакция часто состоит в ответе «да» и «нет» одновременно. Это очевидно, к примеру, в филиппинском роке: он — наша реакция на западную поп-музыку. Мы говорим этой музыке «да», принимая ее ритмы; и в то же время мы говорим «нет», филиппинизируя эти ритмы, преобразуя рок в *sariling atin*¹.

Кто из нас сейчас дерзнет сказать, что буйвол-карабао с плугом — явление не филиппинское? И тем не менее это единство — карабао с плугом — есть порождение колониальных времен, наш вариант западной агрикультуры, бытовавшей в XVI веке. Когда мы воспринимали идею плуга и идею тяглогового скота, разве мы не творили историю? Разве мы станем доказывать, что такая инновация в нашем сельском хозяйстве не есть часть нашей истории, поскольку-де «подлинная» филиппинская история всегда должна сводиться к отторжению, а не принятию вторгшейся культуры? И все же филиппинец, если признать его

¹ Наше собственное (тагальск.).

существование, есть продукт плуга, не говоря уже о колесе, дорогах, мостах, латинском алфавите, печатном станке, гитаре и прочих новациях, вторгшихся к нам в XVI и XVII веках.

Вот почему я говорю, что филиппинец есть продукт реакции на западную культуру. И вот почему я не могу сказать, что филиппинец есть продукт реакции на азиатскую культуру. А почему нет? Потому что азиатской культуры, на которую мы могли бы реагировать, либо совсем не было, либо было очень мало. Потому что на всем протяжении нашей предыстории Азия блистательно отсутствует. Собственно, все эти века до 1521 года должны были быть для нас не предысторией, а полнокровной историей, если бы Азии хватило благородства сделать нас частью своей истории, своей культуры, частью себя. Но, повторяю, до 1521 года Азия блистательно отсутствовала в филиппинской культуре.

Да, я знаю, что вы можете возразить. Можете сослаться на китайских торговцев, посещавших нас с незапамятных времен. Можете сослаться на заимствования из санскрита. Вы можете сослаться на империю Шривиджайя, на мусульманских беглецов с Суматры. Вы можете упомянуть фарфор, и захоронения в кувшинах, и новейшие артефакты, извлеченные из земли на острове Миндоро или в долине Агусана на Минданао. К несчастью, есть очень влиятельный свидетель против всех наших утверждений о высокой доиспанской культуре, и свидетель этот — сама наша культура.

Утверждая, что до 1521 года у нас были обширные и разнообразные связи с Азией, что мы в очень даже значительной степени были частью азиатской культуры и азиатской истории, мы *должны* доказать это при помощи того самого фарфора и тех самых заимствованных слов. Они же на самом деле доказывают, сколь случайными, сколь эпизодическими, сколь несущественными и сколь поверхностными были наши контакты с Азией. Вьетнамцам не надо доказывать, сколь древним было влияние на них Китая, — это становится явным, как только вы знакомитесь с вьетнамской кухней. Индонезийцам не надо доказывать, сколь глубоким было влияние на них Индии, — это становится ясным, как только вы взглянете на яванский храм. А есть ли у нас хоть что-нибудь,

что свидетельствовало бы о подобной же степени влияния на нас Азии?

Возьмите религию. Разве мы стали индуистами, буддистами, даосистами, синтоистами или мусульманами, когда соответствующие религии захлестывали Азию?

Возьмите технологию. Разве мы пользовались колесом, плугом, дорогами, мостами, когда их всюду использовали в Азии?

Возьмите искусство. Разве мы создавали графику, как японцы, гигантские статуи, как кампучийцы, храмы-небоскребы, как индонезийцы, или прекрасный фарфор, как китайцы?

Возьмите кухню. Разве до 1521 года мы ели *пансит*, *сиопао*, *сукияки*, *цыпленка-кари* или *сатэ*¹? С чего бы это вся остальная Азия ест палочками, а мы нет, хотя мы, как уверяют, были неотъемлемой частью азиатской культуры?

Сегодня — да, мы едим *пансит*, и было замечено, что наша великая любовь к нему выдает и во мне, и в вас азиатов. Если это так, то до 1521 года мы азиатами *не были*, поскольку мы стали любителями *пансита* только после прихода испанцев и только благодаря им. *Пансит* не был частью нашей доиспанской кухни, иначе Пигафетта не преминул бы отметить это. Пигафетта был итальянцем, обожал свои макароны, но где в его многословных описаниях наших блюд в 1521 году восхищение по поводу лапши на нашем столе? Как и сама Азия, *пансит* блистательно отсутствовал в нашей культуре в то время. Только под властью Испании мы научились поглощать его, и, следовательно, даже столь азиатский артефакт, как *пансит*, должен считаться частью нашей вестернизированной колониальной культуры наряду с кукурузой, капустой, тыквой и помидорами.

Наше незнакомство с *панситом* в доиспанские времена — всего лишь одно из многих свидетельств, что ни в кухне, ни в религии, ни в искусстве, ни в технологии, ни в истории, ни даже в географии мы не принадлежали к азиатскому миру. О да, несколько китайских и индийских торговцев заплывали сюда точно так же, как некоторые китайские и индийские

¹ Пансит — китайская лапша; сиопао — лепешки; сукияки — японское мясное блюдо; карри — индийская приправа; сатэ — малайский шашлык.

торговцы забредали, скажем, на Гуам, на Таити, на Самоа, в Новую Гвинею и на Гавайи. И мы знаем, что эти торговцы оставляли там после себя какое-то количество фарфора и заимствованных иностранных слов, но притом фактически не оказывали никакого влияния на существовавшие на этих островах Тихого океана культуры, равно как не оказывали они никакого влияния и на культуры, сложившиеся на Филиппинах. Вот почему наша доиспанская культура напоминает культуры этих тихоокеанских островов гораздо сильнее, чем культуру континентальной Азии, вот почему я убежден, что мы в большей степени принадлежим миру Океании, Полинезии например, чем Азии.

Но ведь как раз за это, вы можете сказать, и боролся Лапу-Лапу. Он боролся за то, чтобы остаться в стороне от Азии, отдельно от нее. Он боролся за то, чтобы быть свободным и независимым в Океании. Я использую термин «Океания» для обозначения всех тихоокеанских островов, где существовала племенная экономика, а термин «Азия» — для обозначения всех материковых цивилизаций, которые уже начали борьбу за обладание Тихим океаном, югом Тихого океана.

Когда мы говорим, что Лапу-Лапу поднялся против империализма, нам следовало бы иметь в виду, что знал он исключительно азиатский империализм и, следовательно, остерегался *его* — империализма Китая и Японии, Индии и Аравии, Явы и королевств Индокитая. Задолго до прибытия европейцев в наши края эти азиатские империи уже были вовлечены в борьбу за власть и господство: Корея против Японии, Япония против Китая, Китай против Сиама, Сиам против Камбоджи, Камбоджа против Индии или против кого там еще. Вьетнамские экспансионисты — это не сегодняшняя новость, это также и древняя история, и она уже была древней, когда в Восточную Азию ворвались арабы, захватывая власть и насаждая свою религию всюду, где только могли.

Итак, говоря, что восстание Лапу-Лапу было борьбой Востока против Запада, мы, возможно, не совсем правы, хотя факты вроде бы неопровержимы. Мы знаем, что Лапу-Лапу боролся против людей Запада, но вот что сам Лапу-Лапу думал о тех, с кем боролся? Запад, каким мы его знаем сегодня, для него просто не существовал; точнее, Западом для него бы-

ли все империи по ту сторону Южно-Китайского моря, а они всегда покушались на острова южной части Тихого океана. Западом для него были все эти большие суда, которые прибывали для торговли или для того, чтобы создать колонии либо потребовать дани. Западом для него были все эти светлокожие чужеземцы, которые на Висайях вечно охотились за людьми, а потом продавали их на рынках Востока.

Да, *такой* была Азия в начале XVI века: соперничали народы, соперничали религии, а соперничавшие флотилии все глубже и глубже проникали в южную часть Тихого океана, чтобы принудить островные племенные общества слать дань императору Китая, императору Японии и какому-то там еще владыке. И вот мы уже слышим, что одно или два филиппинских племени шлют посольство — присягнуть на верность и уплатить дань. Есть сведения, что какие-то филиппинцы плавали к побережью Китая и несли опустошение, скорее всего в ответ на угрозы китайского императора послать флотилию против островитян, отказавшихся платить дань в обмен на покровительство и защиту. А Висайи уже стали богатым источником человеческого товара для Азии. Лапу-Лапу знал, что он и его соплеменники находятся под постоянной угрозой: в любой момент их могли захватить работорговцы и увезти в страшные края за морем. Угроза империализма для Лапу-Лапу была куда более непосредственной, чем мы это представляем сегодня. Беда только в том, что мы ставим себя сегодняшних на его место, вместо того чтобы попытаться понять его в контексте того времени.

Давайте же вместо этого попытаемся проникнуть в мысли Лапу-Лапу. Чем для него была Испания — или Европа? Он даже слов этих не знал. Но огромные корабли Магеллана для него могли означать только одно: империи по ту сторону Южно-Китайского моря, которые грозили захватить юг Тихого океана. Нет, Лапу-Лапу не обуревали параноидальные страхи. Повторяю: флотилии империалистической Азии уже появлялись на Филиппинах. А несколько лет спустя появится китайский пират Лимахонг — он хотел захватить Манилу, и по меньшей мере один японский воитель угрожал вторгнуться на Лусон, не говоря уже о набегах работорговцев на Висайи.

В глазах Лапу-Лапу огромные корабли Магелла-

на вполне могли сойти за флотилии Китая или Японии или за пиратские суда работорговцев. Азия опасна, но то была знакомая опасность.

Итак, я утверждаю, что восстание Лапу-Лапу есть нечто большее, чем борьба против Запада и бедного человека, хотя оно было и ею тоже. Но в куда большей степени это была борьба Океании против Азии, островов против материка, племени против империи.

И тут мы сталкиваемся с парадоксом.

Как националисты мы славим в лице Лапу-Лапу первого филиппинца, хотя он же был первым, отвергнувшим идею нации. Он отстаивал наши древние свободы, и потому он, конечно же, филиппинец, но тем-то он вовсе не был «националистом», если употреблять это слово буквально. Приходится признать, что он сражался не за Филиппины; он сражался за родную землю, за островок Мактан или даже за часть Мактана. Лапу-Лапу был сыном своего племени. И восстал он для того, чтобы предотвратить начало конца нашего племенного мировосприятия.

Хотя мы и без того обратили многие события нашей истории в красные дни календаря, но все же полагаю, что еще одно событие должно отмечаться как знаменательная дата — а вот не отмечается. Эта дата — 15 апреля, событие, по свидетельству хроник, происшедшее «за десять-двенадцать дней до мактанской битвы».

В середине апреля 1521 года Магеллан совершил эпохальное действие: он объявил об объединении всех княжеств острова Себу в единое государство, а раджу Хумабона провозгласил главой этого государства. Этот акт и явился первым шагом к нашему превращению в нацию, к превращению в Филиппины. Вот почему я говорю, что идея филиппинской нации возникла во времена Лапу-Лапу. Нас, разделенных на бесчисленные племена, впервые объединили в одно целое. Это единство распалось почти сразу же после его провозглашения, но идея запала в души. Мы уже не могли оставаться тысячью разных племен: мы могли только стать единым народом.

Насколько своевременной была эта идея, показывает пример того же Мактана. Хотя Мактан всего лишь микроскопический остров, он все же был разделен по меньшей мере на два княжества: княжество

Лапу-Лапу и княжество раджи Сулы — вождя, который принес жалобу на Лапу-Лапу. А уж если такой крошечный островок был разделенным домом, то мы можем представить, насколько раздробленным должен был быть куда больший остров, Себу. Но ведь именно Лапу-Лапу отверг идею объединения Себу и Мактана.

Здесь начало раздвоенности в душе филиппинца.

Таковы мы в начале нашей истории: мы говорим «да» и говорим «нет». Таковы мы при подъеме занавеса: мы принимаем и отвергаем. Наконец-то мы объединяемся — и тут же сопротивляемся объединению.

Я сказал, что Лапу-Лапу был первым филиппинцем. Теперь добавлю: Лапу-Лапу и Хумабон *вместе* — они были первым филиппинцем. Хумабон и Лапу-Лапу один человек, не два, потому что Хумабон обратился, а Лапу-Лапу презрел обращение.

Один без другого не полон.

И на протяжении всей нашей истории они трудятся бок о бок, первоначальная дихотомия не исчезает, так что можно сказать, что филиппинец — всегда близнец. Во всех наших бунтах против западной культуры всегда возникает фигура Лапу-Лапу, по-прежнему сопротивляющегося захватчику. А при каждом продвижении вперед в области культуры, будь то техника (использование колеса или плуга), искусство (приобщение к живописи, театру), политика (использование демократических средств и процедур), появляется фигура Хумабона, который преобразует все, что воспринимает, и при этом преобразуется сам. Следовательно, наша подлинная история — это двойственная деятельность, деятельность Лапу-Лапу и Хумабона, а не деятельность только Лапу-Лапу, потому что наша история — не сплошное сопротивление, но и не деятельность только Хумабона, поскольку наша история не есть и история только принятия; она есть совместная деятельность Лапу-Лапу и Хумабона.

Потому что один без другого не полон.

И это — наше национальное наследие: «да» Хумабона и «нет» Лапу-Лапу. В каждом филиппинце наших дней есть Хумабон и есть Лапу-Лапу, и оба они — одно амбивалентное существо, именуемое филиппинцем. В каждом филиппинце наличествует

двойственное отношение к, например, христианству, и потому мы и преданы ему, и циничны по отношению к нему в одно и то же время. С одной стороны, мы носимся с ним, лелеем его, оно — та наковальня, на которой выковали нашу национальную сущность. С другой — оно же — чужая вода, что напрочь смыла нашу исконную сущность.

Подобная амбивалентность, смесь ненависти и любви, сказывается на нашем отношении буквально ко всему в нашей христианской культуре. Что ни назови — ко всему мы относимся и как Лапу-Лапу, и как Хумабон; говорим «да» и в то же время — «нет». Думаю, мы служим Лапу-Лапу плохую службу, отмечая день его памяти и не отмечая день памяти бедного раджи Хумабона, который блестяще доказал, что и в нем сидит Лапу-Лапу. Разве не он чуть не уничтожил остатки экспедиции Магеллана? Итак, вместо дня Лапу-Лапу нам следует, по моему мнению, отмечать день Лапу-Лапу и Хумабона, день почитания этих близнецов, которых ничто не разделяет. Потому что один не полон без другого, как не полон и филиппинец без одного из них. Исторически филиппинец совмещает в себе двух близнецов.

Позвольте мне закончить обращением к этим двум архетипам, которые вместе образуют единое существо, именуемое филиппинцем:

О великие отцы народа, да продолжится в нас наша ожесточенная борьба! Покажите нам, что патриоту место и в племени, и в нации, в «да» и в «нет» в равной степени, в отторжении и в принятии, в единении и в презрении единения. И да научимся мы, наши сыновья, ценить мудрость Хумабона не меньше, чем храбрость того, кто на Мактане начал первую победоносную и непрекращающуюся Филиппинскую Революцию!

ТАК ЧТО ЖЕ ПРОИЗОШЛО НА БАТААНЕ? *

Можно утверждать, что Батаан пал не 9 апреля 1942 года, а 8 декабря 1941-го, в первый же день войны на Тихом океане, потому что именно в этот день, если говорить откровенно, Соединенные Штаты

* © 1983 by Nick Joaquin

бросили Филиппины на произвол судьбы — по крайней мере до поры до времени.

Мы ждали каравана судов длиною в милю, мы ждали, что небо потемнеет от самолетов, американские власти в Маниле уверяли нас, что помощь уже идет, а между тем в Вашингтоне вопрос о помощи даже не стоял. Более того: все, что было уже в пути, отозвали назад — караван военных судов и три транспортных судна с оружием и самолетами, направлявшиеся в Манилу, в первый же день войны, 8 декабря, получили приказ вернуться. Боевые корабли повернули на острова Фиджи, транспортные суда возвратились в Сан-Франциско. Все это держали в секрете от Филиппин и даже от Макатура.

Приказ вернуться, возможно, был вызван опасениями Вашингтона потерять еще больше людей и судов сразу после Пёрл-Харбора. Панический страх удерживал американцев от прямого риска. И все же воды Тихого океана по-прежнему были американскими водами и могли бы остаться таковыми, окажись нервы крепче. Уэйк еще не пал; Гуам держался; японцы вряд ли уже установили блокаду в южной части Тихого океана. Собственно, Макатур вообще сомневался в том, что японцы сумеют установить блокаду, а если и сумеют, то смогут ли закрепиться на столь протяженном рубеже достаточно прочно, чтобы его нельзя было прорвать решительным ударом.

Если бы боевым и транспортным кораблям позволили продолжить путь, а не повернули их назад, если бы они добрались до Манилы, это изменило бы ход первых месяцев войны. Выиграли бы не только Филиппины. Укрепился бы боевой дух американцев, что привело бы к большей решимости; можно было бы сохранить открытыми воды Тихого океана, обеспечить снабжение Филиппин и других бастионов союзных сил на Дальнем Востоке — точно так же, как оставались открытыми на протяжении всей войны пути в Атлантике, несмотря на активность немецких подводных лодок. Но Вашингтон отказался пойти на риск, не приложил никаких усилий к обеспечению снабжения, сдал Тихий океан в первый же день войны. И Батаан пал.

Главная причина: тайная договоренность между Рузвельтом и Черчиллем (филиппинцам не за что

любить ни того, ни другого) о том, что если Соединенные Штаты и вступят в войну, то лишь в войну Британии против Гитлера,— колонии в Азии подожгут. Отсюда парадокс: американцы объявили войну, потому что на них напали японцы, но сражаться начали против немцев. Сопротивление на Батаане было использовано для подъема американского боевого духа против нацистов. Филиппинские парни умирали, чтобы американские парни еще яростнее участвовали в британской войне.

Кровь, пролитая на Батаане,— всего лишь краска на пропагандистском плакате.

Никакой другой цели у этого сражения не было. Мы хвастаемся тем, что ЮСАФФЕ¹, продержавшись три месяца на Батаане, окончательно сорвали японские планы военных действий. Если чьи-то планы и были сорваны, то только планы союзников, а не японцев. Хомма рассчитывал овладеть Батааном за шесть месяцев, а взял его в три. И на протяжении этих трех месяцев японцы наступали во всей Юго-Восточной Азии строго по графику, а к первой неделе мая 1942 года выплеснулись и за ее пределы, на берега Австралии, всего через пять месяцев после Перл-Харбора. Они овладели всей Ост-Индией и заодно уничтожили тихоокеанские флоты союзников.

Нет никаких доказательств того, что защитники Батаана нарушили ход японской военной машины или что битва за Батаан хоть каким-то образом воспрепятствовала японскому броску в южную часть Тихого океана. Этот миф — не что иное, как *consuelo de bobo*². Что до японцев, то для них Батаан никогда не имел никакого военного значения. С их точки зрения он тоже представлял исключительно пропагандистскую ценность, вопрос чести — как бы не потерять лицо. И уж конечно, не они потеряли лицо на Батаане.

Мы утешаем себя мыслью, что битва за Батаан сковала отборные японские войска и потребовала лучшего японского полководца, который так нужен был в другом месте. Ничто не может быть дальше от истины.

Отборная японская дивизия, 48-я, действовала лишь в самом начале кампании на Филиппинах, по

¹ ЮСАФФЕ — вооруженные силы США на Дальнем Востоке.

² Утешение для дураков (исп.).

взятии же Манилы была переброшена на Яву — к новым победам, к новой славе. Для завершения кампании на Батаане туда передислоцировали второсортные войска: 65-ю летнюю бригаду, сформированную из солдат старших возрастов; они шли в бой впервые в своей немолодой жизни.

Когда началась битва за Батаан, в этой не нюхавшей пороху бригаде было всего 7500 солдат. Перед нею расстилались неведомые горы и джунгли, карт которых у них не было, и противостояли им силы ЮСАФФЕ: 15 тысяч американцев и 60 тысяч филиппинцев, причем по меньшей мере 10 тысяч из них были обученные солдаты — американские или филиппинские стрелки, а также военизированная полиция. Но даже необученные солдаты ЮСАФФЕ имели больше опыта, чем 65-я бригада противника.

Так рушится миф о «превосходящих силах» японцев на Батаане.

Да и Хомма, хотя его имя гремело у нас здесь, не был лучшим японским генералом. В Японии он принадлежал к антивоенному, прозападному крылу и, следовательно, для сторонников войны оставался под подозрением; мало того, он был заведомым противником Тодзио, японского премьер-министра того времени. А премьер Тодзио вовсе не стремился к быстрой победе на Батаане; похоже, ему это было безразлично. Он отнюдь не желал своему противнику боевой славы. Хомме поставляли скверные военные карты, неполные разведсводки, давали минимум подкреплений, но все время корили его за медлительность в прочесывании территории — именно так представлялась в Японии битва за Батаан.

Сейчас ясно, что бедный Хомма воевал не только с ЮСАФФЕ, но и с Токио. Тодзио, его заклятый враг, хотел, чтобы Хомма потерпел поражение на Батаане, но Хомма предпочел выиграть это дурацкое, бесполезное, изнуряющее сражение, хотя никакой военной надобности в этом не было; если бы согласился Токио, он бы мог куда проще покончить с ЮСАФФЕ, заперев их на полуострове, а там малярия и скудеющие пайки сделали бы свое дело. Из всех казней военных преступников казнь генерал-лейтенанта Масахару Хоммы выглядит самой мстительной, самой неоправданной, самой жестокой. Ненависть к нему филиппинцев и американцев естест-

пенна, поскольку он хорошо проучил их, поскольку он вопреки всему одержал победу; но сейчас ясно, что это слишком — повесить человека только за то, что он оказался лучшим генералом, чем Макартур.

Если кому-то и следовало предстать перед трибуналом, так это блестящим военным гениям, которые послали ЮСАФФЕ на бойню на Батаан — погибать из-за чьей-то трусости, нераспорядительности, глупости. Вот храбрым стратегам, которые вели битву за Батаан в Вашингтоне, стоило бы понюхать веревки, потому что они героически не допускали даже мысли о сдаче и приказывали защищать полуостров до последнего человека, когда войска ЮСАФФЕ корчилась в агонии. Батаан должен был стать символом готовности свободного человека сражаться за свои свободы до конца — но он не мог стать таким символом, если бы его сдали, когда еще были живы или полуживы тысячи его защитников.

Вот так и получилось, что в ту неделю, когда пал Батаан, приказ из Вашингтона еще гласил: «Не сдаваться!» Жаль, что Вашингтону не удалось передать на Батаан хотя бы частицу своей доблести.

Защита «до последнего человека» крепости, перевала, даже города может быть славным деянием, поскольку в нее вовлечено лишь ограниченное число людей. Но здесь была массовая кровавая бойня. Отказ от сдачи Батаана означал принесение в жертву всей нашей армии. Если бы была малейшая надежда на помощь, сопротивление имело бы хоть какой-то смысл: удержание стратегически важной части страны до подхода подкреплений, сохранение армии для продолжения военных действий. Но военачальники на Батаане знали, что никакой помощи не будет. Начальники в Вашингтоне знали, что о помощи осажденному полуострову и речи быть не могло. И тем не менее требовали бессмысленного сопротивления, хотя после взятия Манилы честь не была бы замарана в случае прекращения боевых действий ЮСАФФЕ, поскольку на помощь рассчитывать не приходилось.

Филиппинские парни держались на Батаане, потому что твердо верили: вот-вот море покроется огромными караванами судов, небо потемнеет от самолетов. Они не знали, что сражаются только за то, чтобы дать свободному миру еще один символ готов-

ности сражаться за его... и т. д. Они не знали, что помощь не подходит так долго, поскольку ее просто не было, поскольку ее и не посылали, а та, что была в пути, повернула назад.

Но если мы и пребывали в заблуждении, то ввели себя в него сами. Легенды о караванах судов длиною в милю сложили мы, а не Вашингтон. Как Вашингтон ни уверял нас накануне войны в том, что немедленно встанет на нашу защиту, сразу же, только началась война, в вашингтонских заявлениях появилась осторожная неопределенность, а мы оставили ее почти без внимания.

Давао, Багио, Апарри и Тугегарао подверглись бомбардировке в первый же день войны, а одним воздушным налетом на Кларк-филд японцы уничтожили американские военно-воздушные силы на Филиппинах. Однако из Вашингтона не поступило даже заверений, что авиация будет пополнена, чтобы защитить наши небеса, оставшиеся без прикрытия из-за паники и неразберихи, царивших на Кларк-филде. Вот и вздрагиваешь, вспоминая лозунг тех дней: «Выше, в небо!»

Тогда мы этого не знали, но и наши берега были оголены, потому что ночью 8 декабря флот США тайно покинул Манильскую бухту и уплыл прочь, оставив Филиппины на милость японских десантных флотилий.

Таким образом, с самого начала войны мы не имели защиты с воздуха, не имели защиты с моря — но разве это беспокоило нас? Нисколько; мы считали само собой разумеющимся, что наши защитники выполнят свой долг. Мы видели «караваны судов длиною в милю» в каждом американском заявлении. Но что в действительности говорил Вашингтон в те дни? Ничтожно мало, да и эта ничтожная малость была какой-то туманной.

11 декабря, когда, как предполагалось, шла яростная битва за Лингаен (еще один миф, эта битва), президент Рузвельт направил короткие послания Макартуру и Кесону. «Я постоянно думал о вас, — сообщал американский президент Макартуру. — Продолжайте вашу героическую борьбу!» А к Кесону он обратился с такими словами: «Великолепный отпор неспровоцированному вторжению. Продолжайте столь же блестяще!»

Ни слова о караванах судов, самолетах, подкреплениях, поставках. Эти послания поступили даже не непосредственно от Рузвельта, а от информационного бюро.

Японцы высадились на филиппинскую землю в Лингаене с величайшей легкостью, им больше хлопот доставила пересеченная местность, нежели защитники, и они начали свой лусонский блиц, разгромив 11-ю и 71-ю дивизии ЮСАФФЕ и отбросив 21-ю. К концу рождественской недели 1941 года, через девять дней после высадки, японцы уже приближались к Маниле.

А что же говорил Вашингтон накануне падения столицы Филиппин? В ту рождественскую неделю Рузвельт был очень занят — проходила конференция *huo-tayo lang*¹ с Черчиллем, на которой они решили, что перед лицом угрозы со стороны Гитлера европейцы нуждаются в помощи больше, чем азиаты перед лицом угрозы со стороны Тодзио. Легко понять, что договор с другом оказался важнее, чем обязательство по отношению к подопечному. Но Рузвельт все же нашел время направить послание в Манилу, которая не знала, что ей суждено пасть, которая все еще верила, что далеко на севере японцы получают отпор, и караваны судов спешат на выручку.

30 декабря 1941 года Рузвельт заявил филиппинцам:

«Ресурсы Соединенных Штатов, Британской империи, Нидерландской Ост-Индии и Китайской республики поставлены народами этих стран на службу высшей цели: окончательному разгрому японских агрессоров. Я торжественно заверяю народ Филиппин, что его свобода будет возрождена и независимость восстановлена. За этим заверением стоят все ресурсы Соединенных Штатов, людские и материальные».

Обещание должно бы было отрезвить нас: ведь если Рузвельт обещал возродить нашу свободу, значит, он полагал, что она уже потеряна. Другими словами, нас уже списали. Но мы прочли это послание не так.

Заголовок из «Трибюн»: «Рузвельт твердо обещает помощь Филиппинским островам». Та же газета ра-

¹ Только свои (тагальск.).

достно сообщала в редакционной статье, что в послании содержится «все, на что мог надеяться филиппинский народ; филиппинцы не могут требовать большего».

В самом мрачном смысле «Трибюн» была права: мы не могли надеяться на большее, чем на послание.

Но были люди, которые не нашли в послании ничего обнадеживающего, потому что с первого же дня войны они ждали четких заявлений Вашингтона: какие силы идут на помощь, когда придут — или уж прямо скажите, что никакой помощи не предвидится. Они хотели немногого: побольше честности и поменьше двусмысленной болтовни. Вера филиппинцев в то, что Америка нас не подведет, была неколебимой, но туманные послания из Вашингтона не могли не возбудить подозрений, что нас водят за нос.

Вот почему канцелярия Верховного комиссара США сочла необходимым сразу же после опубликования послания Рузвельта выступить со следующим заявлением:

«Помощь идет, помощь такой силы, что противник наверняка будет отброшен и обескровлен настолько, чтобы никогда уже не угрожать нам. Наш долг — воздержаться от распространения панических слухов. Конечно, все мы жаждем новостей, но пока подробности не могут быть раскрыты».

Вместо того чтобы сказать правду, канцелярия Верховного комиссара укрепила наши надежды, намекая на большие новости, подробности которых не могли быть раскрыты. А раскрыты они не могли быть потому, что их просто-напросто не было. Уж канцелярия комиссара могла бы знать, что из Вашингтона не поступило никаких новостей, могущих обрадовать филиппинцев, и все же она не воздержалась от распространения слухов. Вот такие-то заявления и привели к трагедии Батаана, к гибели парней, которые считали, что им надо продержаться лишь короткое время, поскольку помощь уже на подходе.

В тот самый момент, когда канцелярия комиссара уверяла, что «помощь близка», у ворот Манилы появились японцы, а ЮСАФФЕ откатилась на Батаан.

Военный план «Апельсин-3»

Вопрос об отступлении был решен за два дня до Рождества, после того как Макартур узнал, что 11-я и 71-я дивизии ЮСАФФЕ разгромлены наступающими японцами. Остановить захватчика было нечем. И был издан приказ: приступить к осуществлению военного плана «Апельсин-3».

Войска США на Филиппинах загодя разработали этот план как отчаянную меру на случай успешного вторжения противника. По этому плану войска должны были отступить на Батаан и Коррехидор, чтобы не дать запереть Манильскую бухту до подхода подкреплений. По плану, армия могла держаться на Батаане по меньшей мере шесть месяцев, за это время, предполагалось, успеет подойти флот США с войсками и снаряжением.

Здесь надо отметить, что военный план «Апельсин-3» разрабатывался с совершенно конкретной целью: создать крепость, которая могла бы продержаться до подхода флота США. Смысл плана, его единственное основание и исходная посылка заключались в расчете на подход подкреплений. Батаан был выбран как раз по этой причине: не дать запереть Манильскую бухту. Если план служил столь специфической цели, то отсюда следует, что он не мог быть введен в действие потому лишь, что на страну совершено нападение и защитники попали в отчаянное положение. Нечего было отводить войска на Батаан просто ради совершения героических подвигов, ради того, чтобы они стали «символом». Их следовало отвести туда, лишь если бы была либо твердая, либо хотя бы сколько-нибудь оправданная надежда на подход подкреплений: только на такой случай план и был принят. План используют не просто потому, что он существует: его используют с определенной целью, для которой он и разработан.

Вопрос: имели ли люди, начавшие осуществлять план «Апельсин-3», твердые заверения Вашингтона, что подкрепления высланы, что можно продержаться до подхода американского флота или, по меньшей мере, что будут предприняты усилия послать подкрепления и флот в течение ближайших шести месяцев? Если бы такие заверения были даны, тогда сопротивление на Батаане было бы оправданным, ло-

гичным и ответственным за трагедию был бы Хомма, а не Вашингтон. Но если таких заверений не было (а все указывает на то, что Вашингтон был очень осторожен и сдержан), тогда Батаан — всего лишь бюрократическое преступление: план использовали только потому, что он был утвержден, с полным пренебрежением к целям и условиям его выполнения.

Собственно, наши парни на Батаане умирали за план и из-за плана «Апельсин-3». План предписывал им сражаться до подхода судов. Они сражались и умирали, однако суда не подходили — по той простой причине, что и не собирались подходить! На Батаане абсурд превратился в кошмар; он стал самой бессмысленной бойней всей войны на Тихом океане, хуже, чем насилие над Манилой.

Но в январе 1942 года в войсках ЮСАФФЕ все еще был высок боевой дух, они не считали отступление на Батаан отступлением. Просто такова американская стратегия, так нужно, чтобы еще больше сократить то, что мы по-прежнему считали «войной нескольких недель».

Отступление вроде бы прошло организованно, пока не выяснили с опозданием, что огромное количество припасов было брошено на военных складах. Запасов продовольствия на Батаане оказалось только на один месяц, так что с самого начала ЮСАФФЕ посадили на половинный паек.

К 9 января войска окопались. Западная часть полуострова находилась под командованием Уэйнрайта, восточная — генерал-майора Джорджа Паркера. Между ними — пусто поросшие лесом горы. Первая линия обороны шла от горы Натиб к морю, чуть выше Абукая, ее удерживали 51-я дивизия (генерал Джонс), 41-я дивизия (генерал Висенте Лим) и 57-й полк филиппинских стрелков. Филиппинские солдаты, которых американские инструкторы третировали за бегство от японцев с Центральной равнины, на Батаане были сознательно помещены на позиции, где им пришлось бы сражаться, потому что отступать было некуда.

Войсками противника численностью в 7500 человек командовал генерал-лейтенант Акира Нара; преследуя ЮСАФФЕ, он углубился в джунгли Батаана и тут же потерял связь с целым полком. Оставшимися силами он атаковал линию Абукая с марша и даже

была рекогносцировка позиций противника. Огневой удар его артиллерии не причинил ущерба американским позициям, потому что он даже не знал, где именно они расположены. Первый натиск японцев закончился неудачей, но они не прекращали попытки.

К 15 января линия Абукая начала разваливаться, ее пришлось укреплять.

Макартур поднимал падающий боевой дух своих солдат такими посланиями: «Из Соединенных Штатов идет помощь. Выделены тысячи солдат и сотни самолетов. Дальнейшее отступление невозможно. На Батаане наши войска превосходят по численности противостоящие нам японские; у нас хорошее снабжение, стойкая оборона опрокинет наступление противника».

Но Кесон на Коррехидоре уже знал правду и настаивал на посылке Рузвельту гневного послания такого содержания:

«Это не наша война. Мы решили сражаться на нашей стороне, мы сделали все возможное и продолжим делать все, чего от нас можно требовать при таких обстоятельствах. Но сколько еще мы будем в одиночестве? Или в Вашингтоне уже решено, что филиппинский театр не имеет значения для окончательного исхода войны? Если так, то я хотел бы знать наверняка, потому что и у меня есть ответственность перед соотечественниками. Я хочу знать, оправдано ли решение пожертвовать людьми, если для окончательного исхода войны пролитая кровь, возможно, совершенно не нужна».

Макартур в конце концов согласился отправить это послание, потому что и он чувствовал, что Вашингтон не может оправдать свое бездействие японской блокадой, поскольку эта блокада, по убеждению Макарура, существовала только на бумаге.

16 января войска ЮСАФФЕ на линии Абукая перешли в контрнаступление, но оказались в клещах, потому что потерянный Нарой полк, который бродил по склонам горы Натиб, вдруг оказался в тылу противника.

Так закончился первый этап битвы за Батаан. Из 51-й дивизии генерала Джонса в живых осталось только сто человек. 41-я дивизия генерала Висенте Лима потеряла 1200 человек. Филиппинские стрелки были рассеяны в джунглях. Поскольку японцы про-

должали натиск, 31-й пехотный полк, состоявший из одних американцев (его еще называли «Собственный полк Манилы», и его казармы находились на улице Арросерос и в Интрамуресе), был спешно переброшен на Батаан, чтобы остановить японцев, но увяз в джунглях.

Тем временем еще 5000 японских солдат высадились на другой, западной стороне полуострова и выбили Уэйнрайта с его штабом из города Моронг. Около полутора тысяч японцев высадились на крайней оконечности полуострова, чтобы прорваться через позиции ЮСАФФЕ, но, не сумев продвинуться далеко, закрепились в пещерах, и их пришлось выкуривать оттуда в долгих утомительных стычках.

К 23 января Макартур обнаружил, что потерял 35% своих сил, и отдал приказ об общем отступлении на новую линию обороны вдоль шоссе Пилар—Багак, в центре Батаана. Северная часть полуострова была оставлена. Филиппинцы не понимали, почему им приказали отступать, ибо полагали, что в Абукае они одерживают верх. Они не знали, что японские клещи сходились на этой линии.

Хомма приказал атаковать новую линию обороны ЮСАФФЕ 26 января, но опять-таки Нара, который потерял 2000 солдат из 7500, понятия не имел, где находится эта линия, и напоролся на основные позиции, полагая, что это лишь сторожевое охранение. Ошибка стоила ему дорого, и январь завершился для японцев чувствительными потерями.

Наступил февраль, и официальные лица автономных Филиппин стали шептаться о том, что Вашингтон их «бросил», «продал». Кесон услышал, как Рузвельт заявлял по радио, что тысячи самолетов уже в пути — в Европу.

Дон Мануэль взорвался:

«Тридцать лет я работал для филиппинцев, уповаая на них. Сейчас они горят в огне, умирают за флаг, который не в состоянии защитить их. *Por Dios y todos los santos*¹, я не могу больше слышать эти постоянные ссылки на Англию, на Европу! Где самолеты, которыми хвастается этот *sinvergüenza? Que demonio!*² Почему американцы так корчатся от боли

¹ Во имя Бога и всех святых (*исп.*).

² ...бесстыдник? Черт побери! (*исп.*)

... судьбы дальнего родственника, когда родную дочь насилуют в задней комнате?»

У Кесона был план: пусть США немедленно предоставят Филиппинам независимость, тут же объявят их нейтральными, тогда и США и Япония могут вывести свои войска. Рузвельт отверг это предложение и обещал, что «пока флаг США развевается на филиппинской земле, наши люди будут защищать ее до конца».

Одновременно Макартур получил такое послание Рузвельта:

«Сопrotивление японскому агрессору до последнего является ныне самым главным делом на Филиппинах. Организуйте максимально эффективное сопротивление на максимально длительный срок, который только позволяют человеческие силы».

Лишь теперь бедный Макартур понял, что от него требуется: превратить Батаан в символ сопротивления. Для Вашингтона все остальное не имело никакого значения.

Отступление к шоссе Пилар—Багак привело к тушковой ситуации. Большую часть февраля держалось неустойчивое равновесие, но теперь силы ЮСАФФЕ косили малярия, дизентерия, цинга и голод. Во время затишья японцы прибегли к пропагандистской кампании и засыпали позиции ЮСАФФЕ листовками, копиями меню манильских ресторанов, фотографиями красавиц в соблазнительных позах. Все это должно было внушить одну мысль: «Филиппинцы, отправляйтесь по домам, хватит воевать за белого человека».

В марте, когда Макарура и Кесона вывезли в Австралию, войска на Батаане поняли, что их просто списали. Макарура, кажется, согласился покинуть Филиппины только потому, что ему дали понять, будто в Австралии сосредоточиваются крупные силы, которые ждут, что он поведет их на Филиппины. Его «Я вернусь», следовательно, в то время означало нечто очень близкое; он имел в виду не «Я вернусь со временем», но «Я тут же вернусь». В Австралии, убедившись, что никакие войска его здесь не ждут, он совершенно пал духом.

Что до Кесона, то этого отчаявшегося пришлось увозить из страны чуть ли не насильно. Покинув Коррехидор еще за три недели до Макарура, 18 марта

он все еще находился в стране и настаивал на том, что должен остаться. Он не мог заставить себя уехать. В конце концов его чуть ли не силой переправили на Минданао, но оттуда, вместо того чтобы лететь в Австралию, он улетел в Дансалан. Осмелее понадобилась неделя, чтобы убедить его отправиться с ним на плантацию Дель Монте, где ждал самолет на Австралию. Но, добравшись до плантации, Кесон опять исчез со всей своей семьей, и его нашли в хижине на склоне гор. «Все,— стонал он,— буквально все получают помощь от Рузвельта... Кроме Филиппин».

В ночь на 26 марта президента наконец доставили к самолету и, как показалось присутствующим, затолкали туда силой.

Страстная неделя

В 1942 году Страстная пятница выпала на 3 апреля. Утром этого дня генерал Нара начал последнее наступление. Кульминацией битвы на Батаане стал бой у подножия горы Самат, где пытались удержаться силы ЮСАФФЕ.

Наступление началось с мощной артиллерийской подготовки, которая выбила парней ЮСАФФЕ из окопов и заставила их откатиться на вторую линию обороны. Японские самолеты сбросили зажигательные бомбы, и под прикрытием дыма и пламени японцы пошли в атаку в три часа дня страстной пятницы, в самый печальный час года.

К сумеркам они пробили трехмильную брешь в позициях ЮСАФФЕ.

Мощный артиллерийский обстрел и воздушная бомбардировка продолжались всю субботу и все воскресенье — светлое Христово воскресенье. В начале наступления ЮСАФФЕ занимали позиции между горой Самат и японцами. В пасхальное же воскресенье потрепанные батальоны были отброшены за гору, а японцы карабкались наверх, чтобы водрузить на вершине знамя.

6 апреля ЮСАФФЕ предприняли контрнаступление — оно началось с безрассудства, а кончилось хаосом. Целые дивизии были просто рассеяны, и войска превратились в обезумевшую бегущую толпу.

Однако на западной стороне полуострова силы КИСДФФЕ, которыми командовал генерал Эдвард Кинг, так и оставались незадействованными. Нужно ли было перебросить их на выручку на восточную сторону? Уэйнрайт считал, что нужно, и приказал Кингу послать своих людей в бой. Но генерал-майор Джонс возражал, полагая это бессмысленным. Люди слишком ослабели от голода и болезней, контратака бесполезна — она только отсрочит конец, но ничего не изменит.

В конце концов генерал-майоры Джонс и Кинг решили примириться с неизбежным.

8 апреля после полудня Кинг отправил своего начальника штаба, бригадного генерала Арнольда Фанка, на Коррехидор предупредить Уэйнрайта, что Батани может капитулировать в любой момент.

Уэйнрайт слушал Фанка, а перед ним лежали два послания.

Одно от Макатура: «Я категорически возражаю против капитуляции ваших сил на каких бы то ни было условиях. Если плохо с продовольствием, вы должны подготовить и осуществить наступление на противника».

Иными словами: погибайте в бою.

Другое послание было от Рузвельта: он запрещал капитуляцию, «пока существует хоть какая-то возможность сопротивления».

Наконец Уэйнрайт вымолвил Фанку: «Генерал, возвращайтесь и скажите генералу Кингу, что я запрещаю сдаваться. Пусть переходит в наступление. Таков мой приказ».

Глаза Фанка наполнились слезами, и он сказал: «Генерал, вы, конечно, знаете, какая там обстановка. И вы знаете, что из этого выйдет».

Уэйнрайт мрачно ответил: «Знаю».

Судный день

На Эдварда Кинга пал нелегкий выбор между гибелью и капитуляцией, между повиновением Вашингтону и Уэйнрайту и спасением жизней 76 000 человек. Около полуночи 8 апреля он совещался с генералом Фанком и полковником Джеймсом Коллиером, начальником оперативного отдела штаба. Оба сказали,

что никакое наступление не в силах помешать японцам завтра же дойти до Маривелеса — оконечности полуострова Батаан.

Кинг со слезами принял решение: пусть он пойдет под трибунал, но не допустит гибели 76 000 оставшихся солдат ЮСАФФЕ.

На следующий день, в шесть утра 9 апреля, два американских парламентаря были посланы с белым флагом на японские позиции просить о встрече командующих; если бы встречу организовать не удалось, парламентареры имели полномочия сдать Батаан сами. Только когда парламентареры ушли, Кинг позвонил Уэйнрайту и сказал ему об этом. Ошеломленный Уэйнрайт пытался остановить такое развитие событий, но было уже поздно.

На Батаане взрывали склады боеприпасов. Весь день содрогалась земля, и впавшие в панику люди думали, что настал конец света.

Церемония капитуляции состоялась в девять утра, на экспериментальной ферме в Ламао. Генерал Накаяма, представлявший Хомму, принял «безоговорочную капитуляцию» сил ЮСАФФЕ на Батаане от генерала Кинга, который подчеркнул, что он представляет только себя самого, а не Уэйнрайта. Потом Кинг и другие американцы были увезены в Балангу.

В ту ночь Уэйнрайт, который за весь день не имел с Батаана ни слова и не знал, что произошло, получил от Рузвельта странное послание, вызвавшее, надо полагать, горькую усмешку у защитника Коррехидора. Американский президент сообщал:

«Во изменение моего предыдущего приказа я оставляю на ваше усмотрение решение, касающееся будущего войск на Батаане. Считаю необходимым заверить вас, что вы обладаете полной свободой действий, я же целиком полагаюсь на мудрость любого решения, которое вы вынуждены будете принять».

Итак, Рузвельт отменил свой приказ «не сдаваться» в день капитуляции, когда в такой отмене уже не было нужды. Здесь он — как и на протяжении всей филиппинской кампании — опоздал. История сама решила вопрос, который он пытался решить последним своим словом.

Когда новости достигли Австралии, у Макарура уже были наготове пышные фразы:

«Наше сопротивление на Батаане завершилось»

достойно, как того желали и те, кто сражался до самого конца, пока не иссякла хоть какая-то — пусть призрачная — надежда. Никакой армии не удавалось совершить столь многое со столь малыми силами, и эти усилия были достойно увенчаны в последний час испытаний и агонии. Матерям, оплакивающим погибших, я могу сказать только, что ореол, сиявший над Иисусом из Назарета, снизошел на их сыновей, и Господь примет их в Царствие свое».

Последний час, достойно увенчавший ЮСАФФЕ, видел обезумевших людей, массовое дезертирство, струсивших и утративших контроль офицеров, и только один человек, Клиффорд Блумель, единственный генерал, оставшийся на позициях, пытался как-то организовать оборону на последнем рубеже, но не мог найти офицеров, «хотя по меньшей мере тридцать офицеров было в штабе Второго корпуса — они-то они и спали по расписанию, и тем не менее не нашлось ни одного, кого можно было бы послать на боевые позиции».

Капитуляция каким-то образом навела порядок. То, что последовало за Батааном, в течение долгого времени считалось продуманным издевательством японцев над пленными с целью унижить их; но свидетельства того, что ужасы Марша Смерти были заранее спланированы японцами, нет. Скорее наоборот: есть признаки того, что Хомма и его штаб пытались осуществить быструю и организованную переброску пленных из Батаана в Капас. Пленных предполагалось собрать в Баланге, потом грузовиками перебросить в Сан-Фернандо, а оттуда поездом в Капас. Но Хомма до последнего момента не имел точного представления о численности противника. Он полагал, что к концу сражения на Батаане было сосредоточено от 25 до 35 тысяч солдат ЮСАФФЕ, и подготовка к транспортировке велась из этого расчета.

Когда японцы увидели, что у них на руках более 70 тысяч пленных, вся предварительная работа пошла прахом. К примеру, как перебросить 70 тысяч человек в двухстах грузовиках? И когда транспортных средств не осталось, пленных погнало пешком. Их конвоировали японские солдаты, утомленные боями, раздраженные свалившейся на них обязанностью и к тому же исполненные тех милых качеств, которые

вложила в них одна из самых утонченных культур Востока.

Солдат ЮСАФФЕ три месяца вели Маршем Смерти через горы и джунгли Батаана, и многие павшие на дороге в Капас были жертвами не японской жестокости, но голода, болезней, истощения и ужаса, который вселил в них путь от горы Натиб до горы Самат. Где бы ни настигла их смерть, они пали на Батаане.

9 апреля мы всякий раз вспоминаем о Батаане как символу, как источнику вдохновения. Батаан действительно символ невыразимого, однако источником вдохновения он может служить только для слабоумных. Он должен быть предупреждением нашему народу, старым как мир предупреждением: «Не доверяйте принцам».

ОНИ НАЗВАЛИ ЭТО «ОСВОБОЖДЕНИЕМ» *

Тихоокеанская война, призрачная годовщина которой на прошлой неделе осталась неотмеченной (15 августа — день победы над Японией), началась и закончилась для Филиппин ненужными потерями.

Вопросительный знак относительно пятимесячной бойни — с 8 декабря 1941 года, дня начала войны, до 7 мая, дня падения Коррехидора, — нависает главным образом над Батааном, и вопрос заключается вот в чем: нужна ли была эта бойня?

Но даже Батаан предстает нехитрой загадкой по сравнению с куда более значительным вопросом, нависающим над восемью месяцами кровавого ужаса — с 20 октября 1944 года, дня высадки на острове Лейте, до падения Манилы 30 июня 1945 года, — временем, которое пользуется в нашей истории сомнительной славой «периода Освобождения». Вопрос же таков: нужно ли было проходить этот путь от Лейте до Манилы?

Для нашего народа, понесшего тяжелые потери, ни один из этих вопросов не является риторическим; они должны быть поставлены оба, раз уж за красным от крови приливом на Батаане в 1942 году мы угадываем преступную халатность и глупость тех людей, которые вовлекли нас в войну, а затем, бросив самих

* © 1983 by Nick Joaquin

рисхлебывать эту кашу, ринулись на помощь своим британским кузенам; а за национальной трагедией 1945 года — никакого другого оправдания, кроме задачи восстановить престиж.

Поскольку все это обрушилось на наши головы, мы имеем право выдвигать обвинения; заниматься этим спустя столько лет не есть пустое занятие: нам необходимо постоянно напоминать, что мы больше не должны позволять использовать себя столь бездумно.

Крайняя точка зрения на «кампанию Освобождения» такова: хотя в общей картине военных действий нужды в ней не было никакой, она была предпринята лишь ради того, чтобы Макартур мог вернуться и обрести свое лицо там, где он его потерял. Если это так, то сие генеральское лицо оказалось самым дорогим в истории — он спас его ценой почти полного уничтожения нашего народа, и расхожая шутка 1945 года, прозвучавшая на руинах, гласила: возможно, мы и переживем еще одну войну, но уж никак не еще одно Освобождение.

Собственно, и по сей час неясно, пережили мы Освобождение или нет, не погубят ли нас в конце концов его отдаленные последствия, все еще отравляющие нашу кровь. Говоря о последствиях войны, мы фактически говорим о последствиях Освобождения. Война сама по себе могла бы оказаться чем-то вроде страшного кошмара, если бы мы пробудились от него в мире, более или менее уцелевшем; но весь ужас в том, что к нашему вою присоединился вой гибнущего мира, и это нанесло неизлечимую травму. Мы уже не могли вернуться в мир устроенности и приличий, в мир логики и закона.

Освобождение настроило нас против старого порядка и буквально вооружило против него. Американцы, с удовольствием сообщаящие своим более мирным соотечественникам, что объявления в наших ночных клубах предлагают сдавать огнестрельное оружие швейцарам, смеялись бы не так весело, если бы им сказали, что именно они несут ответственность за пальбу на Филиппинах. Незарегистрированное оружие превратилось в проблему как раз потому, что в сорок пятом освободители наводнили им страну, видимо в надежде, что каждый филиппинец убьет хотя бы одного японца и тем облегчит войну для

американских джи-ай. Помимо этого свободно ходившего оружия были запасы, предназначавшиеся для вторжения в Японию. Когда японцы сдались без сопротивления, практичный здравый смысл янки нашел способы направить значительную часть этих запасов на выгодные местные рынки. Этот же их здравый смысл до сих пор находит ходы на местный рынок оружия, если верить идущим в Мороландии¹ разговорам о том, что самый богатый сегодня источник оружия — остров Мактан, где находятся американские склады. За разгулом насилия на Филиппинах стоит ненасытная жадность янки.

Повторяю вопрос: можно ли с уверенностью сказать, что мы уцелели после Освобождения? Мы без конца молились, чтобы *они* вернулись, но, может статься, было бы лучше, если бы они не возвращались или по меньшей мере возвратились не так. За восемь месяцев Освобождения мы понесли больше потерь — и не только материальных, — чем за все три года японской оккупации. Стоило ли того Освобождение, не слишком ли дорого оно нам обошлось?

Самое печальное здесь то, что сами американцы пребывали в сомнении: надо ли снова вторгаться на Филиппины? И колебались они как раз потому, что чувствовали: островам и так уже досталось, не стоит снова превращать их в поле битвы, тем более что особой нужды в этом не было. Макартур фанатично настаивал на своем «Я вернусь», но командиры более высокого ранга — генерал Джордж Маршалл, начальник штаба, и адмирал Эрнст Кинг, начальник морских операций, — решительно выступали против еще одного сражения на островах, которое неизбежно стало бы более жестоким, чем, скажем, бомбардировка Лондона ракетами «Фау-2».

«Вы хотите превратить Манилу в Лондон?» — спросил адмирал Кинг работника штаба Макартура, контр-адмирала Роберта Карни. «Нет, сэр, — ответил Карни. — Я хочу превратить Лусон в Англию».

По грандиозному замыслу людей Макартура, как Англия была использована в качестве плацдарма для вторжения в Европу, так и Лусон мог быть использован для вторжения в Японию. Но поскольку эта идея была выдвинута, когда юго-запад Тихого океана потерял всякое значение для наступления на Япон-

¹ Мороландия — южные мусульманские районы Филиппин.

острова, а Нимиц успешно доказывал, что он справится с этой задачей без всякой помощи от Макарура, двигаясь из центральной части Тихого океана, то нельзя отделаться от подозрения, что весь этот помпезный план преследовал весьма сомнительную цель: спасти лицо Макарура. Беда еще в том, что это лицо можно было умножить на двести миллионов американских лиц, и тогда личный мотив превращался в национальный — восстановление американского престижа — и непреложный, особенно если его камуфлировали сентиментальной заботой о филиппинском народе.

Обе наши катастрофы — в начале войны и в конце ее — имели одну и ту же причину, хотя подавали ее по-разному. Во время тяжкого испытания на Батане главный аргумент сводился к тому, что такими чувствами, как любовь американцев к филиппинскому народу, надо пренебречь ради высшей цели — победы над фашизмом, поскольку достижение ее требует непременно оставить Филиппины, а Америке следует сосредоточить основные усилия на Англии и Европе. Во время же «муки Освобождения» главный аргумент сводился к тому, что именно теплые чувства требуют обращения американцев на Филиппины, пусть даже оно и не столь существенно для победы над фашизмом. Итак, первый раз нас отдали на растерзание, поскольку какие-то другие соображения были для американцев важнее американской любви к нам, а во второй раз — поскольку ничто не могло быть важнее американской любви к нам.

Как бы то ни было, накануне высадки на Лейте две американские группировки — центрально-тихоокеанская под командованием адмирала Нимица и южно-тихоокеанская под командованием Макарура — все еще препирались по поводу того, чем должен был стать остров Лейте: первым шагом к вторжению на Лусон или, скажем, трамплином для прыжка на Формозу. Точнее говоря, спор шел не между Нимицом и Макаруром, а между Макаруром и теми офицерами Объединенного комитета начальников штабов, которые (особенно адмирал Кинг) считали, что захват Лусона не оправдан никакой необходимостью и может даже задержать наступление на Японские острова.

С этой точки зрения Лейте выглядел всего лишь

малосущественным звеном в цепи островов, лягушачьи прыжки по которым представлялись столь важными для приближения союзных сил к Японии. И подобно тому как японские укрепления между теми островами, которые служили трамплинами для дальнейших прыжков, сами собой «увядали на лозе», точно так же и прыжок с Лейте на Формозу оставил бы японцев на Лусоне отрезанными, и они бы «отпали».

Не было единодушия даже относительно тактики захвата Филиппин. Макартур, конечно же, стоял за нанесение удара с юга, где он командовал войсками: за наступление на Минданао через Новую Гвинею; да и в 1943 году Объединенный комитет начальников штабов тоже выступал за проведение операций в районе действий Макартура. Но позднее эта точка зрения изменилась в связи с усилением флота Нимица и получением бомбардировщиков Б-29. В 1944 году центрально-тихоокеанский театр вырисовывался как более важный. Существенное ослабление японских военно-морских сил в этом районе давало возможность обойти Юго-Восточную Азию и даже Китай: надо было только захватить Марианские острова, чтобы обеспечить базу для Б-29, откуда они могли наносить удары непосредственно по Японии.

С переносом центра тяжести в центральную часть Тихого океана Объединенный комитет начальников штабов, естественно, предпочел центрально-тихоокеанское направление на Филиппины, поскольку так можно было нанести более чувствительный удар по уязвимому восточному флангу японцев. Действия Макартура на Новой Гвинее никоим образом не затруднили бы свободное передвижение японского флота и не поставили бы под угрозу их океанские базы, кроме того, на них ушло бы куда больше денег, людей, самолетов, времени, кораблей. Центрально-тихоокеанское направление было короче и прямее, тут меньше пришлось бы сражаться в джунглях и болотах. Макартура это никак не устраивало: получалось, что не ему, а Нимицу будет принадлежать честь «вернуться» на Филиппины.

Явно с целью ублажить Макартура Объединенный комитет начальников штабов 12 марта 1944 года издал новые директивы относительно действий на Тихом океане. Поскольку союзных сил достаточно для

осуществления двойного удара, переброски войск с юго-запада в центральную часть Тихого океана не будет, наступление на Филиппины пойдет по обоим направлениям; Макартуру же надлежит продолжить исполнение своего замысла.

«Объединенный комитет начальников штабов считал, что использование обоих направлений помешает японцам определить, когда и где будет нанесен следующий удар» (Роберт Росс Смит, «Война на Тихом океане»).

Отсюда можно сделать вывод, что Макартуру позволили продолжать свои операции главным образом с целью ввести японцев в заблуждение относительно того, что роль главного театра военных действий отводилась центральной части Тихого океана, откуда — с Марианских островов — Б-29 должны были наносить удары по Японии.

«Безусловно, начальники штабов считали операции в центральной части Тихого океана столь важными, что готовы были отложить бросок Макартура на Кавенг и острова Адмиралтейства на период после 1 апреля 1944 года, чтобы ускорить наступление адмирала Нимица на Маршалловы острова. Практически это означало и отсрочку операций на побережье Новой Гвинеи в юго-западной части Тихого океана».

Другими словами, навязчивой идее Макартура — вторжению на Филиппины — придавалось чрезвычайно малое значение в общей картине действий, оно рассматривалось не более как отвлекающий маневр, блеф, камуфляж; к 1945 году вся его филиппинская кампания, все «Освобождение» имело разве что пропагандистское значение: американцы, мол, сдержали слово и вернулись на Филиппины. И точно так же, как кровавую бойню на Батаане допустили, чтобы возбудить ненависть и желание сражаться в остальном мире, так и опустошение Филиппин в 1945 году было допущено ради восстановления престижа белого человека в Азии, а заодно и более практической ближайшей цели: сбить с толку противника и заставить его разделить свои силы. Агонии 1942 и 1945 годов служили исключительно пропагандистскому эффекту да отвлечению внимания.

Отдавая должное американцам, следует сказать, что немало их военных руководителей противились столь бессмысленному использованию Филиппин в хо-

де военных действий; но Макартур, который дирижировал опустошением нашей страны в 1942 году, жаждал командовать народом и при втором опустошении архипелага. Когда генерал Маршалл предложил обойти Филиппины, Макартур пришел в ярость.

«Тем самым,— заявил он,— мы вызовем тяжелейшую психологическую реакцию. Мы подтвердим пропагандистские заявления Японии, говорившей, что мы бросили Филиппины на произвол судьбы и не намерены проливать американскую кровь ради их свободы. Боюсь, в результате наш престиж среди народов Дальнего Востока падет так низко, что это на многие годы подорвет здесь позиции Соединенных Штатов».

Маршалл сухо заметил, что Макартуру следовало бы «быть осторожнее и не допускать, чтобы личные чувства и политика по отношению к Филиппинам» затмевали великую цель — покончить с войной; он также заметил, что «обойти» не значит «бросить на произвол судьбы».

Даже когда Лейте уже более или менее постоянно фигурировал во всех планах, судьба остальной части территории Филиппин оставалась под большим вопросом — настолько сильно было противодействие вторжению на Лусон. 26 июля 1944 года Макартура вызвали в Пёрл-Харбор на совещание с адмиралом Нимицем. К своему удивлению он обнаружил, что на совещание, помимо адмирала Нимица, прибыли президент Рузвельт и адмирал Хэлси. Рузвельт ткнул пальцем в карту, в остров Лейте: «Ну, Дуглас, а отсюда куда?» Макартур начал вываливать свои аргументы в пользу кампании по освобождению Филиппин. Нимиц не давал вовлечь себя в спор. На второй день совещания «общая тенденция повернула в пользу Макартура: сочли, что ему следует обозначиться на Центральных Филиппинах».

Тенденция эта обязана своим появлением факторам более сильным, чем ораторское искусство Макартура. У Нимица просто-напросто не было войск, которые он мог бы использовать для прыжка от Лейте к Формозе (Формоза входила в его зону действий), между тем как Макартур уверял всех, что Лусон он возьмет теми же силами, что и Лейте. Помимо этого, австралийцам не нравилось, что их район обойдут, предпочтя ему центральную часть Тихого океана. В результате, поскольку Макартура некуда было

больше пристроить, ему решили позволить «освободить» Филиппины. Хотя об этом решении объявили значительно позже, наша судьба была решена во время польского совещания в Пёрл-Харборе — там же, где нас вовлекли в войну.

В книгах по военной истории, описывающих битвы Освобождения, все происходит словно в вакууме — там страдают только участники боевых действий. К счастью, среди тех из них, кто уцелел, были люди, переживавшие пережитое. Одно из самых живых описаний такого рода — заметки (их хватит на целую книгу), сделанные неким жителем Багио. Его воспоминания о тяготах войны, особенно о двух с половиной месяцах, которые он с семьей провел в убежище, когда американцы сравнивали «город косен» с землей, ранее не публиковались.

Автор — назовем его Франсиско Х. — горный инженер по профессии, в декабре 1944 года вместе с семьей укрывался в доме монсиньора Билье, епископа Багио. За гостеприимство мистер Х. уплатил с ризхой — он построил убежище возле кафедрального собора: большое укрытие в форме креста со стенами из сосновых бревен, со скамьями и флюоресцентными лампами. В этой землянке самые разные люди — священники и миряне, филиппинцы, испанцы, китайцы, бельгийцы, итальянцы и скандинавы — на себе испытали, какой ужас переживает человек, когда вокруг рушится город.

«Через много месяцев после возвращения американцев в Багио, — говорит мистер Х., — люди все еще спрашивали: „Зачем уничтожили Багио? Почему американская авиация разрушила Багио? Разве в Багио было много японцев?“ Разрушение некогда прекрасного города всех повергло в ужас».

Уничтожение началось, как дар Трех Волхвов от американцев жителям гор, потому что в первый раз американские самолеты совершили налет на Багио в день Богоявления, 6 января 1945 года.

Убиение логики

Первый налет привел обитателей убежища в восхищение. Было около десяти утра, день Трех Волхвов, когда семья господина Х. услышала в небе шум моторов.

«Мы увидели двенадцать самолетов — они шли, выстроившись стрелой, с юга на север, на средней высоте. Шли строго заданным курсом. Но вдруг последний отвалил в сторону. Он отклонился к востоку, сделал широкий полукруг и начал пикировать. Завывая, как тысяча дьяволов, он стремительно несся на город. И когда мы решили, что он неминуемо врежется в деревья и дома, он вдруг выровнялся. Одновременно послышалась пулеметная стрельба. Горя от возбуждения, напуганные стрельбой, мы бросились вниз и помчались в убежище, как суслики в норку, — и миряне, и священники. А потом вдруг раздался смех, начались разговоры. Кто-то сказал: „Ну, теперь уж недолго“ — и все опять засмеялись».

Второй налет тоже не очень напугал ждавших освобождения людей. Казалось, в бомбардировке была и своя логика, и забота о гражданском населении. От партизан пришло предупреждение, что второй налет будет в десять утра 8 января.

«Ровно в 9.30 в небе появились самолеты. Шли три эскадрильи по двенадцать машин в каждой. Они сделали три круга над городом, а затем принялись за свое черное дело. С дьявольским воем один за другим стали пикировать на город. Сыпались бомбы, и скоро к небесам вознеслись столбы дыма где-то в районе Тринидад — там были склады снабжения и награбленного оборудования фирмы „Мицуи“, этого концерна-хищника. По черным клубам дыма мы поняли, что главная цель самолетов — склады горючего и смазочных материалов.

Тут нам впервые по-настоящему пришлось воспользоваться убежищем, и к этому отнеслись даже с воодушевлением. Флюоресцирующий свет создавал приятную атмосферу в мрачном туннеле. Когда со стороны Тринидад донеслись первые глухие взрывы, отец Франсис предложил читать литанию Всех Святых. В убежище монсиньора она стала ежедневным молебствием, но при последующих налетах американской авиации к ней добавили „Аве Мария“ и „Патерностер“.

Почти два с половиной месяца после первой бомбардировки Тринидад мы практически не выходили из убежища. После того памятного дня число людей в усадьбе епископа увеличилось раз в десять. Убежище было рассчитано на тех, кто жил в доме, но

уже через несколько дней в него набилось человек сто — как сардины в банке. Для семидесяти там место еще кое-как нашлось. Но приходили все новые и новые люди, оставшиеся без крова, моля пустить их в укрытие, и пришлось воззвать к силе и милосердию молодых семинаристов, чтобы они вырыли еще одну траншею для новых беженцев».

После первых бомбардировок Тринидад разнесся слух, что американцы прорвались на шоссе Кеннона и скоро захватят Багио.

«Однако прошла целая неделя, и ничего не изменилось. Только патрульные самолеты прилетали каждый день и кружили над городом — два часа утром и столько же после обеда. Мы все гадали, что же предпримут японцы, поскольку они не давали никакого отпора. Иногда самолеты летали очень низко, но ни одна зенитка не открыла огонь. Доморощенные стратеги потом утверждали, что если бы американцы сразу после первой бомбежки перешли в наступление, для взятия города им хватило бы менее пяти дней. Японцы были в Багио не так уж долго, чтобы успеть укрепиться. Оборонительных сооружений у них почти не было, кроме неглубоких окопов и стрелковых ячеек на перекрестках важных дорог. Даже партизаны — а их было полно в городе — могли бы малыми силами парализовать противника в городе. Однако наступление на Багио все затягивалось, и кемпейтай¹ за это время частично выловила, а частично распугала партизан. Какие-то личности, выдававшие себя за партизанских связных, распространяли всякого рода слухи, которые поначалу приводили людей в восторг; но по мере того, как дни складывались в недели, а недели в месяцы, люди просто переставали верить во что бы то ни было. Более того, поскольку американские самолеты все методичнее бомбили жилые районы, мы начали задумываться, не ведут ли эти связные двойную игру».

Японцы сосредоточивались на окраинах: в Лукбане, в Кэмп Джон Хэй, учительском городке, в военных лагерях и в районе правительственных резиденций. Но когда американцы (а ведь их наверняка наводила разведка) начали бомбить Багио, они не трогали окраины, где сидели японцы, а засыпали

¹ Кемпейтай — японская контрразведка.

бомбами центр города, где скопилось гражданское население.

«И поэтому мы были в ужасе, когда целая эскадрилья американских бомбардировщиков сбросила смертоносный груз на район между рынком и ратушей. Там погибли несколько человек — все сплошь филиппинцы. Перед ратушей было сложено несколько сот мешков с рисом — все это сгорело. Вообще-то нам было все равно — рис получали только японцы да коллаборационисты. Но сгорели и все регистрационные документы: записи рождений, смертей, браков, недвижимости и т. д., а восстановить их невозможно. Вот это потом обернулось большими неудобствами, когда требовалось документально подтвердить, кто есть кто, кому что принадлежит, кто чего лишился».

Бездомные ютились в кафедральном соборе, в колледже св. Людовика, монастыре Святого семейства и приходских церквях — тысячи людей на пространстве в несколько акров. Хуже всего то, что авиация разбомбила водопровод и линии электропередач: город был погружен во тьму, а из-за недостатка воды и отсутствия канализации возникла угроза эпидемий. И если беженцы не дрожали от страха под бомбами, то их тошнило от вони, они страдали от полчищ мух и жажды, которая многих заставляла пить из сточных канав.

Несчастливые люди набивались в церкви, монастыри, больницы, полагая, что их-то уж американцы бомбить не будут. А чтобы обезопасить себя наверняка, крыши больниц метили огромными красными крестами. Отдавая должное японцам, следует сказать, что они в этих местах не укрывались».

Но когда выяснилось, что американцы не столь благородны, мир, казалось, сошел с ума — из него исчезла всякая логика.

Монастырь Святого семейства превратили в эвакуопункт — монахини занимали только один угол здания. Как-то утром одна монахиня проснулась от странного предчувствия. Молясь в часовне, она слышала гул моторов. Однако ничто, кроме приказаний матери-настоятельницы, не могло заставить ее прервать молитвы. А в то утро она словно зачарованная вышла наружу, чтобы взглянуть на самолеты. Они летели, сверкая на солнце, но в них не было никакой

красоты. Она вся похолодела от страха и поделилась своими опасениями с другой монахиней.

В два часа того же дня в церкви шла служба. Служил преподобный отец Карлу. Позади него стояли монахи монастыря Святого семейства. Кругом — беденцы. Послышался рев самолетов. И тут же ужасный взрыв потряс церковь до основания. Земля вырвалась так, что людей сбросило с церковных скамей. И настал ад кромешный. Вопли и крики наполнили церковь. Три монахини лежали на полу, их белые одеяния окрасились кровью. Одна из них, совсем молодая, была без головы. Другая тоже убита — на груди у нее зияла огромная сквозная рана. Третья, еще живая, ужасно мучилась — ноги ей как топором отрубило. В луже крови лежала мать, прижимая к себе младенца. Их убило одним осколком. Стонал молодой испанец — ему размозжило правую ногу. Он умер от шока через несколько минут. И множество раненых, которые взывали о помощи».

Если самолеты не бросали бомбы, то на бреющем полете без разбора поливали город пулеметными очередями. Временами нельзя было отделаться от впечатления, что все это лишь забава для пилотов, садистская забава. К примеру, пилот двухфюзеляжного П-38 имел обыкновение, разминаясь перед убийствами, совершать фигуры высшего пилотажа, словно мальчишка-задавака.

«У него был любимый трюк, который вызывал немалый страх, смешанный с удивлением. Летчик бесшумно подкрадывался к городу с выключенными моторами, а потом вдруг включал их на форсаже уже над самыми деревьями. Люди, давя друг друга, бросались врассыпную, как испуганные кролики.

Пилотам, надо думать, было очень весело. И это те самые американцы, о чьем приходе мы молились? Честное слово, теперь американцев боялись больше, чем японцев — эти при отступлении из Багио выглядели уже не страшными, а жалкими и комичными со своими тачками, груженными какими-то узлами, столь же грязными, как и они сами.

«Иногда на улице появлялась телега, запряженная лошадью, — зрелище для этих мест необычное и потому смешное: тощая кляча вызывала куда больше жалости, чем десять-двенадцать ялошек, которые

толкали или тянули телегу, чтобы помочь полудохо-лой коняге. Как-то раз лошаденка рухнула, загремела костями, и тут же испустила дух, но два солдата тотчас заняли ее место между оглоблями. Ни дать ни взять, рикши! Мы радовались, что японцы оставляют город, но помнили и присловье о крысах, бегущих с тонущего корабля. Мы понимали, что городу грозит самая страшная беда».

Потому что стало ясно: в налетах американцев нет никакой логики, им нет нужды щадить безвинных, они вовсе не основывались на сколько-нибудь надежных разведданных, и ждать передышки в связи с отходом японцев — это все равно, что ждать восхода солнца на западе.

Оправдались наихудшие опасения. Уцелевшие кварталы Багио сравнивали с землей — хорошо видимые красные кресты на шпилях или крышах несколько не помогли. Мы столько говорили о том, что японцы воюют бесчеловечно, не щадят ни церквей, ни больниц. А тут американцы, судя по всему, решили не рисковать ни одним джи-ай, пока не превратят Багио в абсолютно безопасное для высадки место, хотя это и означало принести в жертву всех филиппинцев, которые имели несчастье оказаться в то время в городе.

Следующей целью стал кафедральный собор. Выбравшись из убежища после бомбежки, мистер Х. чуть не задохнулся от потрясения.

«Монсеньор, разрушен странноприимный дом святого Патрика!» — крикнул он епископу.

«Дом святого Патрика! Не может быть! Это же всего в ста метрах отсюда».

Мистеру Х. пришлось тут же нырнуть в убежище — наплывала очередная волна бомбардировщиков со смертоносным грузом. Когда он следующий раз высунулся посмотреть, кругом полыхало пламя и стлался черный дым.

«Дом епископа горел и извергал клубы дыма. Горел и странноприимный дом святого Патрика. Оттуда выбегали люди — они спотыкались, падали, ползли, в отчаянии воздевая руки к небу. Раненые, казалось, от страха не чувствовали боли».

Сказанное там, в Багио, неплохо дополняет то, что говорилось на Батаане.

«Разрушен собор святого Людовика. Много уби-

нах». — тяжело дыша, сообщила женщина, прижимавшая к себе ребенка.

«Святого Людовика! Боже, помоги нам!»

«И больница Нотр-Дам. Видите дым?»

«Теперь понятно, — с злостью и сарказмом сказал врач, — какие у американцев отличные прицелы для бомбометания!»

«Лучшей цели, чем красные кресты на крышах больниц, им не найти!» — добавил кто-то.

«Да ладно вам. Уильям Уинтер каждый день обещает по радио из Сан-Франциско, что американцы заплатят за все разрушения — до последнего сентаво».

«За все разmozженные конечности, за разнесенные в ключья внутренности?»

Монахиня-сиделка из больницы: «Собор святого Людовика разрушен полностью. В гроте погибли пять сестер. А больные в палатах — они тоже, наверное, все погибли! Кто мог подумать, что такое мыслимо, что они будут бомбить больницы, отмеченные красными крестами!»

В другой разбомбленной больнице, Нотр-Дам, были убиты двенадцать больных и три престарелых американца из числа интернированных. Больше всего жертв оказалось в районе между ратушей и странно-примным домом святого Патрика — там после налета осталось десять огромных воронок. Бомбоубежище отцов-иезуитов выдержало, несмотря на три прямых попадания. Обследуя его, мистер Х. нашел там уцелевшего священника. «Рядом с ним находился один из богатейших людей Филиппин со своей семьей».

Но другой богатый человек, дон Хоакин Лопес, не укрылся в убежище иезуитов. «Он неколебимо верил в знак красного креста на крыше здания». Когда сыновья отыскали его в горящем здании, он еще был жив, хотя его насквозь прошило осколком. «Услышав голоса зовущих его сыновей, он поднял голову и слабым взмахом руки велел им уходить — в то же мгновение на него рухнул потолок».

На следующее утро все, кто укрывался в убежище епископа, причастились, а сам монсиньор проглотил последнюю облатку и допил святое вино. Ожидаемое свершилось: остатки собора и соседних построек в тот день стали главной мишенью. Когда

прошла первая волна бомбардировщиков, епископ дал своим товарищам по несчастью последнее отпущение грехов. И тут же в небе раздался рев самолетов следующей волны, еще более смертоносной.

«Одна за другой оглушительно рвались бомбы, от мощных взрывов земля содрогалась под нами и над головой. Каждый взрыв — как удар всеокрушающей карающей руки. Бревна перекрытий стонали».

Третью волну бомбардировщиков встретили уже по-другому.

«В людях не осталось страха. Многие рыдали от полного изнеможения. Какая-то женщина простерлась у ног монсиньора, целуя полу его сутаны. Когда улеглась пыль и рассеялся дым, убежище показалось мне светлее обычного, и, оглядевшись, я понял почему. Насыпь у входа разнесло бомбами. Там все было завалено обломками, и нам пришлось карабкаться по ним, чтобы выбраться наружу. Одна воронка находилась всего в десяти шагах от входа».

Убежище чудом выстояло, но дом монсиньора представлял собой ревуший ад. В пламени погибли запасы продовольствия, деньги и все документы мастера Х.

На следующее утро он присоединился к колонне беженцев, выбиравшихся из Багио.

Логика убиения

Подобно сражению на Батаане, «кампанию Освобождения» будут обсуждать еще долгие годы, однако, куда бы ни повернул спор, ей суждено быть развенчанной даже как военной операции, и в конце концов все увидят, чем она была на самом деле: незначительным столкновением на второстепенном направлении, крайне важным для фанатичного генерала, но несущественным (как и предвидел Маршалл) для достижения главной цели — окончить войну. Наступление Макартура ни к чему не привело; оно замышлялось только для Филиппин и ими кончилось. Оно было не шагом вперед в большой стратегии, а только личной войной генерала. Скорее, его войска «увяли на лозе», настоящая же война шла в другом месте.

Филиппины оказались тупиком. Стало ясно, что брать их было незачем, что аргументы, выдвигавшиеся вначале, неубедительны. Их нельзя было использовать в качестве трамплина для прыжка на Формозу, в Китай или на внешние острова Японского архипелага. Силы, сконцентрированные в центральной части Тихого океана, шли к «воротам Японии» — островам Окинава и Иводзима, и на скорость их продвижения взятие Филиппин повлиять никак не могло. Нимиц доказал, что обойти можно даже Формозу, хотя она считалась важным звеном в стратегии прыжков с острова на остров. Самое последнее оправдание наступления на Филиппины — что их можно сделать районом концентрации сил для вторжения в Японию — разнесся в прах атомная бомба. «Базу М» (весь район от провинции Тарлак до провинции Илокос) еще накачивали боевым снаряжением, когда япошки взмолились о пощаде. Рельефные макеты Японии, сооруженные из песка на наших пляжах, стали местом детских игр.

Даже соображения сентиментального порядка оказались не более осмысленными. Историчное предупреждение Макартура, что без освобождения Филиппин белый человек потеряет престиж в Азии, а это надолго подорвет и позиции Соединенных Штатов, давно уже звучит насмешкой для нас, знающих, что последовало за спасением его лица: революция против белого человека в Китае, революция против белого человека в Индонезии, революция против белого человека во Вьетнаме. Нечего сказать, многое сделало наше Освобождение для укрепления американского престижа в Азии! Но нас надо было освободить, даже ценой нашей смерти. А убив нас своим великодушием, Макартур сразу же отправился восстанавливать Японию, оставив нас на пепелище.

Впрочем, и здесь, на Филиппинах, восстановление престижа не привело к восстановлению прежней привязанности, несмотря на судорожную истерию при виде первых джи-ай. Фатальным для нас было то, что освободители отделили хуков¹ от других отрядов Освобождения; фатальным для них — их обращение с «коллорабационистами». Глубокая ирония состоит

¹ Хуки — бойцы антияпонской армии Хукбалахап, созданной и руководимой Коммунистической партией Филиппин.

в том, что «кампания Освобождения», объясняемая любовью к нам, породила националистическое движение, боевой клич которого: «Янки, убирайтесь домой!» — звучит сегодня перед американским посольством. Враждебность проявилась уже в дни Освобождения. Джи-ай, все дела которых сводились к тому, чтобы глазеть на непристойные пляски да валить девочек, находили выход своей бьющей через край энергии в кровавых стычках с теми, кого они называли «флипами». Началась эра падения нравов и стрельбы по каждому поводу — еще одно последствие великодушного освобождения нас Макартуром.

И самое худшее: Освобождение принесло разорение, отдавшее нас на милость американцам, а милость эта не отличалась нежностью.

Все наши крупные города лежали в руинах. Экономика была парализована. Население подверглось тяжким испытаниям, стало жертвой всех бед и недугов, которые расцветают в стране, оккупированной чужими войсками. Мы были беспомощны, и этим воспользовались освободители.

Поставленным на колени, что нам оставалось делать? Пришлось дать им равные права¹, которых они домогались, дать филиппинскую землю, которая понадобилась под их базы — они были нужны, чтобы и дальше защищать нас. С такими освободителями нет нужды в тюремщиках. Может, и впрямь существовал дьявольский замысел, может, действительно мистер Рузвельт приказал Макатуру отправиться на Филиппины и сотворить там как можно больше зла, чтобы после войны легче было управляться с этими «флипами»? Цена, уплаченная нами за освобождение, — это не только непосредственное опустошение; весь ужас в том, что мы платим и по сей день.

Поскольку доводы в пользу Освобождения — такие, как восстановление американского престижа, — оказались, скажем так, очень неубедительными, то, может быть, 1945 год все еще длится, это наше «сегодняшнее», и мы все еще живем в сорок пятом, раз мы агонизировали и истекали кровью, как выяснилось, без всякой пользы?

¹ После войны была принята поправка к конституции Филиппин, дававшая американцам равные с филиппинцами права в некоторых сферах предпринимательства.

Только в мае мистер Х. с семьей вернулись в Багио.

«Когда попадаешь в Багио по шоссе Нагилиан, то прежде всего видишь кладбище. Весьма символично для мертвого города. Руины зубцами вонзились в почернее небо, обещающее грозу. Вот брызнул первый майский дождик, прибил пыль и пепел, погасил еще тлевшие иссеченные стволы деревьев. Скоро мертвый город затянуло зеленой пеленой, и она скрыла его ужасные раны, смягчила страшную маску смерти».

Пужно ли было это разрушение?

Партизаны клянутся: они сообщали американцам, что днем в Багио японцев не бывает, и тем не менее все налеты авиации происходили днем. Один филиппинский полковник как бы оправдывает разрушение, утверждая, что на горе Мирадор были обнаружены японские укрепления. Но ведь гора Мирадор вовсе не в центре города, а между тем именно на центр бомбардировщики обрушивали свою ярость: они бомбили больницы, церкви, эвакуационные пункты, скопления гражданских лиц, которые вопили небесам, что все японцы, которые только есть в Багио, отсиживаются на окраинах. Говорят, самолеты летали так низко, что можно было рассмотреть пилотов. Значит, пилоты тоже могли видеть, что они поливают пулями не японских солдат? Трудно отнести все это за счет неизбежных случайностей войны; ведь именно американцы должны были вести войну по правилам, принятым среди цивилизованных народов.

Однако не эти проблемы волновали мистера Х. и его семью, когда они разыскали свой дом.

«Оттуда, где мы стояли, дом просматривался насквозь. Ни стен, ни потолка, только каркас на столбах. Из мебели ничего не уцелело — лишь несколько поломанных кресел вокруг камина, где совсем не к месту горел огонь».

На сломанных креслах сидели молодые американские солдаты. Один из них поднялся и подошел к семейству мистера Х. — все они, окаменев, стояли там, где когда-то была дверь.

«Ищете кого-нибудь?» — спросил джи-ай. «Нет. Вернулись домой», — сказал мистер Х. «Домой?» — удивился джи-ай. «Да, — сказал мистер Х. — Вот это наш дом».

ТРИНАДЦАТЬ ЧАСОВ НОЧИ *

Sine die означает «без дня»; этот латинизм употребляют для ссылки на всякие незапланированные неожиданности. Но в мире политики он стал обозначать часы после полуночи, приплюсовываемые к последнему дню парламентской сессии, — часы, которые, не относясь к предыдущему дню, не принадлежат и к последующему тоже и, следовательно, существуют как бы вне суток. Смысл уловки в том, что минута перед полуночью все длится и длится, а последний час не истекает, пока ассамблея не решит, что он кончился. В противном случае заседание выйдет за рамки времени, отведенного законом, и, следовательно, должно быть прервано как незаконное. Поэтому все делают вид, что двенадцать еще не пробило.

Такая остановленная ночь для политиков уже стала ритуалом. В эпоху автономии во время сессии *sine die* стрелки обычно отводили примерно на час назад перед тем, как пробьет полночь, и этого дополнительного часа бывало достаточно, чтобы завершить неотложные дела.

В наши дни, дни электрических часов, конгресс Республики поступает проще: их выключают за несколько минут до полуночи, и неподвижные стрелки все время показывают мистическое время между вчера и сегодня — призрачные 13 часов ночи, — пока законодатели не завершат, обычно на рассвете, свои труды. Сессии *sine die* с годами затягивались все дольше и дольше, и это легкое жульничество обросло очаровательным обычаем: жены законодателей присутствуют на таких сессиях, чтобы бодрствовать вместе с мужьями, а ранним утром их приглашают на веселый завтрак, обычно даваемый спикером палаты.

Ритуал остановки часов имеет свои правила. Какой-нибудь законодатель поднимается и сообщает председательствующему, что по его, законодателя, часам уже пять минут после полуночи, то есть пришло время, установленное конституцией для объявления перерыва в сессии. Председательствующий бросает взгляд на часы в зале заседаний — уже остановленные — и объявляет, что по этим часам всего лишь, скажем, без пяти двенадцать, а время, показываемое этими официальными часами палаты, должно призна-

* © 1981 by Nick Joaquin

ваться официальным временем всеми депутатами. Таким образом, сессия продолжается, потому что стрелки часов никак не могут дойти до полуночи.

Но в четверг на прошлой неделе, во время обычной сессии *sine die* конгресса пятого созыва, допустимость этого всеми признаваемого обмана была бесцеремонно поставлена под вопрос. В ту ночь все часы в здании конгресса были остановлены в четверть двенадцатого и стояли до рассвета. Одно вопиющее исключение: напольные часы на возвышении для председателя необъяснимым образом снова пошли в два часа ночи и в 2.45 показали полночь. После чего председатель сената закрыл сессию.

Сенаторы от партии националистов тем не менее оспорили правильность действий председателя сената. Не было никаких оснований, утверждали они, закрывать заседание только потому, что часы в зале показали пять минут пополуночи, поскольку все знали, что часы сената показывали неверное время — ведь они были остановлены в четверть двенадцатого. С какой стати вдруг верить им, если всем известно, что они врут вот уже три часа? Надо было до конца работы продолжать делать вид, что все в порядке, как и в предыдущие три часа, надо было и дальше притворяться, что полночь еще не пробила и 24 мая не наступило.

Почтенные члены оппозиции в тот неурочный час и думать не думали, что они поднимают вечный вопрос, который терзает философов с тех самых пор, как зародилась мысль: вопрос о природе истины. Циники утверждают, что такой вещи, как истина, вообще не существует, а то, что мы называем истиной, есть условность, с которой все согласились, она есть молчаливая договоренность. Классическая иллюстрация цинизма такого рода — сказка о новом платье короля, когда весь город молча соглашается верить, будто на короле богатейшее одеяние, пока мальчишка не закричал, что король-то голый.

Поздно вечером в четверг — или, скорее, рано утром в пятницу — сенаторы от оппозиции оказались в положении невоспитанного мальчишки из детской сказки. Националисты громогласно заявили, что на самом деле сейчас даже не пять минут после полуночи, а почти три часа утра, и раз уж председатель сената сумел притворяться в течение трех часов, что

полночь еще не наступила, то надо и дальше притворяться еще три часа, или целый день, если понадобится, или даже — это слова сенатора Пуята — целую неделю.

Председатель взывал к конституции, но ведь все члены сената, не исключая и председателя, издевались над конституцией, поскольку часы были остановлены в четверть двенадцатого: не слишком ли поздно пробудилась забота о положениях конституции в председателе сената?

Но выдумка сработала: сессию отложили, потому что часы показывали пять минут после полуночи. Не исключено, однако (хотя с надеждами здесь надо быть поосторожнее), что мятеж сенаторов от партии националистов в последнюю минуту все же нанес тяжелый удар по мифу о *sine die*. Его «истинность» (пока еще не законность) была поставлена под сомнение; и то, что случилось в этом году в сенате, через год вполне может произойти в нижней палате. Возможно, все больше и больше голосов будут высмеивать эту удобную уловку с остановленными часами, поскольку уловка способна выжить лишь при условии, что все заинтересованные лица согласны держаться за нее. Однако на прошлой неделе в сенате договоренность об остановленных часах была нарушена: часы снова пошли, и пошли не по воле сената как целого, а только части его. Иными словами, уловка уже не была результатом общего согласия, консенсуса; и националисты, естественно, начали высмеивать эту выдумку, поскольку не были заинтересованы в ее поддержании.

Когда мальчик в сказке крикнул, что король голый, толпа после мучительной паузы начала перешептываться, затем хихикать и наконец завопила во весь голос, что король действительно голый.

То же самое может случиться и в конгрессе. Молчаливая договоренность нарушена; теперь трудно будет поддерживать общепринятую ложь о *sine die*. Возможно, настанет день, когда наши законодатели станут рассчитывать свою работу так тщательно, что в последний день сессии им уже не понадобится лгать, а тем более делать обманщиками безропотные и ни в чем не виноватые механизмы.

Такая возможность казалась очень отдаленной, когда в четверг состоялось — точнее не состоялось —

открытие сессии *sine die*, поскольку конгресс не испытывал никакой необходимости в такой сессии, разве что — ирония судьбы! — сыграть спектакль перед публикой. Люди, которые устремились на галереи обеих палат, были возбуждены так, словно ждали великих событий. Они устроили давку из-за лучших мест, толпились в проходах, заполнили коридоры, лестницы, выплескивались из лифтов жаждущими толпами.

Публика продемонстрировала пунктуальность, но спектакль запаздывал. Сессия должна была открыться в пять; наступили сумерки, но в зале было пусто — только возбужденные толпы зрителей все еще пробивались на галерею. Шли часы, сгущалась ночь, а люди все ждали начала зрелища. Ждать пришлось долго — сессия открылась только в десять вечера. Законодатели явно не спешили заняться делом.

Они благополучно обретались за кулисами — потягивали напитки, подкреплялись китайской лапшой в столовой. Глядя на них, можно было подумать, что предстояла самая обыкновенная сессия — разве что одеты они были по-особому. Конгрессмены, несмотря на духоту, были в темных костюмах, сенаторы выглядели более по сезону — кто в тагальской рубашке, кто в светлом пиджаке.

В нижней палате законодатели ждали доклада комитета по делу Кабангбанга. Конгрессмен Абеледа и члены его комитета собрались в гостиной рядом со столовой, чтобы согласовать текст доклада. Конгрессмен Леонардо Перес в одиночестве засел там еще днем, пытаясь набросать доклад своего подкомитета по Кабангбангу. Когда прочие члены комитета присоединились к нему в гостиной, Перес со вздохом сказал журналистам: «А хорошо бы кто-нибудь написал пьесу „Филиппинец как политик“». Заказали коньяк, но в столовой конгресса коньяк кончился что-то уж слишком рано. Официанты обещали, что на подходе новая партия коньяка. Пока же собравшиеся в гостиной удовлетворились виски.

За бокалами виски дело Кабангбанга как-то само собой выдохлось. Комиссия Абеледы явно не хотела принимать решения без дальнейших слушаний. Поговаривали об отстранении от участия в работе конгресса на два года, потом на пятнадцать месяцев. Насколько можно было судить, в тот вечер доклад

и не собирались представлять конгрессу. Возбужденная толпа на галерее для публики ждала взрыва бомбы, а ее обезвредили и положили на полку.

В верхней палате сенаторы обсуждали, как быть с президентскими назначениями. Галерка давала о себе знать — там были отнюдь не безразличные, а чрезвычайно заинтересованные наблюдатели: сами назначаемые. Следовательно, сенат хотя бы отчасти играл на публику, когда он решил поддержать назначения: националистов подвигли к этому неожиданному шагу подбадривающие крики публики; те же весьма громко выражаемые чувства зрителей помещали либералам хоть как-то воспрепятствовать немедленному утверждению назначений. Итак, была проведена массовая конфирмация, началось выкликание имен назначенных, и затянулось это далеко за полночь. После каждого имени кто-нибудь на галерее, а то и целая группа сторонников, вскочив на ноги, подолгу орали от радости.

Но в последовавших затем дебатах о спорных президентских назначениях вспыхнули искры разногласий, которые позднее, ночью, когда сессия заработала вовсю, вызвали настоящий пожар.

Имя одного из назначенных, финансового чиновника в Давао, вызвало громогласное «Возражаю!» сенатора Альмендраса. Обсуждение кандидатуры отложили, потом, когда конгрессмен Крисолопо кончил читать список назначенных, снова вернулись к ней. Сенатор Антонио произнес речь в защиту кандидата. Как только он кончил говорить, Альмендрас попросил слова. Председательствующий дал слово «еще одному джентльмену из Давао». Альмендрас взорвался: «Здесь я единственный джентльмен из Давао!» А сенатор Антонио, заявил Альмендрас, строго говоря — «джентльмен из Нуэва-Эсихи»: «Мы в Давао не признаем его нашим политическим лидером».

От этой соломинки вспыхнул огонь, который чуть не сжег Маркоса.

Огонь вспыхнул не сразу, потому что перерыв на ужин, тут же объявленный Маркосом, дал сенаторам время поостыть; хотя теперь-то ясно, что Антонио использовал перерыв не для того, чтобы остывать, а для того, чтобы медленно закипать. Что до галереи для зрителей, то там большое оживление вызвало прибытие миссис Маркос со стайкой японских манекен-

щиц — предстоял показ мод. Имельда Маркос была аристократически холодна в черно-белом одеянии: короткое белое платье с черными полосами на плечах, черный лиф, прикрытый белой блузой — как будто на ней черный шарф. Тянувшиеся за ней гуськом японские девицы разочаровали вытягивавших шею зрителей. Филиппинцы, чье понятие о красоте сформировано Голливудом и которым еще только предстоит понять эстетику интересного лица или выдающейся фигуры, решили, что среди японок нет ни одной красавицы; многие вслух удивлялись, как это сколь невзрачные девицы могут быть манекенщицами. Продемонстрировав свои модели конгрессу и отправив японок в гостиницу, миссис Маркос снова появилась в сенате и уселась среди сенаторских жен. В отведенном для них первом ряду почетное место занимала донья Луисита Родригес — она оставалась там до финала, оказавшегося весьма бурным. Миссис Маркос исчезла из зала с озабоченным видом, когда началась свалка по вопросу о реорганизации, и больше не возвращалась.

Пробило десять часов, и сессию наконец-то объявили открытой. Ничто не указывало на то, что это была важная, ответственная сессия. Тоска словно накачивалась в зал кондиционерами. Абсентеисты, как обычно, отсутствовали: во время переключки между криками «здесь!» нередко воцарялось безотрадное молчание. Если это была гонка, борьба со временем, то в заезде участвовало только время, только оно боролось — но и его скоро заставили остановиться. Галерея уже поняла, что ничего захватывающего не произойдет — фейерверк отложен. Людям, шесть часов ждавшим взрыва, пришлось удовольствоваться рутинной сессией.

Кабангбангу предназначалось быть в ту ночь звездой, но Лаурель ухитрился испортить весь спектакль.

Бывший спикер спотыкался и заикался, задыхался и кренился набок, глотал и невнятно бормотал слова — и все же, несмотря на болезнь, он был чрезвычайно активен: он то и дело вскакивал, чтобы поставить под вопрос то или иное положение законопроекта, и увенчал спектакль чем-то вроде схватки с микрофоном. Он его не удержал, микрофон с грохотом упал и разбудил некоторых коллег Лауреля.

«*Nagwawala si Laurel!*»¹ — смеялись на галерке. В конце концов ему помогли выйти из зала, а там отправили домой и уложили в постель. Без него зрелище стало еще скучнее. Временами казалось, что перерыв объявляется чуть ли не через минуту — кошмар какой-то. И действительно, когда на галерее решили, что еще один законодатель просит прервать обсуждение, публика так издевательски застонала, что тому пришлось спешно объяснить: он не просит прервать сессию, он просит перерыва только для своего комитета, чтобы дать им возможность изучить вопрос.

Кабангбанг тоже давал спектакль в ту ночь, но не на сцене, а за кулисами, в гостиной для законодателей. Без пиджака, со взъерошенными волосами, знаменитый конгрессмен дрожащим голосом объявил о своей признательности комитету Абеледы, о своем восхищении членами комитета, о своей вечной любви к ним. Нетвердо стоя на ногах, он даже провозгласил тост (к тому времени коньяк снова потек рекой) за президента Макапагала. «Не стану пить, — возразил конгрессмен Леонардо Перес, — потому что не хочу выглядеть лицемером. Я же знаю, что вы вовсе не хотите пить за Макапагала». Но Кабангбанг настаивал, не опуская бокал: «За президента — как бы его ни звали!»

В этот момент вошел спикер Вильяреаль. Кабангбанг бросился к нему, схватил его руки и низко склонился над ними. «Целую вашу руку, мистер спикер, — сказал он, — потому что я люблю вас, а люблю я вас потому, что вы любите справедливость! Я вас уважаю. Я восхищаюсь вами и готов умереть за вас!» Спикер как-то сумел высвободиться и покинул гостиную. Кто-то засунул Кабангбанга в пиджак, и его сплывили в столовую.

Веселящаяся толпа провожала Кабангбанга, а конгрессмен Агедо Агбаяни орал: «Оппозиция всегда трезва, под градусом или не под градусом — все равно!»

Да, в ту ночь после *sine die* самым популярным латинизмом был *in vino veritas*². Перебравшись из столовой в зал заседаний — а там, конечно, шел очередной перерыв, — можно было услышать, как кон-

¹ Лаурель проиграл! (тагальск.)

² Истина в вине (лат.).

конгрессмен Марселино Велосо без конца повторяет: «*In vino veritas*»; на этот раз афоризм получил выходящее смех толкование конгрессмена Доминадора Гана: «Верьте ему, когда он пьян, но не верьте, когда он трезв!»

На выходах из зала заседаний в коридорах отоспешенно глазели часы, стрелки которых показывали четверть двенадцатого, хотя полночь давно миновала. От мрачных коридоров несло чертовщиной, казалось, что на часах не четверть двенадцатого, а «ваше время давно истекло».

В сенате начали работать тоже в десять, но дело безнадежно застопорилось спустя примерно час, когда приступили к обсуждению законопроекта об аграрной реформе. Сенаторы Манглапус и Толентино оба имели право высказаться первыми, потому что последнее обсуждение законопроекта прервали, как раз когда в его защиту выступал Манглапус, а Толентино возражал. Но прежде чем кто-либо из них получил возможность продолжить дискуссию, сенатор Антонио перешел точку кипения.

«Я прошу слова как высшей личной привилегии», — мрачно объявил джентльмен из Нуэва-Эсихи и Давао.

Маркос ответил, что председательствующий не может предоставить ему слово, поскольку обсуждается законопроект о земельной реформе и слово имеет сенатор, внесший законопроект. Тогда Антонио обратился к Манглапусу и Толентино: не позволят ли они ему сказать несколько слов? Толентино не возражал, Манглапус уступил место у микрофона. И вот так бомба в ту ночь разорвалась в сенате, а не в нижней палате.

«Моя вера в председателя этой палаты подорвана!» — провозгласил Антонио. Он лидер либералов в Давао, признанный лидер, и тем не менее его пытаются обойти в пользу сенатора-националиста в спорном вопросе о назначении финансового чиновника. Он просил поставить вопрос на голосование. Вместо этого Маркос объявил перерыв. Совершенно очевидно, что Маркос, будучи председателем комиссии по назначениям, сговорился с Альмендрасом заблокировать назначение.

«Я поднимаю этот вопрос, — зловеще заключил Антонио, — потому что хотел бы выяснить, нет ли сре-

ди нас других сенаторов, чья вера в руководство палатой поколеблена. Иными словами, я хотел бы внести предложение рассмотреть вопрос о реорганизации руководства сената».

Сенатор Фернандес тут же попросил снова сделать перерыв, чтобы лишить кого бы то ни было возможности поддержать предложение. Потом он и сенатор Рохелио де ла Роса поспешили к сенатору Антонио и принялись увещевать его. Маркос тоже, сойдя с возвышения, присоединился к миротворцам, толпившимся вокруг Антонио. Сенатор сидел с непреклонным видом. Потом он вместе с Маркосом удалился из зала, и пронесся слух, что звонили в Малаканьянг, чтобы оттуда по телефону урезонили Антонио.

Перерыв затянулся на два с половиной часа. Высказывались предположения, что сенаторы-националисты сговариваются выдвинуть кандидатуру сенатора Осиаса на должность председателя сената, если не удастся избежать реорганизации. На самом деле сенаторы-националисты не покидали зал заседаний, и, похоже, возможность отдохнуть привлекала их куда больше, чем заговор. Сенатор Куэнко снял туфли и задрал ноги на кресло. Аманг Родригес, казалось, задремал, и его со смехом разбудила собравшаяся вокруг кресла толпа — ему предлагали отправиться домой, в постель. Бросив взгляд на другого сенатского старца, Аманг сказал: «Если Куэнко уедет домой, тогда и я тоже». Ехидный сенатор Лим, сидевший напротив Аманга, тут же изобразил его сонные глазки, вынул платочек и пошел в народном танце, издеваясь над сенатором Марией Катигбак с ее законопроектом о комиссии по культуре (он прошел уже обе палаты), а потом прошествовал на возвышение и там начал фехтовать молотком председателя.

Во время перерыва в зале с триумфальной улыбкой появился Кабангбанг. «Докладываю, что готов приступить к исполнению служебных обязанностей», — сообщил он своим коллегам-националистам. Со стороны либералов о готовности приступить к исполнению обязанностей сообщил конгрессмен Крисолого — мрачноватый, но элегантный, в темно-синем костюме и галстук-бабочке.

Около двух появились Маркос и Антонио. Зал очистили от публики, и сессия возобновила работу.

Антонио так и не умилоствовали, и он по-прежнему настаивал на голосовании по вопросу о доверии. Он начал говорить, но запутался в собственных словах, и тогда сенатор Фернандес предложил поставить на голосование доклад бюджетного комитета. Когда это предложение отвергли на том основании, что Антонио надо дать возможность высказаться, Маркос зачитал выдержку из правил работы сената, согласно которым слушания по делам бюджетных комитетов могут происходить в любое время по ходу сессии и имеют право первоочередности перед всеми другими вопросами, обсуждаемыми палатой. На это сенатор Альмендрас возразил, что Маркос неверно толкует данное правило. Да, доклад бюджетного комитета может быть заслушан в любое время, может прервать любое обсуждение — но только по просьбе председателя этого комитета. Фернандес же всего лишь член комитета и не имеет права поднимать вопрос о бюджете. Председателем комитета является сенатор Пуят, а Пуят не просил ставить доклад на голосование. И вообще, доклад пока на рассмотрении комитета, и в комитете нет единого мнения, тогда что же, собственно, сенат будет голосовать?

Толентино, по его словам, прекрасно сознавал, что либералы хотели заткнуть рот Антонио, заблокировав вопрос о реорганизации. Но ведь именно Мангланус и он сам, Толентино, выступали тогда в сенате, и именно они дали Антонио возможность высказаться, а Антонио внес предложение. Так давайте же немедленно его проголосуем, чтобы он и Мангланус могли продолжить свои выступления.

Маркос ответил семантическими увертками: он принялся доказывать, что Антонио не внёс никаких предложений. Согласно протокольной записи, он сказал: «Я хотел бы внести предложение», это не было: «Я вношу предложение». Следовательно, он лишь *интеревался* его внести.

Антонио тут же положил конец этим препирательствам, заявив, что он *вносит* предложение о реорганизации руководства сената, но к тому времени уже невозможно было что-либо расслышать, поскольку воцарился бедлам: два-три человека — прежде всего Примисиас и Фернандес — одновременно орали всю мощь своих глоток.

«Это издевательство над законодательством! —

кричал сенатор Манахан.— Мы обманываем народ! Пора положить конец этому фарсу!»

Галерея аплодировала Манахану, но в зале происходило вавилонское столпотворение. Фернандес предложил затребовать от Пуята бюджетный доклад. Толентино возражал: по правилам сената никто не может заставить председателя бюджетного комитета представить доклад. Пуят заявил, что доклад готов, но он бы предпочел соблюсти правила. Антонио взял слово, Антонио внес предложение — его предложение надо поставить на голосование. Кажалось, все усилия либералов лишить Антонио слова провалились. Пуят и Примисиас искусно маневрировали с целью оставить его у микрофона.

Но маневрировали и либералы; скандал в зале был учинен не без умысла. Если Антонио нельзя лишить слова, можно помешать ему провести свое предложение. И тут пират от либералов прибегнул к помощи влиятельного союзника. Большая часть членов палаты не обратила внимания на то, что часы снова пошли (в ту ночь их останавливали дважды) и стрелки приближались к мифической полуночи. И вдруг сенатор Альмендрас встает и сообщает председателю, что по сенатским часам уже пять минут первого: «Я предлагаю закрыть заседание». Маркос тут же ударил молотком и объявил сессию закрытой.

Потом он произнес небольшую речь, упрекая сенаторов в несоблюдении правил очередности. Имелось в виду, что председательствующий не мог дать ход предложению Антонио, поскольку Антонио просто вклинился в дебаты. Позднее Толентино заметил, что Маркос сам нарушил правила: «Но как с ним спорить, когда он на председательском месте?» А так как Манглапус уступил свою очередь Антонио, последний вовсе не вклинивался, и председательствующий должен был признать его право.

Как только Маркос завершил свое заключительное слово, националисты высказали сомнение в правомерности закрытия сессии: это надо было поставить на голосование. Поскольку же вопрос не проголосовали и — что еще более существенно — у сената осталось множество незавершенных дел, то правомерность решения о закрытии сомнительна. Примисиас первым начал высмеивать выдумку с часами, которые якобы защищали конституцию, — ведь они пока-

ывали неверное время и в момент закрытия, и за несколько часов до него. Пуят выразил готовность продолжить сессию и, если понадобится, сидеть в сенате хоть неделю, пока не будут обсуждены все жизненно важные законопроекты и не будут приняты решения по ним: ведь сессию закрывали, так и не приняв решения по законопроектам о земельной реформе, о ревизии налогообложения, об общественных работах и о бюджете. В ту ночь сенат управился только с некоторыми малозначительными законопроектами. Нижняя палата, куда более апатичная, добилась лучших результатов.

Как бы оправдываясь, сенаторы цеплялись за кресла, речи продолжались, Маркос все еще восседал на троне. Пошли встречные обвинения. Националисты обвиняли либералов в том, что те спровоцировали спор, парализовавший сессию: они его начали, они и не давали ему утихнуть. Умывая руки в праведном негодовании, националисты предусмотрительно молчали о том, что и они остервенело ввязались в бой, надеясь получить кое-какую выгоду от раздоров в стане либералов. Объявить, что могучий сенат споткнулся о пустяковый вопрос — назначение в Давао, — это, конечно, неплохо, но не совсем верно. Речь шла не о пустяках, а о сенатском троне.

Один возмущенный оратор сменял другого, и сенатор Родриго счел необходимым напомнить негодующим выступавшим, что «это ведь уже не сессия, а просто митинг». Потом телохранитель одного сенатора кричал: «Сессия закрыта! Освободите помещение!» Но освободить зал, в который уже нахлынула публика, было непросто. Люди толпились везде — они ведь с вечера ждали, что произойдут великие события.

И все же расчет на то, что предложение о прекращении работы будет опротестовано и сессия возобновит работу, был тщетен. Прецеденты не допускали иных толкований. Всего лишь год назад Аманг Родригес в сходных обстоятельствах закрыл сессию, не ставя вопрос о закрытии на голосование. Тогда тоже была угроза председательскому креслу Аманга, и тоже в связи с назначениями, и тоже грозила группа бунтарей из своей же партии. Но как только председательствующий велит занести в протокол, что пробила полночь, вычеркнуть это уже невозможно. Аманг

в прошлом году, Маркос — в этом, просто признав, что время уже за полночь, и велев секретарям записать это в протокол, законно прекратили сессию; и неважно, ставился вопрос на голосование или нет. Страстные речи, следовавшие за завершающим ударом молотка Маркоса, были уже не чем иным, как еще одним фарсом в этой ночи фарсов. Националисты явно играли на публику. Хотя они и прилипли к креслам, никто из них не верил, что есть хоть малейший шанс на «долгий парламент». Но как они громили либералов!.. Чтобы остановить поток красноречия, пришлось выключить микрофоны и кондиционеры.

В конце концов Аманг встал и вперевалку покинул палату. Это было воспринято как сигнал расходиться. Толпа уменьшалась, один за другим сенаторы уплывали прочь. Было четыре часа утра. Но на председательском месте над опустевшим залом все еще восседал в своем кресле Маркос, охраняя стол, а часы по-прежнему показывали какой-то призрачный, давно минувший час. Если когда-то кого-то сласали часы, то таким человеком был Маркос в ту ночь.

«Либералы доказали свое вероломство», — говорит сенатор Толентино, имея в виду трюк с часами. По молчаливому соглашению, утверждает он, к часам, остановленным во время сессии *sine die*, нельзя прикасаться до конца заседания. Когда остановленные сенатские часы вновь запустили без согласия палаты, был совершен акт вероломства. Этот трюк, не исключено, сыграет роковую роль для парламентской увертки, именуемой *sine die*. Тем самым было продемонстрировано, что временем *sine die* можно манипулировать для обретения преимуществ и на страх врагам, так что теперь надо поразмыслить, стоит ли прибегать к жульничеству со временем, пусть и из самых благих побуждений. Если все это выльется в осознание того, что *sine die* есть мошенничество, пусть и узаконенное, то фиаско, которое потерпел сенат на прошлой неделе, принесет хорошие плоды.

ТРУДНАЯ НОЧЬ ТОНИ АГПАОА *

Лонг-Бич — «Длинный пляж» в Баванге, провинция Ла-Уньон, давно утратил свое обрамление и

* © 1977 by Nick Joaquin

илем; вместо них протянулся целый ряд здравниц, призванных превратить побережье в тропическую Ривьеру. Местность к тому располагает. Сразу за пляжем возвышаются неровные уступы гор, на которых скоро разместятся там и сям виллы; и если для элегантности тут недостает белого песка, то вода здесь такая же голубая, как в самых изысканных уголках Средиземноморья.

Роскошная полоса пляжа недалеко от Табачной дороги стала на прошлой неделе полем битвы в извечной войне между верой и наукой, хотя противники тут в некотором роде поменялись ролями. Консервативная осмотрительность, мощь признанного закона были на стороне того, что мы, во избежание грубого слова, назовем наукой; а вот устремленность и неизвестное, смелость экспериментаторства были на стороне того, что следует именовать — опять-таки не желая никого унизить — предрассудком. В сущности, представители науки утверждали, что законы, управляющие миром, установлены раз и навсегда, и если уж они поклялись защищать существующее положение, то клятва запрещает им даже заглядывать за пределы дозволенного, в сферу тайны, в сферу безумия. Фактически они защищали застывший мир Великого инквизитора, тогда как их простаки-оппоненты на этот раз повторяли кредо еретической науки: «А все-таки она вертится!»

Тут вот что разочаровывает: обе стороны — одна столь боязливая, другая столь уверенная в себе — так и не сошлись в честном бою, так ничего и не разрешили; пожалуй, теперь позволительно сомневаться в том, что знахарство существует только по одну сторону экзаменационного стола — и это все. Вопрос не в том, помогает лечение верой или нет: вопрос в недопустимости ситуации, при которой наука высокомерно цепляется за букву закона, а ее оппоненты, обвиняемые в реакционности и обскурантизме, отстаивают дух свободного исследования.

Битва на Лонг-Бич началась с прибытия ста десяти американских паломников, жаждавших чуда, поскольку почти все они были хромы, изувеченные, изъязвленные, парализованные, душевнобольные, истощенные и недужные до такой степени, что им не могли помочь ни лекарства, ни хирургическое вмешательство. А чудом, которого они алкали, было ис-

целение от рук филиппинского «хилера» Антонио Агпаоа — для них же просто Тони. Прибывать в Лонг-Бич они начали рано утром в пятницу, шестого октября, и еще не успели разместиться, как закон, по словам прессы, тут же «взял их след».

Баванг, где порядок и так поддерживала жандармерия, получил, по слухам, пополнение жандармов — якобы с целью обеспечения безопасности паломников; но паломники так перепугались, увидев множество вооруженных людей, что владелец курорта, где они разместились, приказал своим частным охранникам переодеться в штатское, чтобы уменьшить число мундиров.

Телеграммы из Манилы предупредили отделение Медицинской ассоциации в Ла-Уньоне о прибытии паломников, а следовательно, и о возможном пребывании на Лонг-Бич Агпаоа; по одной версии, глава местного отделения Медицинской ассоциации подхватился среди ночи, чтобы провести совещание с начальником финансового управления провинции. Согласно этой же версии, было решено «устроить ловушку» для Агпаоа, позволив паломникам прибыть как бы незамеченными, а потом схватить вероцелителя, едва он появится; с этой целью глава местного отделения Медицинской ассоциации в сопровождении двух жандармов якобы проник в здание здравницы еще до рассвета. Однако глава отделения ассоциации говорит, что хотя он и побывал в помещении, но только среди бела дня, а вовсе не ночью, и в сопровождении жены, а не жандармов; да и сделал он это исключительно из любопытства, а не для того, чтобы кого-то арестовать; и что он тут же покинул здание, как только убедился, что там ему никто не рад. Паломники уже знали, что Филиппинская медицинская ассоциация выражает недовольство их прибытием и готова натравить закон на Агпаоа.

Затем прибыли репортеры — они держали курорт в осаде весь уик-энд, но их уговорили не фотографировать паломников и не интервьюировать их без разрешения. Паломники даже в шутку спрашивали всякого, кто подходил к ним: «А вы не из ФМА?» Одного нетерпеливого репортера, пытавшегося прорваться в, так сказать, «операционную», остановил пастор, сопровождавший паломников. «Я преподаю дзюдо, парень», — сказал он, поиграв бицепсами.

В конце концов официальные представители группы паломников — в таком качестве чаще всего выступали достопочтенные Джозеф Рафнер и Джеймс А. Осберг — предложили провести сеанс «лечения верой» под открытым небом, при свете дня, в полдень — «лишь бы избавиться от ФМА». Но продемонстрировать свое умение будет не обязательно Антонио Агпаоа. «Мы не собираемся делать из Тони Бога. Мы хотим лишь показать, что он орудие Бога и что Бог может действовать через любое орудие».

Уведомили ФМА и Филиппинскую комиссию квалификации врачей; доктор Хосе Молано, доктор Артуро Толентино-младший и Джулия Просбитеро прибыли утром в понедельник и заявили, что готовы присутствовать при обещанной операции, во время которой тело пациента будет вскрыто без всяких хирургических инструментов, пораженные ткани извлечены, а рана залечена так, что и шрама не останется. Джеймс Осберг из группы паломников предложил себя в качестве подопытного кролика и при этом обещал, что на «практике», делающей операцию, будет рубашка с короткими рукавами, за ним можно будет наблюдать с близкого расстояния, зрители смогут фотографировать его или снимать на видеопленку, а среди зрителей будет помимо наблюдателей-медиков еще и группа врачей из Ла-Уньон, а также представители прессы.

Единственное условие Осберга: за показательную операцию против «практика» не будет возбуждено уголовное дело, а американских паломников оставят в покое. Осберг знал, что поскольку вскрытие полости относится к сфере практической медицины, оно подпадает под действие закона: «Мы приехали по доброй воле, нас лечили по доброй воле, а тут мы можем подвергнуть исцелителя опасности преследования либо со стороны правительства, либо со стороны медицинских властей. Это означало бы, что мы не оправдали доверия. Мы никак не можем подвергнуть его опасности судебного преследования, поскольку сами затеяли все это».

Он предлагает себя в качестве подопытного кролика, продолжал Осберг, потому что у него при себе история болезни, заполненная Управлением по делам ветеранов, и с ней можно будет сопоставить результаты показательной операции. Страдает он фиброз-

ным циститом; лечился у Агпаоа за несколько месяцев до того, состояние улучшилось: теперь он не встает по четыре-пять раз за ночь, чтобы помочиться. Показательная операция, таким образом, будет продолжением лечения.

Если он говорил неправду, то установить это было бы довольно легко; но странность заключается в том, что именно медики стали выдвигать одно возражение за другим, и в конце концов их переговоры с Осбергом в беседке у моря окончательно увязли в трясине юридической казуистики.

Сначала медики выдвинули вот какое соображение: они не хотели, чтобы их «руки были связаны». Если они, наблюдая за операцией, увидят что-нибудь противозаконное, они вынуждены будут возбудить судебное преследование. С превеликими трудами удалось объяснить им, что Осберг просит для «хилера» иммунитета от юридического преследования не на все времена, а только в *данном конкретном случае*, при проведении этой показательной операции. Когда об этом договорились, у медиков возникли новые сомнения. Можно простить им страх перед потерей уважения — это ведь «международный случай», они будут под «взорами всего мира», — но никак не отсутствие нормального, тем более обязательного для ученых любопытства. Они усматривали здесь исключительно знахарство, предрассудки и мошенничество.

Тогда Осберг объяснил, что Агпаоа в течение двух недель был в Токийском университете под наблюдением врача Мироси Мотояма, доктора наук, директора института религиозных и научных исследований. Доктор Мотояма, который, судя по всему, не считал для себя недостойным исследование деятельности филиппинского вероцелителя, написал доклад о результатах своих наблюдений, который и представил на отзыв в университет, где преподает. В этом докладе, утверждал Осберг, доктор Мотояма заявил, что, когда Агпаоа вскрывал полость пациента, проводя руками над телом, было зарегистрировано «наличие некой электронной силы». В эти минуты руки Агпаоа становились как бы электроиглой, которая режет не сама, а при помощи магнитного поля вокруг нее.

Осберг обещал представить в распоряжение Филиппинской комиссии квалификации врачей результаты исследований Мотоямы, а также истории болезней

всех пациентов из группы американских паломников, которые утверждали, что Агпаоа их вылечил, плюс последующие записи их врачей, сделанные по возвращении домой, плюс 16-миллиметровый цветной фильм операций Агпаоа, снятый им, Осбергом.

«Я хочу,— сказал Осберг,— предоставить вам как можно больше материалов, чтобы можно было провести убедительное исследование феномена вероисцеления».

Если кто-то возражает против того, чтобы именно он стал подопытным кроликом на показательной операции, он готов выслушать и другие предложения. Какой-то медик сказал, что один из двух его больных (у одного осколок в теле, у другого — камень в почке, что зафиксировано рентгеновскими снимками) был бы более подходящим пациентом для показательной операции. Согласен ли Осберг с тем, чтобы медики сами предоставили пациента?

Ко всеобщему удивлению, Осберг не только согласился, но даже внес поправки в свое условие относительно иммунитета против судебного преследования. «Хилер» вскроет полость без всяких хирургических инструментов, удалит камень или осколок, передаст извлеченное инородное тело врачам для обследования, закроет рану так, что не останется никакого следа, а затем будет произведена рентгеноскопия пациента, чтобы доказать, что осколок или камень действительно удалены. Если же целитель воспользуется каким-либо инструментом, или если извлеченное тело окажется не осколком и не камнем, или если останется шрам от раны, тогда он *должен быть арестован на месте.*

В это трудно поверить; но еще труднее поверить в то, что медики из квалификационной комиссии отклонили это предложение. Если они действительно хотели возбудить дело против вероцелителей — тут они имели шанс. Но первоначального возражения им показалось мало. Если сперва они не соглашались отказать от судебного преследования по результатам показательной операции, то теперь возражали против самой операции. Она сама по себе незаконна, и они не могут участвовать в ней или быть свидетелями. Но тогда что же, они проделали весь путь от Манилы, чтобы только заявить об этом? Возникло сильное подозрение, что, приехав посмотреть, в чем

тут дело, медики тут же струсили. Боялись, что не сумеют объяснить увиденное?

Джозеф Рафнер, подлинный руководитель группы, то и дело говорил Осбергу: «Пойдем отсюда, это же несерьезные люди, мы понапрасну тратим время». Но Осберг старался спасти показательную операцию. А медицинские авторитеты все время спорили о пустяках и в конце концов удалились, хотя Осберг негодуяше утверждал, что он и сам заинтересован в судебном преследовании вероцелителей-мошенников — хотя бы с целью провести «тщательное расследование» феномена подлинного исцеления верой. Если границы человеческих возможностей отодвигаются, то с чего бы науке бояться исследовать их? Однако победило крючкотворство. Кто-то заметил, что если бы Христос вдруг появился сегодня на Филиппинах, ФМА выступила бы с его разоблачением, а жандармерия бы его арестовала.

Они свидетельствуют

Для пилигримов-американцев, приехавших главным образом из Мичигана, сражение на Лонг-Бич оказалось всего лишь еще одной досадной неприятностью в паломничестве, которое с самого начала было сопряжено с трудностями. Группа состояла преимущественно из людей с незначительными доходами, и они вообще не смогли бы предпринять это путешествие, если бы не помощь друзей, соседей, их церквей, их клубов и тех родственников, которые в конце концов смилостивились, признав, что хронические больные имеют право попытаться осуществить свою последнюю надежду. Билет туда и обратно обошелся каждому в 658 долларов, не считая гостиницы и других расходов.

Помимо финансовой проблемы, была проблема транспорта. Паломники утверждают, что Американская медицинская ассоциация употребила немало усилий для оказания давления на все авиакомпании США, чтобы те не давали им чартерного рейса. Им пришлось сначала отправиться в Онтарио, в Канаду, а это дополнительные расходы. «У нас и машины-то есть не у всех,— говорил Джо Рафнер,— а тут заказать самолет...» Во время двух посадок на американ-

ной земле — в Детройте и Сан-Франциско — им не разрешили выйти из самолета, хотя остановка в Сан-Франциско, говорят они, была на девять часов. Такое и здоровым трудно выдержать.

Все путешествие заняло четыре дня: второго октября они вылетели из Мичигана, а прибыли в Манилу пятого. «И тут же наткнулись на прессу», — говорит Рафнер, и его передергивает. Он утверждает, что никто не обратил внимания на его увещевания по меньшей мере не фотографировать калек. Из группы паломников в сто десять человек 46 — мужчины, остальные — женщины и дети. Букет недугов: от катаракт и атрофии мышц ног до эпилепсии и рака.

В Маниле паломники к своему ужасу узнали: не исключено, что столь долгий путь и все денежные затраты были напрасны, поскольку местные власти подолбливают знахарей. Агпаоа скрылся, его в любой момент могут упрятать в тюрьму. Паломники и здесь подозревали давление АМА. Однако в конце концов удалось установить контакт с исцелителем. «Раньше, — говорит Рафнер, — мы действовали открыто. Теперь нам пришлось действовать тайно». Они пустили слух, что отправляются в Багио, а сами сразу после ужина в пятницу тайком ускользнули в двух дюжинах нанятых машин и направились в Баванг, куда прибыли после полуночи.

Весь уик-энд, пока бушевала битва на Лонг-Бич, Рафнер подумывал переместить группу в Австралию, если давление не прекратится. Но паломникам понравился Лонг-Бич. Они нежились на солнышке на открытых террасах или на пляже, плавали в теплом море, наслаждались экзотическими блюдами, такими, как *буконг манок* (цыпленок с морковью и картофельным пюре, подаваемый в половинке кокосового ореха на цветах). Вечерние развлечения: от петушиных боев без шпор до прекрасных народных танцев и исполнении труппы из колледжа святого Людовика города Сан-Фернандо. Благодаря отличному оркестру те из паломников, кто были помоложе и поздоровее, бодрствовали до утра, особенно стайка блондинок, которые нашли достойных партнеров среди местных парней. Журналисты засели в баре и держали бесплодное бдение: пары танцуют, ночь сгущается, а таинственный Тони Агпаоа якобы тайно перемещается по территории курорта, возлагая руки на не-

дужную плоть, хотя по слухам он вроде бы улетел в Давао.

Руководители группы паломников представляли разительный контраст. Джозеф Рафнер — беспокойный плотный человек с грубой, как наждак, кожей. Джеймс Осберг, напротив, высокий и худощавый, с точными движениями, мысль излагает четко, профессионально. У Джо Пласа, владельца похоронного бюро, лицо бледное, взгляд острый — он, кажется, специализируется на улаживании конфликтов. Где-то на заднем плане витал писатель по фамилии Шерман — автор книги «Вероцелители Филиппин», благодаря которой Агпаоа обрел мировую славу. Но, похоже, сейчас эту славу поддерживает прежде всего Рафнер, ибо, утверждает он, обязан Агпаоа тем, что его носят ноги.

Рафнеру 47 лет, он родился в Питтсбурге, в семье шахтера, но вырос в Уайандотте, штат Мичиган. В семнадцатилетнем возрасте, сразу из средней школы, он пошел на войну, служил на госпитальном судне в южной части Тихого океана. После войны занимался прачечным бизнесом, грузовыми перевозками и всякими другими делами. «У меня было столько энергии, что обычно я работал в двух местах одновременно». Женился в двадцать три года, трое детей.

В августе 1956 года Рафнер, работавший тогда на металлургическом заводе, упал с транспортера на кучу железных труб, провалился в щель между ними и повредил спину. Падал он с высоты 32 фута. «Я отключился». Все последующие годы он валялся по больницам, перенес несколько операций — «но мне все не становилось лучше, наоборот — хуже». Постоянные боли, двигаться трудно даже на костылях, мысли о самоубийстве... Он умолял жену бросить его. «По ночам, в постели, я плакал». В 1960 году ему дали полную инвалидность и страховое пособие. Был он не очень ревностным католиком, но в 1963 году, пройдя усиленный курс индоктринации, обрел рвение и занялся работой среди инвалидов: сводил их вместе в клубах взаимопомощи, где можно было приносить какую-то пользу, а не только жалеть самих себя.

Впервые о вероцелителе по имени Агпаоа он услышал от одного приятеля в 1965 году — «но тогда я не придавал этому значения». На следующий год он сно-

на наткнулся на это имя — в журнале — и почувствовал злость. Зачем будить в людях надежды разговорами о чудесных исцелениях? Но: «Милый, а почему бы тебе не написать ему?» — сказала жена.

«И я написал, вовсе не надеясь получить ответ. Сказал, что денег у меня нет, живу на пособие по страховке, перенес не то семь, не то восемь операций. Когда пришло от него письмо, решил, что парень с приветом. Он писал: „Деньги не нужны, была бы Божья воля, тогда он сам найдет средства“. Я посоветовался с братом, тот сказал: „Да ты смеешься, что ли? Этот тип наверняка какой-нибудь колдун“. Но уже через три недели у меня было тысяча двести долларов — дали церковь, соседи и друзья, о которых я ничего не знал».

Он решил во что бы то ни стало попасть на Филиппины. Жена говорила: «Откуда ты знаешь, найдешь ли ты его вообще? Он, наверное, живет где-нибудь на рисовом поле или в джунглях». Он ответил ей, что раз Бог помог со средствами, поможет и в другом. «И я лег спать». Через двадцать минут раздался стук в дверь, и кто бы, вы думали, это был? Юноша-филиппинец из американского флота — ему понадобилось нотариально заверить какие-то бумаги (в одно из пребываний в больнице Рафнер освоил профессию нотариуса). Он заверил бумаги, не взяв денег, и лишь после этого узнал, что юноша из Багио. «Вы можете остановиться в доме моей мамы», — сказал юноша, услышав, что Рафнер собирается в Багио. Добравшись до Багио, Рафнер не останавливался у его матери, но появление филиппинца именно в тот вечер было воспринято им как повеление отправляться на Филиппины без страха.

В Манилу он прибыл 3 ноября 1966 года, один, на костылях; он уплатил триста песо какому-то полицейскому за поездку в Багио, тот покружил по улицам Манилы часа четыре, а потом вернулся в ту же гостиницу, сказав, что Агпаоа нигде не найти. На следующий день Рафнер поехал в Багио на автобусе. Там ему негде было приткнуться, но шофер автобуса приютил его на ночь, накормил ужином и отказался взять деньги. «У них у самих ничего нет, но они готовы поделиться с незнакомцем последним». Утром шофер автобуса разыскал дом Агпаоа. Рафнеру было велено прийти после обеда.

Он устроился в гостинице. «Там был этот молодой человек, еврей, который все время говорил, что Аппаоа — шарлатан. Ничем, мол, он вам не поможет, только выманит все ваши деньги и отошлет прочь — вы будете сильно разочарованы». И тем не менее Рафнер после обеда появился в доме «хилера». Аппаоа был на месте — оперировал в спальне, битком набитой американскими врачами. «Они прикатили с какой-то международной конференции в Токио». Врачи фотографировали, снимали операции на киноплёнку. Когда подошла очередь Рафнера, ему велели лечь на кровать, закатать рубашку и приспустить брюки. После этого Тони Аппаоа начал делать пассы над его животом.

«Боли я не чувствовал, но здорово испугался. Я видел, как он голыми руками сделал надрез, потом вынул что-то, похожее на клубок нервов. Видел, как полость открылась, потом закрылась, видел кровь. Один из американских врачей спросил, можно ли положить руку мне на рану. „Если руки чистые“, — ответил я. Он приложил ладонь, и на ней осталась кровь. Потом Тони отнял руки, и рана мгновенно затянулась. Мне он сказал: „Встань и иди“. Я не думал, что у меня получится, — ну кто же ходит сразу после операции? Но я пошел. Тони сказал: „Отправляйтесь домой и отдохните“. Все бывшие там врачи осмотрели меня — похоже, они не верили своим глазам. Я вернулся в гостиницу, встретил того молодого еврея — он просто обалдел».

Рафнер говорит, что когда он вернулся в США и показался своим лечащим врачам, те сказали, что вся болезнь была у него в голове. «Так какого же черта вы оперировали мне спину, если она в голове?» — ответил он им. Пособие по страховке ему перестали выплачивать, но работу он не нашёл — ведь, судя по снимкам, он не должен был ходить.

В июле прошлого года одна супружеская чета уговорила его отвезти их двадцатипятилетнего сына, парализованного вот уже шесть лет, к Аппаоа. Рафнер согласился и прихватил еще двух пациентов, страдавших от ревматизма. «Все вылечились». Их возвращение в Мичиган наделало много шума — вот почему сейчас Рафнер привез на Филиппины группу в сто девять человек.

Другая причина — цветные фильмы, снятые Джеймсом Осбергом; их показывали в клубах и церковных приходах. Осбергу 65 лет, он из Чикаго, был репортером, работал по связям с общественностью. Он говорит, что впервые услышал об Агпаоа от богатого врача, Чарльза Эдварда Барнетта, — тот утверждал, что Агпаоа сильно помог ему с грыжей, удалив часть кишки. В январе этого года Осберг побывал здесь с прибывшими для лечения у Агпаоа американцами — группой численностью тридцать три человека. В группу входили люди заметные, из фешенебельного пригорода Чикаго, среди них — жена Осберга. Она страдала от большой опухоли в матке, неоперабельной из-за расстройств, связанных с климаксом. Осберг говорит, что поехал он единственно с целью понаблюдать со стороны, однако чудесное исцеление жены произвело на него такое впечатление, что и он лет на операцию к Агпаоа — по поводу мочевого пузыря. Во время этой операции, говорит Осберг, он сам давал указания приятелю, снимавшему все на цветную пленку; кроме того, ему позволили снять и другие операции.

Тем не менее по возвращении в Чикаго, говорит Осберг, «ответственность журналиста» побудила его заявить, что ни фильмы, ни свидетельства тридцати трех больных, утверждавших, что они исцелились, не являются достаточным доказательством целительских способностей Агпаоа. Сначала надо тщательно изучить истории болезней всех тридцати трех пациентов, а потом еще долго наблюдать их состояние после возвращения с Филиппин. По его словам, он даже отговаривал людей ездить к Агпаоа до тех пор, пока не будут изучены методы его лечения, да и сам целитель тоже. Но людей отчаявшихся не удержишь, и ему пришлось отправиться с группой Рафнера, чтобы еще раз понаблюдать, сделать снимки, собрать побольше информации, которая пригодится при научном исследовании феномена вероцелительства.

Так *исцеляет ли* Агпаоа? И *если* да, то есть ли этому естественное объяснение? И прежде всего *кто* он, этот Агпаоа? Человек этот кажется столь же таинственным, как и то, что некоторые называют исцелениями. О нем много говорят; но тут мы ступаем на почву мифа, натываемся на следы столь же древние, как и чин мелхиседеков.

Он ясновидящий

Предполагается, что Тони Агпаоа 28 лет, но некоторые считают, что он постарше, хотя на вид ему дашь немногим за двадцать. Спорят даже относительно места его рождения. Он говорит, будто родился в деревне Росалес, провинция Пангасинан. Кое-кто утверждает, что он родился в Баррате, провинция Илокос-Норте; есть также подозрение, что он из игоротов, поскольку Агпаоа — имя игоротское. Но употребление некоторых характерных пангасинанских словечек выдает его происхождение, хотя, надо сказать, у него есть склонность заменять звук «п» на «ф» — а это свойственно пампанганам.

Пангасинанское происхождение — пусть претензии на него — очень многозначительно. Как раз в Пангасинане, помнится, местные жрецы были столь сильны, что долго сопротивлялись конкистадорам. В испанские времена Пангасинан был знаменит чудотворным святилищем, именуемым Манаоаг («звать»), которое явно воздвигнуто на месте капища куда более древнего. На рубеже столетий в Пангасинане царил разгул народного мистицизма, странных культов вроде «Гуардиа де онор» — «гвардии чести», была там и теократическая община во главе с богом-отцом, святым духом, Иисусом Христом, Девой Марией и двенадцатью апостолами, привлекавшая крестьян со всех центральных равнин и из Илокоса; она же повергла в изумление армии первого Макартура, отца Дугласа. Пангасинан и в наши дни порождает «священников по чину мелхиседекову». Мне говорили, что если не все, то большая часть вероцелителей, создавших свой центр в Бруксайде, Багио, и основавших так называемую бруксайдскую школу пророков (ранее к ней принадлежал и Агпаоа), родом из Пангасинана. Некая дама игоротского происхождения утверждает, что ее племя тоже имеет общину в городе, и на своих сборищах они, как и в бруксайдской школе, пророчаут и исцеляют, с той только разницей, что все игоротские провидцы сплошь женщины. После этого пусть попробует хоть один христианин дурно отзываться об игоротской культуре! Шум, поднятый вокруг народных лекарей, наводит на мысль, что доиспанское прошлое, которое нас уговаривают чтить (даже вернуться к нему), в чести лишь тогда, когда

предстает в виде чего-то мертвого, извлеченного из могил, но не когда оно есть нечто живущее одновременно с нами.

Все, что Агпаоа сообщает о своих детских годах, история существенно — независимо от того, соответствуют ли его слова действительности, поскольку они свидетельствуют о мистическом складе его ума. Он не стал бы копаться в универсальных мировых легендах о культурных героях, не говоря уже о Фрейдовых или Фрэзеровых интерпретациях этих легенд. Агпаоа уверяет, что его родители (крестьяне) рассказывали ему, как в детстве он часто исчезал по ночам, а утром его находили где-нибудь на дереве. Его связывали, за ним следили, но каким-то непостижимым образом ему всякий раз удавалось ускользнуть.

В возрасте от четырех до шести лет он обнаружил, что, пристально глядя на листья или цветы, он мог превращать их в летучий эфир — он называет это «освящением». В семь лет открылось, что и руки его таят какую-то силу. Есть несколько версий этой истории — то ли о раненой руке, то ли о расколоте черепа, но вот что рассказывает сам Агпаоа. Он лазил по деревьям вместе с другими мальчишками, один из них упал и ударился половыми органами об острый камень. Ребятишки положили своего истекающего кровью товарища на волокушу, чтобы отвезти в городскую клинику. О том, что произошло по пути, Агпаоа поведали его товарищи. Похоже, он впал в транс и почувствовал непреодолимый импульс в руках. Он провел ими над окровавленными половыми органами мальчика — руки двигались сами собой. И сразу же кровотечение прекратилось, а рана зажила.

Агпаоа доучился только до четвертого класса. После этого, уверяет он, голоса велели ему подняться в горы между Пангасинаном и Нуэва-Вискайя, где он два года прожил отшельником, наставляемый, как он говорит, «моим покровителем». (Замечено, что Агпаоа никогда не говорит «я исцелил», но всегда «мы исцелили».) Ему было предупреждение не иметь половых связей до двадцати двух лет и не использовать свой дар ради выгоды, иначе он потеряет его.

Сойдя с гор, он начал жизнь целителя, скитаясь из города в город, живя на подношения. Но дядя уговорил его использовать свои магические способ-

ности, чтобы найти сокровища, закопанные японцами. Сокровища нашлись, однако Агпаоа потерял магический дар. Став падшим ангелом, он пошел работать слугой в богатую семью. Отслужив период наказания, он обнаружил, что магические способности вернулись к нему: жена хозяина заболела, и он сумел вылечить ее. Из благодарности хозяин взял его с собой в кругосветное путешествие.

В 1959 году Агпаоа снова в Маниле, и снова практикует — с этого момента его рассказ поддается проверке. Говорят, что сначала он был в группе спиритов, которую возглавлял скульптор Толентино, и имел неприятности с конгрессменом, которого взялся вылечить. Определенно известно, что в 1959 году против него было возбуждено дело о незаконной медицинской практике, он признал себя виновным и был оштрафован. Видимо, приговор вызвал исход волхвов в Багио, потому что в Маниле становилось опасно. Так возникла бруксайдская школа пророков в «городе сосен».

Некий подрядчик в Багио утверждает, что, устроившись в городе, Агпаоа дал показательный сеанс «ручной хирургии» группе зрителей, в которой были священники, врачи и один инженер. Демонстрация проходила в доме подрядчика. В результате какой-то священник объявил виденное шарлатанством, врачи сказали, что это «любопытно», а инженер был убежден, что операция подлинная. Сам подрядчик пока еще настроен скептически.

С бруксайдской школой Агпаоа порвал, приобретя мировую славу, но тут много неясного. По одной версии, культ Агпаоа начался на западном побережье Соединенных Штатов, и раздували его некий хиропрактик, лечивший пассами и наложением рук, писательница и миллионер, добивавшийся разрешения на публикацию книги об Агпаоа. Эта группа, к которой присоединился доктор Чарльз Эдвард Барнетт, говорят, и сделала Агпаоа знаменитостью среди экзотических общин в Калифорнии.

Слава знаменитости померкла, когда звезда телеэкрана Джо Пайн, понаблюдав Агпаоа в деле, дал разоблачительную передачу по телевидению: он повторил все уловки Агпаоа. Агпаоа, по словам Джо Пайна, выбирал женщин с жирным животом, чтобы казалось, будто его пальцы проникают вовнутрь, тог-

да как на самом деле он просто погружал их в мягкую плоть, одновременно сжимая спрятанную в руке губку, пропитанную кровью, создавая тем самым видимость, будто она «вытекает из раны и тут же свертывается». Джо Пайна, когда он наблюдал Агпаоа, сопровождал врач, представившийся журналистом, и оба они, кажется, сошлись во мнении, что кровь настоящая. «Но ведь кровь так дешева на Филиппинах», — говорит Пайн. На это возражали, что если кровь была в губке, то она бы там и свернулась. Тем не менее Джо Пайн торжествовал, и культ Тони Агпаоа умер на восточном побережье, но тут же возродился в Мичигане. Возникло подозрение, что за всем этим стоит мощная организация. Не исключено, что существует подполье спиритов, которое объединяет всех чудотворцев мира, поскольку Агпаоа, еще пребывая в отшельничестве в горах, показал осведомленность о схожих культах, например, Бразилии.

Сам он тем временем разъезжал не только по Соединенным Штатам, но побывал и в Японии, и в Пуэрто-Рико, и выступления расширили его клиентуру. Поговаривают, что совсем недавно в одном из клубов Багио подверглась лечению группа в тридцать японцев — всего за два часа. В начале сентября прошлого года в Багио побывали тридцать семь пуэрториканцев — тоже для лечения. Наплыв паломников столь велик, что одна из гостиниц в Багио до недавних пор была занята преимущественно пациентами Агпаоа. Перенос места действия на Лонг-Бич, возможно, был вызван усилением враждебности со стороны Медицинской ассоциации Багио, которая, как утверждают, имеет некоторые данные против Агпаоа, основанные на трех случаях лечения местных жителей.

Слава начала сказываться и на его образе жизни. Он только что построил новый дом (два этажа и подвальный этаж на участке в 2500 кв. м) с огромными спальнями и ванными комнатами на каждом этаже, с двумя кухнями, баром (сам он предпочитает пиво) и такими роскошными коврами, что он снимает обувь, когда входит в дом, и бывает недоволен, если кто-нибудь этого не делает. Спит он на круглой кровати, а его бумажник туго набит банкнотами в пятьдесят песо. Орава слуг опекает его жену Люси и двух детишек — мальчика и девочку. За границей он под-

черкнуто щеголяет в тагальских рубашках, дома же предпочитает гавайские или ковбойки. Пообщавшись с американцами, он значительно улучшил свой английский язык; знающие его люди говорят, что он, несмотря на свой особый дар, по-прежнему непритязателен и застенчив.

Могу засвидетельствовать, что он действительно не мудрствует: проторчав весь уик-энд на Лонг-Бич, я все же получил возможность посмотреть, как Агпаоа делает операцию «голыми руками». В группу, которой позволили при этом присутствовать, входили помимо меня бельгийский священник из местного колледжа и фотограф. Фотографа в последнюю минуту попросили не пользоваться камерой — вспышка может отвлечь. Бельгийский священник высказал мнение, что Агпаоа не нарушает никаких религиозных предписаний, поскольку не требует от пациентов совершать обряды или молитвы, против которых могла бы возразить церковь.

Двумя днями раньше мне довелось несколько раз подряд прокручивать фильм, снятый во время операции одной пуэрториканки по поводу опухоли в матке. В кадре было показано крупным планом, как пальцы Агпаоа вошли в плоть и раздвинули ее, причем обильно лилась кровь. Видно было, как он что-то искал руками в полости, потом нащупал опухоль и вырвал ее. Затем его руки взметнулись вверх — показался покрытый кровью живот, однако ни раны, ни рубца не было.

А в понедельник около 11 часов вечера мне и бельгийскому священнику довелось наблюдать операцию в гостиничном номере, при свете лампы. Мы шли туда с открытым умом, и, говоря словами Уолкотта, он и сейчас открыт для доводов и сомнений.

Я свидетель

В номере было полно дополнительных кроватей — как и во всех других номерах в отеле: пять или шесть. Одна женщина лежала на самой дальней от нас, еще одна — на кровати посередине. Ее только что прооперировали. Она рассказала бельгийскому священнику, что ей втирали лосьон, что она чувствовала холодок, который, казалось, проникал вовнутрь, и было «так приятно, так приятно».

На ближней к двери кровати лежала американка, и когда мы вошли, Аглаоа и его помощник уже стояли подле нее. Потом они сели на соседнюю кровать — она стояла очень близко, — и Аглаоа склонился над пациенткой. Они сидели справа от женщины, помощник — ближе к изголовью кровати. Мы, наблюдатели, стояли в ногах, но нас то и дело просили придвинуться. Я стоял в узком проходе между кроватями, на расстоянии вытянутой руки от Аглаоа и пациентки. Большая лампа свисала с потолка позади Аглаоа, но его тень на женщину не падала.

Когда мы подошли, Аглаоа встал, чтобы пожать нам руки. На нем были темные брюки и светло-зеленая тенниска — майки под нею не было. Он невысок ростом, плотного сложения, с брюшком; цвет лица темный, как у многих горцев. Кости черепа выдаются, особенно скулы и челюсть. Руки типично крестьянские: короткие пальцы, широкая ладонь — мне показалось странным, что она такая мягкая. Он приветливо поздоровался с нами. Незадолго до этого он выходил в коридор покурить, а чуть раньше массировал больной плечи, чтобы помочь ей расслабиться.

Пациентка была худа и очень бледна; она лежала, подняв платье до груди, на бедрах — полотенце. Аглаоа попросил ее подогнуть колени, потом, взяв за талию, помог принять нужное положение. В ногах стояла чашка с прозрачной жидкостью — вода, а может, и нет: в комнате попахивало спиртом. Рядом с Аглаоа лежали толстые ватные тампоны.

Он сел, взял тампон, окунул в чашу и бросил женщине на живот. Потом начал его массировать; пальцы двигались неспешно, крадучись, словно ища чего-то. «Как бы колеблясь», — заметил потом бельгийский священник. Говорят, Аглаоа не раз объяснял, что самое главное — точно выбрать момент. Иногда он отрывал руки, водил ими над животом, расставив пальцы, как будто показывая, что между ними ничего нет.

Потом вдруг руки начали двигаться быстрее и пальцы, казалось, погрузились в тело. Сжав обе ладони в кулаки, он свел их, а потом резко раздвинул: хлынула кровь и стала видна как бы открытая рана в нижней части живота, над лобком. Кулаки, похоже, удерживали края раны — значит, она была шириной в ладонь. Края были краснее, чем нутро — оно имело

розоватый оттенок. Затем я увидел что-то гладкое и круглое, но не мог определить, что это за орган.

Придерживая края раны, Агпаоа обернулся к зрителям. «Видите?» — спросил он. Потом взглянул на Рафнера и спросил его: «Им видно?» Рафнер жестом предложил нам придвинуться поближе. «Как вы себя чувствуете, дорогая?» — спросил Рафнер женщину. Она была очень бледна, но все-таки слабо улыбнулась. Агпаоа велел ассистенту вытереть кровь, стекавшую из раны по обе стороны живота.

Потом случилось нечто невероятное.

Я сам видел, как он отпустил края, и руки его погрузились в рану.

В это время я икнул, если верить бельгийскому священнику. Сам я этого не заметил, зато помню, что женщина вздрогнула и отвернула лицо.

Пальцы, целиком погруженные в полость, что-то судорожно искали, оттуда донесся чавкающий звук. Судорожные движения рук наводили на мысль, что они двигались бесконтрольно.

Стук в дверь прервал операцию. Вошел фотограф в сопровождении какого-то молодого человека. Фотографу разрешили находиться здесь, но запретили делать снимки. Чтобы показать и ему, Агпаоа снова раздвинул края раны: «Видите?» Потом руки опять погрузились вовнутрь, и снова донесся чавкающий звук, как при стирке.

Непрерывно двигавшиеся пальцы вдруг замерли, потом вырвали что-то черное, и Агпаоа бросил это в чашку. Пальцы снова закопошились внутри, потом опять замерли. Женщина снова вздрогнула. Агпаоа пробормотал ей что-то успокаивающее, но руки его не переставали двигаться. И вот, еще держа левую руку в полости, правой он вынул красноватый кусок неправильной формы, размером с картофелину, и показал его женщине. «Больше это вас не будет беспокоить», — сказал он. Затем положил кровавый кусок на тампон, поданный ассистентом.

Теперь его руки снова массировали живот — они, казалось, заглаживали края раны. Внезапно они взмыли вверх. На обнаженном животе не было никакой раны, никакого следа. Агпаоа встал и заторопился в ванную. Почти тут же свет в комнате погас. «Просим всех выйти», — раздался голос. Наблюдатели покинули комнату в темноте.

И вышел через ту же дверь, через которую вошел. Минуту спустя Агпаоа присоединился к нам на веранде, и мы спросили, чем страдала женщина.

«Ее магнитные токи были разбалансированы,— сказал он.— Мне пришлось отрегулировать ее гипофиз,— тут он показал на свой лоб,— железу, которая контролирует все прочие железы организма. И еще у нее была киста в матке».

По-английски он говорил свободно, с легкой улыбкой. Потом он пожелал нам спокойной ночи и удалился.

На обратном пути в Сан-Фернандо мы обменивались мнениями с бельгийским священником и фотографом. Фотографа все это настолько поразило, что он после сеанса едва не лишился чувств. На бельгийского священника увиденное тоже произвело впечатление, но мы согласились, что кое-какие детали вызывают сомнение.

Во-первых, для такой большой раны ток крови был незначителен, правда можно предположить, что Агпаоа руками зажал вены. Во-вторых, кровь была подянистой на вид. Священник заметил, что кровь ведь непрозрачна, однако мы видели сквозь кровь кожу женщины. В-третьих, с чего это вдруг выключили свет в конце операции?

Одно из объяснений тому, что мы видели (или думали, что видели),— массовый гипноз. Но Агпаоа очень редко смотрел на нас. Кроме того, в дверь стучали, люди входили и выходили, появился фотограф — все это вывело бы нас из транса. Нас, наблюдателей, было трое, плюс три человека из группы паломников, плюс молодой человек, который привел фотографа. Никто из нас не оцепенел: мы двигались, оглядывались, отмечали в уме подробности, смотрели на часы.

Если же дело только в ловкости рук, то тогда тут работал мастер. Нам сказали, что Агпаоа действовал медленнее, чем всегда; обычно он завершает операцию в пять минут, а эта длилась почти десять. Мы обратили внимание и на медленные движения рук: он словно хотел, чтобы мы увидели все, и даже повторил кое-что ради припозднившегося фотографа. Если тут было какое-то мошенничество, оно, уверен, связано с первым тампоном, который положили женщине на живот. Возможно, что в нем находилась ре-

зиновая или пластиковая пленка — ее растягивание создавало иллюзию разреза, из которого виднелись внутренние органы.

Бельгийский священник обещал на следующий день съездить и справиться, как дела у прооперированной больной. Сам я отправился в Багио и там услышал, что новая группа паломников — на сей раз двадцать семь японцев — прибыла для лечения.

В пятницу на прошлой неделе мичиганская группа американцев вылетела в США — по слухам, они были разочарованы. Приехавшие в инвалидных колясках так и не встали на ноги. Из тех, кто на костылях, только у двоих появились кое-какие признаки улучшения. Уильям Керносек, 14 лет, страдающий дистрофией мускулов, на Лонг-Бич ходил сам, а в обратный самолет вошел на костылях. Давиду Уильямсу, 32 лет, страдавшему расслаблением ног, помогло так основательно, что он отправился на танцы. «Я теперь так много хожу, что стер подошвы», — хвастался он. При посадке в самолет Уильям показал, что может обойтись без костылей. Но скептики говорят, что у синдиката мошенников, занимающегося «хилерами», должно хватить ума поместить в группу одного-двух мнимых больных, чтобы обеспечить пару «исцелений».

Крови Агпаоа жаждет не только ФМА, но и бюро налогообложений, не говоря уже об ученых мужьях — ведь, по их мнению, из-за него Филиппины предстают перед всем миром как центр знахарства. И все же наша культура органично включает в себя исцеление верой. Вот и сейчас земля содрогается от утверждений и опровержений, которыми нас оглушают чудотворцы от политики, вовлекая еще в один сеанс исцеления. Все они уверяют, что страна страдает от рака и что только они могут исцелить ее. И каждые два года мы вверяем свою судьбу вероисцелителям, ложимся на очередную операцию. Стоит нам избрать их, и — мгновенно! — рак будет излечен. А два года спустя одни знахари уверяют, что опухоль спала, тогда как другие — что она не только осталась, но даже увеличилась.

По сравнению с этим политическим знахарством Тони Агпаоа — сущий младенец.

ПРОРИЦАТЕЛИ ИЗ КИАПО *

Двенадцатая ночь, когда Младенец был явлен
материальному миру — волхвам с Востока, знаменует
и начало нового десятилетия — десятилетия семиде-
сятых годов, которые, полагают многие, открывают
новый этап христианской культуры; те, кому дано
видеть, уже прославляют его как век Водолея.

Впервые Младенец явился пастухам, и то богояв-
ление может считаться началом нашей цивилизации:
то была пора простой веры, наивного удивления, па-
сторальной невинности — благочестие младенчества.

Эта эпоха завершилась, теперь мы пребываем в
мраке между двумя откровениями, всматриваемся
в небеса, чтобы узреть утреннюю звезду, предвещаю-
щую новую *эпифанию*, новое богоявление.

Второе явление Младенца было волхвам, людям
науки: яйцеголовым из лабораторий и обсерваторий,
мудрецам, покорившим природу, способным читать на
небесах. За волхвами стояли века пытливых хал-
деев и вавилонской технологии.

Современный человек ближе к волхвам, нежели
к пастухам; нынешнее поколение прославляет вторую
эпифанию.

В одном из своих величайших стихотворений
Т. С. Элиот видит агонию современного человека как
«Путь волхвов», начатый с наступлением холодов,
и худшее для путешествия время года, «да еще такой
долгий путь», через враждебные города и грязные
поселения, где за все дерут втридорога, через доли-
ны, «где никто не укажет дорогу»:

И голоса звучат в наших ушах:
Все это безумие и глупость.

Потом волхвы вопрошают: «Ради Рождения или
ради Смерти мы проделали столь долгий путь?» Ибо
эпифания рождения переходит для этих людей в «дол-
гую мучительную агонию», ибо по возвращении до-
мой им становится «чужд старый порядок вещей
среди чужого народа, цепляющегося за прежних
богов».

Отчужденный, как волхвы, от «старого порядка
вещей», Элиот, дитя викторианского оптимизма, от-
вернулся от богов своего века: от успеха, процвета-

* © 1977 by Nick Joaquin

ния, науки, неизбежного прогресса, от всех прелестей образования и всеобщего избирательного права. А потому тогда же и был клеймен как реакционер; и парадокс здесь в том, что человек, целиком принявший истэблишмент, возвестил начало движения, которое и сегодня сотрясает мир: молодые люди отворачиваются от мышинной возни, от истэблишмента и от всех старых богов — успеха, процветания, науки, неизбежного прогресса и т. п. «Я был бы рад снова умереть», — говорит маг в стихотворении Элиота; и гибель мира, не ими сотворенного, как нельзя больше обрадовала бы людей нынешнего времени. Сегодня в богатейшей стране мира бунт представляется в виде семейства, одетого, как хиппи, прощально машущего руками автомобилям, телевизорам, холодильникам и другим чудесным штукам, облегчающим жизнь. Они отправляются в путешествие с наступлением холодов, они начинают долгий путь к *эпифани*, хотя полоса в их ушах говорит, что все это глупость и безумие.

Поскольку волхвы представляли науку и в то же время нечто большее, чем науку, они наилучшим образом олицетворяют и современного человека, который использует науку для того, чтобы выйти за пределы науки. На закате первого этапа нашей культуры считалось, что вера и наука исключают друг друга. Теперь мы возвращаемся к волхвам, которые шли к вере при помощи знаний. В наши дни отмечается противоположность скорее между наукой «управляемого эксперимента» (воспользуемся введенным Д. Лоуренсом словосочетанием) и наукой крови, или тем, что Юнг называет «интуитивной наукой». Как астрологов и чародеев, волхвов с улюлюканьем изгнали бы из лабораторий и обсерваторий, но не из общины хиппи, не из общины новой дзэн, где современный человек вновь становится астрологом, колдуном, пророком, волхвом, провидцем.

Если Калифорния — «штат будущего», то сколько знаменательно, что там в администрацию одного из графств входит «официальный астролог». Множатся ведьмовские шабаши, их субботы празднуются в Британии. Потрясающий успех выпал на долю книги и фильма «Дитя Розмари», этого евангелия второго пришествия дьявола. Курсы колдовства предлагаются в свободном университете в Сан-Франциско.

Сверхчувственное восприятие (экстрасенсорика) изучается в лабораториях, в различных исследовательских центрах при университетах. Научный интерес к «шестому чувству», к оккультным феноменам пробуждается на Филиппинах. Доктора наук — такие, как врач Матильда Мартин Вальдес, — верят, что они входят в контакт с духами. Певица Летти Либоон — модная светская львица, но также и медиум, общающийся с потусторонним миром.

Астрология вошла в моду. Собственно, растущее племя астрологов утверждает, что расцвет их науки в наши дни основывается на астрологическом же феномене: смещении весеннего равноденствия, которое последние две тысячи лет находилось под знаком Рыб, в более удачное место зодиака, которым правит Водолей. Рыбы означали скептицизм и разочарование, а Водолей будет означать веру, надежду, милосердие и, следовательно, эпоху всеобщего мира.

Когда Луна находится в Седьмом доме,
А Юпитер вступает в союз с Марсом,
Тогда мир руководит нашими планетами
И любовь движет звездами.
Вот что такое век Водолея!

Это век, когда только в Соединенных Штатах насчитывается 175 тысяч астрологов; когда гороскопы составляют компьютеры; когда бизнесмены советуются с волхвами перед заключением сделки; когда популяризаторы предсказывают, что новая наука, астробиология, подтвердит древнее верование — судьба человека записана в звездах.

Шум Киано едва доносится до женщины средних лет, которая устало бредет по бульвару Кесона. В сумочке у нее пузырек со снотворным. Она никак не решится снять комнату в гостинице и принять таблетки — сразу все, — чтобы больше никогда не просыпаться. Пустят ли ее в гостиницу одну?

Она только что внесла залог за освобождение из заключения сына, «трудного ребенка»; она только что узнала, что ее дочь, еще подросток, беременна (девочка не говорит или не может сказать, кто в этом виноват); и в довершение всего открытие: у мужа любовница, хотя он с трудом кормит семью.

Но *почему* все это обрушилось на меня? — стонет

про себя женщина. И мука переходит в решимость. Она пойдет — нет, не в гостиницу, а в кино, в туалете примет сразу все таблетки, потом найдет место и там, в темноте, уснет навеки.

Она ускоряет шаги, ищет вывеску кинотеатра. И тут ее взор падает на объявление, нарисованное масляной краской на колонне аркады: «У Вас неприятности? Вас что-то беспокоит? Вы исхудали от забот? Тогда заходите и побеседуйте с мадам Созострис, может быть, она сумеет помочь Вам. Комната 23». Женщина средних лет читает объявление, вздрагивает и торопится дальше. И вот перед нею кинотеатр. Она останавливается — но билет не покупает. Потом идет дальше. Еще одно объявление на еще одной колонне — красная раскрытая ладонь, надпись: «Заходите — проконсультируйтесь с доктором Маго. Комната 29». Женщина колеблется. Потом входит в узкую дверь подъезда, поднимается по темной лестнице. На первой же площадке табличка повторяет объявление доктора Маго. Женщина шарахается, сбегает по ступенькам на улицу. И снова натывается на мистическую колонну мадам Созострис. Отчаявшаяся женщина смотрит на нее, потом обреченно входит в узкую дверь, поднимается по темной лестнице и попадает к ясновидящей. Надпись на двери гласит: «Советы по семейным проблемам».

За дверью — крошечная приемная; девушка за столом вежливо просит присесть — мадам сейчас занята. Нервное ожидание. Кто-то торопливо проходит мимо, и девушка в приемной показывает на дверь в узком коридоре — там много дверей.

Несчастливая толкает дверь и входит в каморку, где за столом сидит женщина тоже средних лет — судя по всему, метиска с китайской кровью. Никаких магических хрустальных шаров. Увидев мадам, клиентка бросается в слезы: «Я хочу знать одно — почему, ну почему весь этот кошмар выпал на мою долю!» Мадам берет ситуацию в свои руки, тут же догадывается о пузырьке со снотворным в сумочке посетительницы.

Ей предлагают расслабиться. Читают по лицу, читают по ладони, высчитываются буквы ее имени, цифры, составляющие дату ее рождения — все это истолковывается; составляется и изучается ее гороскоп. Посетительница успокаивается, начинает понимать:

все дело в ней самой. Ей говорят, кто она (по данным ладони, лица и гороскопа), почему она вышла замуж именно за этого человека, что именно пошло не так в воспитании детей, из-за которых она льет слезы. Такова судьба, надо научиться жить с нею — к тому же кое-что и на ладони, и в лице, и в гороскопе указывает, что она может выдержать испытание. Посетительница уже шарит в сумочке, хочет выкинуть пузырек в корзину для мусора. «Да, выбросьте это,— говорит мадам так мягко, так убедительно,— и отправляйтесь домой, к семье. О, сколько можете. Да, двадцати песо вполне достаточно».

Торопясь вниз по лестнице, посетительница говорит самой себе, что надо заглянуть на улицу Эчаге, купить несколько ломтей ветчины и удивить семью великолепным ужином.

Ведь сказано же в гороскопе, что ей нравится делать людям приятное!

Гороскопы — это карты неба, показывающие точное положение Солнца, Луны, планет в данное конкретное время при взгляде из данной конкретной точки на Земле. Первая временная точка — момент рождения человека; считается, что положение небесных тел в этот миг оказывает влияние на всю последующую жизнь. Гороскоп, составленный при рождении,— это судьба человека, он столь же неповторим, как отпечатки пальцев, потому что даже за несколько минут, отделяющих одно рождение от другого, положение небесных тел меняется.

Астрологи составили стандартную карту, показывающую «идеальное» расположение светил на небесах, изменения, которые происходят в течение года, влияния, ожидаемые от каждого изменения. Эта базисная карта астрологии называется зодиак (что означает «звериный круг» или «круглый зверинец»), она представляет собой круг, разделенный на двенадцать частей. Каждая часть — это «дом», находящийся под каким-то знаком зодиака. Двенадцать знаков (вне всякого сомнения, дошедшие до нас от времен, когда почитались тотемные животные) располагаются в следующем порядке: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.

Зодиак — это путь, по которому в течение года движется Солнце в сопровождении Луны и планет (Марс, Венера, Меркурий, Плутон, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун). Движение происходит против часовой стрелки, начинается с Овна, строго на западе, 21 марта, в день весеннего равноденствия, знаменующего начало астрологического года (вот почему церковь в этот день отмечает праздник Благовещения), когда небесные тела расположены в «идеальном» порядке, каждое в полагающемся ему доме: Марс — в доме Овна, Венера — в доме Тельца, Меркурий — в доме Близнецов, Луна — в доме Рака, Солнце — в доме Льва и так далее. Смещение весеннего равноденствия на пятьдесят секунд в год выводит его из «идеального» для него дома Овна; оно было в Рыбах в течение последних двух тысяч лет и вошло в Водолей в 1904 году.

В знаках зодиака легко читаются три воздействия: влияние самого знака (есть типы Тельца, типа Водолея и т. д.), влияние планеты, присущей каждому знаку (например, Меркурий, Юпитер и Сатурн означают соответственно живой, общительный и мрачный характер), и влияние действительного положения зодиака в момент рождения.

Например, если вы родились между 21 апреля и 21 мая, то ваш знак — Телец, ваша планета — Венера, и предполагается, что вы должны быть сильным, выдержанным, склонным к земным удовольствиям и общительным. Однако расположение Луны и планет в момент вашего рождения вносит изменения к худшему или к лучшему. Если, скажем, Луна в то время была в Водолее, то ваши качества Тельца будут направлены на достижение успеха и пойдут вам на пользу (напротив, у другого Тельца все может быть наоборот, если в момент его рождения Луна была в зловещем доме, например в Рыбах). И на протяжении всей вашей жизни наибольших успехов вы будете добиваться, когда Луна будет в Водолее.

Говорят, что планета «восходит», проходя через дом Овна; если вы родились, когда ваша планета была в этом доме, то вы родились счастливым. Но когда ваша планета находится на противоположной стороне круга, в доме Весов во время осеннего равноденствия в сентябре, то она «нисходит», и это неблагоприятное время для всех, кто родился под

той планетой. Планеты меняют свое благорасположение по мере того, как они «бредут» (планета ведь и значит «бродячая») из одного дома зодиака в другой, и эти изменения вносят смятение на небесах.

Основная посылка астрологии состоит в том, что каждый человек есть вселенная в миниатюре, и происходящее в космосе тут же сказывается на человеке, подобно тому как волнение моря приводит в движение каждую взвешенную в воде частицу. Все море влияет на эту частицу, и вся вселенная влияет на нас посредством излучения: каждую секунду наши тела подвергаются бомбардировке частицами энергии, исходящей от звезд. От Солнца зависят погода, климат, смена времен года; Луна вызывает приливы и отливы; планеты тоже притягивают нас и часто сбивают с курса во время нашего путешествия вокруг Солнца.

Влияет ли все это на нас?

«Звезды и планеты,— безапелляционно заявляет астроном Харлоу Шепли,— слишком далеко, чтобы оказывать какое бы то ни было влияние на живые организмы, в том числе и на человека».

Но окружение влияет на человека, о чем свидетельствуют различия между западным человеком, которому приходится противостоять зиме, и человеком тропиков, который нежится в вечном лете. А если звезды влияют на нас через погоду, то не могут ли они влиять на живые организмы и по-другому? Не все виды излучений из космоса могут быть обнаружены человеком.

«Большинство ученых все еще считает астрологию шарлатанством,— замечает „Тру Мэгэзин“,— и шарлатаны все еще дурачат ею простаков. Но есть свидетельства, что звезды влияют на погоду и, может быть, определяют наши судьбы, наши жизни».

Астрологи Вавилона («волхвы с Востока») описывали не только пути звезд, но и сопутствовавшее им экономическое состояние своих обществ, включая цены на товары; и, похоже, они установили некую зависимость между определенным расположением звезд и экономическими циклами на земле.

«Если эти (космически-земные) соотношения не являются чистой случайностью,— говорит доктор Нарлан Т. Стетсон из Массачусетского технологического института,— то они могут послужить отправной точкой для новых наук — соларистики и лунаристики,

современных вариантов средневековой астрологии. С их помощью можно будет предсказывать циклические колебания бизнеса, грядущие землетрясения и прочее».

Писатель Джозеф Ф. Гудаведж считает, что бывшая «подозрительная наука» становится «удивительным откровением» в наше время:

«Еще совсем недавно гневное возмущение астрономов и других ученых вызывало утверждение, что внешние силы могут влиять на человека и его окружение. Принять такой тезис означало поверить в астрологию, а для ортодоксальной науки поверить в астрологию означало поверить в колдовство.

Теперь, однако, меняется климат науки, появляются свидетельства, позволяющие допустить, что происходящее на небесах может быть связано причинно-следственной связью с происходящим с нами на Земле... Подлинные астрологи верят, что звезды влияют на судьбы людей; они только не могут сказать, каким именно образом. Но ведь необязательно знать все причинно-следственные связи, чтобы дать правильный прогноз погоды. Прогноз — это предсказание, основанное только на части данных. То же и с астрологами. „Я не могу объяснить, почему судьба тысячи людей с общим признаком в гороскопе отличается от судьбы тысячи людей, такого признака в гороскопе не имеющих,— говорит один нью-йоркский астролог,— но когда я вижу гороскоп с определенным признаком, мой опыт тут же говорит мне, что именно он сулит данному индивиду“. Все больше ученых исследуют влияние звезд и планет на человека; они всерьез подвергают проверке претензии астрологов на некое знание, с помощью которого делаются точные предсказания будущих событий».

Те, кто знает, откуда дует ветер, не считают, что это безосновательная претензия. Астрология — это наука, с которой современный человек придет к вере. И в Голливуде есть выдающиеся люди, которые начинают снимать фильм только в день, благоприятный, по вычислениям их астрологов, для начинаний.

Доктор Маго, к которому ведет всего лишь один марш лестницы с бульвара Кесона,— маленький, худой и очень прямой старик, который утверждает, что

в марте ему исполнится 80 лет. Но кажется, что он вообще без возраста: у него тело молодого атлета, твердые мышцы на груди, твердые бицепсы. Он сжимает руку в кулак, ударяет по полу — и пол стонет.

Ум его столь же мощен: «Я могу распоряжаться вашим сознанием».

Мне в руку суют листок бумаги. Он пишет три цифры: 11, 12 и 13 — на другом листке бумаги. Потом просит вычеркнуть две цифры — я вычеркиваю 11 и 13. «А теперь взгляните на листок бумаги у вас в руке». На нем цифра 12, которую я решил не вычеркивать. «Видите, я приказал вашему сознанию».

Он говорит, что родился в Маниле в 1890 году, учился в Америке, а потом семь лет изучал оккультные науки в Индии.

Лицо у него замечательное. Редущие волосы зачесаны назад от высокого лба. Выпуклые брови, под ними глубоко сидящие глаза, кожа вокруг них темная. Скулы выдающиеся, но щеки впалые, овальный подбородок выдвинут вперед. Коричневая кожа туго обтягивает выразительный череп.

«Я не верю в рекламу, она мне *не нужна*».

Поэтому — никаких снимков; его следует именовать доктор Х. Он подчеркивает, что не предсказывает судьбу; он имеет дело с фактами, с «данными», он занимается наукой. «В предсказания я не верю, но верю в науку».

Он утверждает, что начинает с изучения лица клиента. Какое оно: круглое, овальное, треугольное, квадратное? Уже форма лица кое-что говорит о человеке. И еще родинки. Родинка на линии волос — хороший признак. Шрам любого происхождения на лице женщины зловещ: «Эта женщина беспощадна, она своего добьется, и кончится это плохо для нее».

Потом изучение букв имени клиента, даты его рождения. Доктор Х. демонстрирует эту процедуру на примере. Имя, полученное при крещении, состоит из девяти букв: девять — признак неудачи. Фамилия из семи букв: семерка — везение. Сумма букв имени и фамилии 16: это тоже удача (потому что если сложить 1 и 6, получится 7). Дата рождения дает такие цифры: пять (талант), девять (неудача), одиннадцать (гениальность), два (стабильность) и пять (на сей раз упрямство, решительность). Заключение доктора: человек с таким именем обладает значитель-

ным талантом, потерпел неудачу, стремясь развить его, но будет пробовать снова и снова.

Следующий этап — чтение по ладони. Затем составляется, анализируется и истолковывается гороскоп. Потом, сопоставив все данные, полученные при анализе лица, имени, даты рождения, ладони и гороскопа, доктор Х. готов дать клиенту законченный диагноз и определить его судьбу. Это, повторяет он, вовсе не предсказание, если под ним иметь в виду предсказание будущих событий. Он предсказывает не более, чем врач, который объявляет, изучив симптомы, что у пациента такая-то и такая-то болезнь.

Хотя способность читать характер и судьбу можно приобрести, доктор Х. предупреждает, что выучиться все же нельзя, если нет прирожденного дара. «Дар дается Богом». Сам он очень юным узнал, что у него есть дар, и уже в двенадцать лет удивлял людей так называемыми предсказаниями. Но когда подрос, то стал музыкантом — в эпоху расцвета водевиля. Он говорит, что играл вместе с Тирсо Крусом в отеле «Манила», с Давилой в «Паласе». Был ударником во многих театральных и корабельных оркестрах. Но уйти от своего призвания не смог и со временем превратился в доктора Х.

«Это не бизнес. Это миссия».

У доктора Х. есть формула, пользуясь которой можно достичь преклонного возраста, сохранив бодрость тела и духа. «Поменьше мяса, спиртного, табака, секса — и поменьше мойтесь. Я не принимаю ванн. Просто обдаюсь теплой соленой водой».

Заведение доктора Х. — всего лишь одна из нескольких «консультационных контор» такого рода в Киапо. Офисы обычно расположены на втором этаже, комната разделена на каморки. Мадам обязательно с китайским именем: мадам Си, мадам Вонг, мадам Мин Ли Онг; популярны доктора оккультных наук. И везде утверждают, что судьбу они не предсказывают.

Мануэль Гомес, агент по недвижимости, ведущий дела мадам Си на бульваре Кесона, говорит, что им приходится выдавать свои заведения за «консультационные конторы», чтобы получить патент от городского правления. Поскольку хиромантия и толкование

ние гороскопов профессиями у нас не считаются, то лица, занимающиеся этими видами деятельности, получают патенты как подвизающиеся в сфере общественных отношений. Однако размер вознаграждения не фиксирован, берут только деньги «за услуги»: предполагается, что клиент платит, сколько сам сочтет нужным.

Чтобы улучшить свое положение, провидцы создали Ассоциацию хиромантов и консультантов и намерены основать школу, где их искусство будут изучать как научную дисциплину. Это было бы большим шагом в превращении их ремесла в профессию, которую мог бы признать и закон. Поле действий у них обширное и продолжает расти. В Ассоциацию на момент создания, говорит мистер Гомес, вошли не менее трехсот членов — и это только из Манилы.

Как и доктор Х., мистер Гомес считает, что дар распознавать характер и предсказывать судьбу дается от рождения. Такой талант был у его отца, хиромантия была его хобби. Поняв, что и он унаследовал этот дар, мистер Гомес попробовал развить его, читая мудреные трактаты, но бросил свое занятие, найдя, что «астрология для меня слишком трудна». Однако он сохранил к ней интерес и прилагает усилия, чтобы поднять до уровня общественного служения, до уровня профессии то, что у нас считается личным хобби. Мадам Си, например, пользуется славой искуснейшей хиромантки, но только в своем узком кругу. Мистер Гомес решил предложить ей войти к нему в долю, и они вместе открыли офис в центре города, где бы она была больше на виду. Сейчас ее офис считается одним из лучших заведений такого рода в Киапо. Мадам Си — китайская метиска 52 лет, вдова, и многие люди клянутся, что она знает свое дело.

Мистер Гомес придерживается мнения, что большей частью клиенты интересуются не своим будущим, а тем, predeterminedено ли их нынешнее состояние: неотвратимо ли, чтобы им изменял супруг или супруга, чтобы были проблемы с детьми? Они лучше справляются со своими трудностями, если могут сказать сами себе: «Надо смириться. Такова моя доля». Но их надо убедить, что их доля именно такова.

На Филиппинах, говорит мистер Гомес, нет консультантов по вопросам брака, к которым можно было бы обратиться при семейных невзгодах. Нет

у нас и доступных для публики психиатров, а если они и есть, улыбается мистер Гомес, люди неохотно идут к ним, боятся прослыть психами: *sira ang ula*¹. А между тем множество людей в таком огромном городе, как Манила, каждый день доходят до крайнего отчаяния, до мысли о самоубийстве. «Многие приходят сюда уже со снотворным». Общение с провидцем дает им два откровения. Во-первых, что они уникальны, неповторимы: они не просто Педро или Мария, которых как муравьев в муравейнике, но единственные в своем роде существа, подобных которым, как свидетельствует гороскоп и линии ладони, никогда не было раньше и никогда не будет потом. Во-вторых, что они в то же время часть вселенной, где нет места случайностям, что их индивидуальная судьба — часть какого-то величественного замысла, они столь же важны для него, как и движение звезд. И вот такое двойное откровение потрясает их и часто помогает преодолеть сегодняшние невзгоды.

Мужчин приходит столько же, сколько женщин, говорит мистер Гомес, а вот подросткам мы консультаций не даем («их умы еще не окрепли»), как не даем их и людям с несерьезными намерениями — тем, кто хочет просто купить предсказание судьбы. Во время последней выборной кампании тут побывали многие, пытаюсь выяснить, кто победит на президентских выборах. Провидицы и провидцы отказались дать ответ. «Только один провидец, синтоист Роберт Токучи Акамини, рискнул разыграть из себя пророка: он предсказал победу Маркосу».

Одна из причин такого нежелания делать предсказания состоит в том, что местные провидцы не астрологи. Наука, в которой так преуспел революционный генерал дон Онурио Лопес из Тондо, составляя календари и создавая эзотерические труды, еще не развита на Филиппинах, где гадают преимущественно по ладони. Астрология потруднее; ее начало относится к зарождению цивилизации, и ей во многом обязаны расцветом первые центры человеческой культуры: Китай, Перу инков, Египет. Из Египта эта наука перешла к халдеям, где достигла высокого развития, а уже оттуда Греция и Рим позаимствовали мудрость астрологов. В «темные века» астрология выродилась в фаталистический культ и была осуж-

¹ С приветом (тагальск.).

лена церковью. Потом она отошла от гадания и развила искусство толкования небесных влияний на жизнь человека. Некоторые великие ученые прошлого на самом деле были астрологами — от Гиппократов и Птолемея до Коперника и Ньютона.

Сегодня возрождение астрологии идет рука об руку с возрождением интереса к колдовству, спиритизму, буддизму, экстрасенсам и даже сатанизму; все это называют «пробуждением религиозного сознания». Маршалл Мак-Люэн, знаменитый своими поисками в оккультизме, говорит: «Мистицизм — это сегодняшние грезы о науке будущего». И он, и все неоколдуны, модные астрологи, знатоки буддизма, нынешние мистики могут сослаться на прецедент — на богоявление.

Волхвы нашли дорогу в Вифлеем при помощи астрологии, хотя голоса в их ушах твердили, что все это глупость и безумие.

МОДА НА ПОКЛОНЕНИЕ *

Народное поклонение часто выглядит столь же непостоянным, как женская мода. Время от времени вдруг появится какой-нибудь благочестивый культ и пойдет гулять по всей земле, из страны в страну. Начинаются чудеса, возникают места паломничеств, возрождение духовного рвения освобождает энергию, которая превращает безвестные уголки в центры цивилизации, потому что торговля и культура идут следом за толпами. А потом все это угасает столь же необъяснимо, как и расцвело, оставив след в виде святилищ, географических названий, легенд и обрядов, которые продолжают, даже когда породившие их причины забыты: вроде английского обыкновения 29 сентября, на Михайлов день, есть гуся, шотландского обычая надевать зеленое в день святого Патрика, скандинавского обычая зажигать огни в день святой Лукии, филиппинского обычая обливать прохожих водой в день святого Иоанна.

Иногда памятники исчезнувших культов более величественны. Толпы, стекавшиеся в Кентербери, все еще живут в стихах Чосера, а знаменитое средневековое поклонение святому Иакову Компостельскому,

* © 1980 by Nick Joaquin

можно сказать, породило империю, потому что клич тамошних паломников, носивших три раковины, прозвучал по всему миру, от Америк до Индии,— знаменитый боевой клич: «*Santiago y cierra España!*»¹

Почему тот или иной святой, тот или иной культ завладевает вниманием масс в данный момент истории, а не в какой-либо другой, это одна из загадок религии. Удовлетворительного ответа нет, есть мистическое: «Дух дышит, где хочет».

В пятом веке всю Европу вдруг охватило поклонение святому Мартину Турскому, первому немученику, которого почитала церковь. Св. Мартин Милостивый, солдат императорской армии, был обращен в христианство при прохождении службы во Франции. Трогательная легенда говорит, что, будучи новообращенным, он отдал половину своего плаща голому нищему у врат Амьена. В ту же ночь Христос, закутанный в обрывок того плаща, явился римскому солдату и рек: «Мартин, новообращенный, поделился со мной плащом». Св. Мартин стал епископом Турским, основал огромный монастырь Мармотье и умер в 397 году, когда ему было уже за восемьдесят. Могила его прославилась чудесами и стала местом паломничества. Его культ распространился по всему христианскому миру — немногие святые были столь же популярны, как он. Только во Франции ему посвящено около четырех тысяч церквей, а 485 городов до сих пор носят его имя. Его праздник, 11 ноября, некогда отмечался столь же торжественно, как и апостольские дни, и почитали его как «святого покровителя всей земли». Культ процветал несколько столетий, вплоть до средних веков, когда он пошел на убыль. Ныне св. Мартин — незначительная фигура в святцах.

С другой стороны, и незначительный святой может вдруг выйти из забвения и заслужить любовь народную. Наилучший пример — святой Иосиф Праведный, приемный отец Иисуса. Как это нам ныне покажется странным, в первые века христианства третье лицо Святого семейства не пользовалось поклонением в народе. На самом деле он был мишенью для насмешек, слыл покровителем рогоносцев, и сред-

¹ Святой Иаков и Испания! (исп.)

невековые актеры часто изображали его где-то на заднем плане в сценах благовещения — он сердито грозил кулаком Святому Духу. Поклонение плотнику из Назарета — по преимуществу современный культ, его популяризацию начали такие ренессансные фигуры, как св. Тереза из Авилы; но полный его расцвет совпал с появлением марксизма и может быть объяснен теми же причинами: подъемом рабочего класса и возвеличиванием труда в XIX веке. Ныне св. Иосиф — один из самых почитаемых святых в календаре: его провозгласили покровителем всемирной церкви, а его праздник, 19 марта, отмечается как день принесения обетов. Можно сказать, что он стал церковным ответом коммунизму: Первое мая, красный «День труда», недавно был «христианизирован» и объявлен днем св. Иосифа Труженика.

Бывает и так, что некогда популярный святой, канувший в Лету, вдруг «возрождается». К св. Христофору Христоносу, силачу, перенесшему младенца Иисуса через реку, очень охотно обращались в средние века, и он был предметом народного поклонения. Паломники и купцы взывали к нему о защите в странствиях по бездорожной Европе, где свирепствовали бароны-грабители. К нему обращались, ввиду опромной физической силы, чтобы он охранил здания от разрушения: люди средневековья рисовали его могучую фигуру у дверей домов и церквей — он держал руки над головой, поддерживая балку или крышу. Такое буквальное поклонение не пережило века Просвещения, и св. Христофор, который некогда казался верующим таким близким, остался только в легендах. Но потом, уже во время второй мировой войны, этот древний культ возродился в Соединенных Штатах. Опять путешествия стали небезопасны, опять каждая крыша грозила обвалом. Моряки, солдаты и летчики искали защиты у св. Христофора; машинам и самолетам давали его имя; в Нью-Йорке пришлось создать дамский комитет, который заботился об удовлетворении огромного спроса джи-ай на медальоны с изображением св. Христофора. Этот культ военных времен не ослабел и поныне: на маниленьос, садящихся в автобус и джипни¹, часто взирает Христоносец, оберегающий их в пути.

¹ Джипни — джип, переоборудованный под маршрутное такси.

Изображения в стиле барокко

Мода в филиппинских культурах резко переменилась на переходе от эпохи Дьюи¹ к нашим временам. Множество тех святых, которые заполняли семейные алтари наших предков, для нас теперь не более чем причудливые имена. Фигурки из слоновой кости или позолоченного дерева в расшитых золотом одеждах, украшенные драгоценными камнями и золотыми нитями, принадлежат к миру барокко, из которого мы пытаемся уйти. Несмотря на нашу любовь к пестрым рубашкам и ярко раскрашенным автомобилям, мы все же стали умереннее в своих вкусах — по меньшей мере в религиозных вкусах — и стесняемся цветистой иконописи наших предков, хотя она-то и представляет собой подлинное народное искусство, не то что нынешние, создаваемые чуть ли не поточным способом статуэтки из пластика. Семейные алтари осиротели, нет уже старых милых святых с их животными. Отправляясь в путь, мы уже не затепляем свечу перед крылатой фигурой св. Рафаила в капюшоне, несущего рыбу. Когда дом сотрясается от подземных толчков, мы уже не падаем на колени перед св. Варварой, судорожно хватаясь за башенку с тремя окнами. Когда нас одолевают нечистые желания, мы не спешим остыть перед св. Антонием Святителем и его поросенком. И тем не менее эти трое святых были охранителями жилищ филиппинцев в испанские времена, они — самые «модные» святые тех времен.

Один из популярнейших святых той поры — св. Винсент Феррерский, ревностный доминиканец, известный под именем «ангел Судного дня», обычно изображаемый с парой крыльев. Его статуи имелись почти во всех приходских церквях; в Маниле его главными храмами были церковь Санто-Доминго в Интрамуресе и церковь Бинондо — там его поклонники собирались каждый понедельник. Заболевших мальчиков отдавали под его покровительство, а по выздоровлении одевали их в черно-белые одеяния и отводили туда. Культы эти процветали еще до войны, но после разрушения церквей Санто-Доминго и Бинондо они, кажется, исчезли бесследно.

¹ Дьюи — американский коммодор, в 1898 г. потопивший испанский флот в Манильской бухте, что знаменовало конец испанского владычества на Филиппинах.

Не менее популярным в прежние дни был св. Николас из Толентино, августинский монах-чудотворец, которого на Филиппинах считали защитником китайцев. Легенда гласит, что китаец, которого в реке Пасиг чуть не сожрал крокодил, воззвал к св. Николасу: «*San Nicolasi! San Nicolasi!*» — и тот обратил чудовище в камень. Его имя давали столь многим филиппинским мальчикам, что у нас, без преувеличения, чуть ли не все Тома, Дики и Хэрри стали «Куласами». В Маниле у св. Николаса были два храма: церковь Сан-Августин и церковь реколетов, где в день его праздника, 10 сентября, благословляли хлеба и раздавали их верующим. Этот «хлеб святого Николаса» чрезвычайно ценился нашими предками, и его именем была названа не одна знаменитая булочная в Маниле и в провинции.

Для манильских китайцев главным храмом св. Николаса была старая церковь в Гвадалупе; туда они и отправлялись в паломничество по реке — в ярко украшенных лодках, похожих на пагоды, груженых едой, цветами и музыкальными инструментами. По прибытии, в Гвадалупе, китайцы слушали мессу, потом устраивали пикники на берегу Пасига под музыку струнных оркестров. А вечером шествовали в странной процессии. Статую св. Николаса несли на плечах мужчины — они бежали, припрыгивая, чтобы святой «вспотел». Благодаря усилиям статуя выделяла душистый «пот» — благочестивые люди промокали его своими платками. Церковь в Гвадалупе была разрушена во время филиппино-американской войны, и теперь уже не плавают китайцы на украшенных цветами лодках-пагодах, чтобы поклониться *San Nicolas de los Chinos*¹.

Смутные воспоминания остались и от других культов, некогда столь дорогих нашему народу. В субботу по утрам в церкви в Малате толпились женщины, недавно родившие, поскольку традиция предписывала манильским роженицам как можно скорее предстать перед Девой-Исцелительницей Малате: *Nuestra Señora de los Remedios*. Знатные дамы города не надевают больше фантастические шляпы и не присоединяются к своим скромным сестрам в Пако в день мучеников-младенцев, от Ирода избитых (28 декаб-

¹ Сан-Николасу китайцев (*исп.*).

ря), где они плясали древний ритуальный *тадтарин* в день зимнего солнцестояния. Даже поклонение в Антиполо, которое само по себе не мода, а обязательное установление, поскольку пережило все капризы народной фантазии, уже не то, что прежде. Раньше паломники шли туда, чтобы пробыть там по меньшей мере девять дней — девятину; сейчас паломничество сократилось до одного проведенного второпня дня, что наших предков потрясло бы как величайшая непочтительность.

Странным культом, удивляющим маниленьос, было паломничество в церковь реколетов в Интрамуро се 13 декабря, в день св. Лукии. Паломниками были не столичные верующие, а жители расположенных вверх по течению реки городов и горных деревень близлежащих провинций. Утром 13 декабря удивленные маниленьос обнаруживали, что патио церкви реколетов выглядит как провинциальная площадь в базарный день. Ее заполнял темнокожий люд, говоривший со странным акцентом, одетый в негородские одежды: женщины в цветастых платьях, с платками на шее, мужчины в китайских рубашках навыпуск, они торговали зелеными метелками риса, молодым зерном, пирожками и прочей выпечкой из рисовой муки, душистым медом, взбитым молоком кокосового ореха, жирными курами и свежими яйцами. Городские домохозяйки запасались к предстоящим рождественским праздникам; их дети таращили глаза на большие, грубые, ярко раскрашенные игрушки, привезенные провинциалами, — петухов, всадников, сельских красавиц из папье-маше. В этих загадочных ежегодных набегах (никто, похоже, не знает, когда они начались и почему) благочестие сочеталось с коммерцией: сельский люд приходил поклониться св. Лукии, а заодно и продать свой зимний товар. Продолжалось все это только одно утро; уже после обеда в патио вновь наступало затишье — сеньоры в черных вуалях и кабальерос в белом снова вступали во владение церковью реколетов, одной из самых элегантных в столице. Статуя св. Лукии, которую здесь почитали, находилась в боковом алтаре; это была белокурая женщина в красных одеждах с серебряной тарелкой в руках, с которой смотрели два глазных яблока. Хотелось бы знать, где теперь поклоняются ей наши сельские почитатели святой.

Двое излюбленных

В этих приливах и отливах народной любви два святых сохранили былую притягательность для филиппинцев. Любимые сегодня не меньше, чем в дни минувшие, они действительно могут считаться самыми популярными святыми Филиппин: св. Рох (Сан Роке) и св. Исидор Труженик (Сан Исидро Лабрадор).

Тот и другой — покровители земледельцев: их статуи носят вокруг полей во время сева и перед жатвой, а также в засуху. Немного на Филиппинах таких городов, близ которых бы не было деревень Сан-Исидро или Сан-Роке. Собственно, Сан-Роке — это собирательное название филиппинской деревни; так ее именует и народная песенка.

Массовые переселения на остров Минданао, нередко осуществлявшиеся под покровительством этих двух святых, вывели эти старинные филиппинские культы к новым границам на юге; так что на Минданао, очевидно, деревень Сан-Исидро и Сан-Роке скоро будет не меньше, чем на Лусоне.

Св. Исидор Труженик — покровитель столицы Испании, Мадрида; там он был издольщиком еще в те времена, когда Мадрид был похож на пасторальную акварель. Говорят, был он настолько благочестив, что большую часть рабочего дня проводил в молитвах, а за него пахали ангелы. (Один англичанин, услышав эту легенду, заметил: «Типично испанский святой».) 15 мая, в день его поминовения, Мадрид опять обретает буколический вид, надевает крестьянские одежды и украшает древнюю Пласа-Майор снопами пшеницы и ветвями яблони, чтобы почтить деревенского святого.

На Филиппинах его праздник весьма кстати падает на пору страды и отдыха; деревня за деревней празднуют самую знаменитую фиесту наших крестьян: летний праздник урожая, «Сан Исидро».

Св. Рох, напротив, был не крестьянин, а средневековый паломник, который посвятил себя служению Богомольцам, заболевшим чумой, и сам заразился этим недугом. Его обычно изображают в одеянии францисканца, с чумным пятном на колене, а рядом — собака, у которой в зубах хлеб. Многочисленные эпидемии, случавшиеся в прошлом на Филиппи-

нах, объясняют ревностное поклонение св. Роху, распространившееся среди филиппинцев; оно превратило его в любимого заступника наших крестьян, на чьи поля так часто обрушиваются беды. Но можно отметить, что этот культ, сельский по преимуществу, выжил и в городах. В районе Большой Манилы, например, насчитывается не менее двенадцати церквей св. Роха; некогда они находились в сельской местности, но устояли перед нашествием города.

Видимо, самый старый и самый знаменитый из этих храмов — церковь в Билибид-Вьехо, в районе Сан-Себастьян, где некогда были загородные виллы богатых маниленос (президентский дворец Малаканьянг — одна из них) и простирались луга. Луги уже нет, но храм св. Роха остался как память об исчезнувших пастбищах. Луга и рисовые поля давно скрылись под асфальтом, а св. Рох по-прежнему хозяин улицы Блюментритт и северной части авеню Рисаля, где его новая церковь отринула сельскую безыскусность ради городской изощренности. В южной части Манилы нынешний Пасай-сити свидетельствует о сельском прошлом этого района храмами св. Исидора (сразу за Сингалонгом, между улицами Вито-Крус и Буэндиа) и св. Роха (в районе, ограниченном улицей Кули-кули и Сан-Лоренсо-вилидж).

Ни день св. Роха, ни день св. Исидора не занимают важного места в литургическом календаре церкви, однако в личной литургии филиппинского простонародья эти праздники почти столь же значительны, как Рождество и Пасха. Если поставить на голосование вопрос о том, какой святой ближе всего сердцу филиппинца, голоса сельских жителей обеспечат непреерекаемую победу святому крестьянину из Мадрида и заразившемуся чумой паломнику средневековья.

Современные культы

Новые культы и в наше время, подобно духовному тайфуну, обрушиваются на страну, и самым зрелищным из них (еще до культа Бакларана) стало пятничное паломничество в Киапо. Поклонение Черному Назарянину было сугубо местным, приходским до 20-х годов, когда маниленос все более и более стали проникаться мыслью, что пятницы в Киапо суть

важнейшая часть городской жизни, важнейшая городская достопримечательность, хотя культ разросся до колоссальных размеров только в 30-е годы.

Киапо эпохи джаза представлял собой тихий аристократический квартал недалеко от центра. Карриедо была сонной улочкой со старыми книжными лавками; в переулках вокруг церкви обреталось множество золотых и серебряных дел мастеров, ювелиров и *talleres de escultura*¹; на улице Р. Идальго жили богатейшие семейства: Патерно, Легарда, Аранста; Кинта представляла собой небольшой базарчик; а площадь Миранда была знаменита главным образом текстильными товарами на улице Вильялобоса да бакалейными *ultra mar*² на самой площади — здесь у испанских бакалейщиков запасались оливковым маслом и треской к Страстной неделе, халвой и сыром к Рождеству. Чуть подалее, на площади Гойти — в те времена сердце города, — кипела торговля и сосредоточивалось все движение. Киапо в 20-х годах был всего лишь тихим приречным городком, где проживали некоторые выдающиеся семейства.

Черный Назарейнин все повернул по-другому. К его храму устремлялись все большие толпы людей; вслед за паломниками появился крупный бизнес, он вытеснил книжные лавки с Карриедо и аристократов с Р. Идальго (школьные здания там — бывшие резиденции знати). Очаровательный мост Колганте уступил место нынешнему Кесон-бридж, Кинта разбогатела, разрослась и потеряла пристойность, а площадь Миранда стала не просто центром города, но и центром всей страны — ее сердцем, ее форумом, важнейшим перекрестком для всего народа, где с восхода до полуночи царит вавилонское столпотворение. Для сегодняшних провинциалов Киапо и есть Манила.

Культ, превративший Киапо в сердце нации, является особенно ярким примером народной веры; снобы презрительно воротят нос от чрезмерных *rapata*³ Киапо; но даже церковная иерархия оказалась не в состоянии обуздать рвение масс. В Киапо торжествует «сырая религия»: примитивная, страстная,

¹ Магазины скульптур (исп.).

² Из-за моря (исп.).

³ Обетов (тагальск.).

невежественная и непристойная. Это не утонченная воскресная религия, где все по требнику, как для высших классов, для которых Бог — это бледнолицый джентльмен. Бог Киапо столь же неукротим и дик, как стихия: это Бог смерча, Бог неопалимой купины, великого ветра и нисходящих языков пламени Пятидесятницы. Лица людей, на коленях ползущих к алтарю Бога, лица людей, тянущих за веревки колесницу Бога, отмечены жуткой печатью одержимости, дионисийского буйства; они лезут на колесницу, чтобы поцеловать сандалию Бога, а потом с экстатической самоотверженностью бросаются в толпу, топчущую под ними. Эти аспекты культа, должно быть, постарше, чем сам культ, потому что *Señor de Quiapo*¹ пришел из Мексики и, по-видимому, принес с собой мрачность и ожесточение, столь характерные для богопочитания ацтеков.

«Фанатики» Киапо все еще очень далеки от понимания религии как благих дел и духовного совершенствования общины верующих; с другой стороны, они еще способны на духовный порыв, в отличие от большинства нынешних благодетелей человечества. В своем поклонении они выходят за пределы церковного вероисповедания и обряда, приближаясь к экстазу. На их лицах невыразимая целеустремленность. Так, должно быть, выглядел Давид, когда скакал перед Ковчегом Господа; так сверкали глаза приобщавшихся к элевсинским мистериям; и такими же просветленными были лица тех, кто созерцал обряды друидов. Растущее неодобрение их наставников и конце концов может подавить непосредственность истово верующих в Киапо, даже привести их к более благонравному служению Богу, но не будет ли им прежнему грызть их сердца первобытное стремление к религии как бреду? Если Черный Господь Киапо и для них станет лишь джентльменом, то почему бы им не вернуться к великому богу Пану?

Пока Манила славилась своего ацтекского Господа, вся остальная страна в 20-е годы переживала роман с исключительно благостным святым тринадцатого века. Прижимая к себе цветы и младенца Иисуса, св. Антоний Падуанский улыбался из тысяч храмов, и его радость как нельзя лучше выражала дух десятилетия. До того он был просто святым, к ко-

¹ Сеньор Киапо (исп.).

тому зывали, ели надо было найти утерянную вещь; в 20-е годы его культ стал национальным, он превратился в покровителя старых и молодых, богатых и бедных, девиц, томящихся от любви, и беременных женщин. Его имя давали первенцам; все вторники и тринадцатое число каждого месяца стали его особыми днями; его статуя над купелью со святой водой была первым, что видел верующий при входе в любую филиппинскую церковь; и было время, когда, казалось, чуть ли не все женщины и маленькие мальчики носили его коричневую ризу с белым шнурком.

Радость, присущая этому культу, имела свои исторические корни, ибо св. Антоний был одним из первых цветков францисканства, давшего миру Джотто и умбрийскую школу живописи, Роджера Бэкона и Дунса Скота, «Песнь солнцу» и изображение рождественских ясель. В Маниле имелось великое множество мест его почитания: в Санта-Крус, Санта-Ана, Сингалонге и Сампалоке, но главное находилось в церкви св. Франциска в Интрамуресе, где по вторникам толпы многолюдством и ревностью соперничали с пятничными толпами в Киапо. Храм, разрушенный во время Освобождения, почему-то был восстановлен францисканцами не на прежнем месте, а в аристократическом Форбс-парке, где, естественно, не могли возродиться соборы по вторникам. Вместо этого люди отправляются теперь в маленькую францисканскую церквушку в Сампалоке, так что благочестивому святому с лилиями мы обязаны транспортными пробками на улице Бустильос по вторникам.

В начале 20-х годов юные барышни Манилы прослышали о французской девушке по имени Тереза Мартин, которая стала монахиней-кармелиткой в пятнадцать лет и умерла в двадцать четыре, в благоухании святости, написав перед тем автобиографию под названием «История одной души». Ее объявили *беатой* — блаженной, неминуема была и полная канонизация, причисление к лику святых. Фотографии Терезы Мартин, заполонившие Манилу, повергали благочестивых людей в изумление. Святых всегда помещали в какие-то отдаленные времена — никто и подумать не мог о святости в сегодняшнем мире. Но вот, пожалуйста: фотографии святой в современном платье, с куклой в руках, или играющей с сестрами,

или позирующей для семейного фото в викторианском стиле! Даже эстампы с ее изображением уже монахиней отличались от икон, потому что люди знали этот образ — не вымысел художника, это подлинное лицо, запечатленное при помощи современной техники.

Итак, Тереза Мартин из Лизье, известная также как Маленький Цветок, буквально потрясла утонченный мир манильских сеньорит 20-х годов. Открытки с ее изображением потеснили фотографии популярнейших Рамона Наварро и Рональда Колмана. Девушки мечтали о кармелитских монастырях и хотели умереть молодыми, в благоухании святости; и хотя лишь немногим удалось осуществить эту мечту, прочие оставили память о той эпохе тем, что давали имя святой из Лизье своим дочерям, — вот почему так много нынешних матрон носят имя Тересита. К тому времени, когда Маленький Цветок была канонизирована, в 1925 году у нее уже был культ в Маниле и два храма — церкви в Сан-Игнасио и в Сан-Себастьяне. У нас даже сложили гимн в ее честь, и его восторженные строки сейчас напоминают об аромате 20-х годов в Маниле лучше, чем старая популярная песня:

Blanca rosa del Carmelo
Florecita de Jesus...¹

Культ Маленького Цветка достиг апогея в 30-е годы, но это был культ только больших городов и образованных классов. Св. Тереза никогда — по меньшей мере на Филиппинах — не была народной святой, хотя ее изображения привычны для наших приходских церквей. Отступники называли ее «святой мелкой буржуазии», говорили, что она олицетворяет все сомнительные качества среднего класса викторианской эпохи. Сомнений нет: она проигрывает в сравнении со своей тезкой, св. Терезой из Авилы; но ведь св. Тереза сама сказала о себе, что она «маленькая душа», что путь ее «негромкий», что она подвигала не к героической святости, а к совершенствованию в вещах малых. Однажды она храбро заявила, что Богу надо позаботиться о «подъемнике» для малых душ, которым не под силу одолеть героические высоты. Как бы то ни было, очарование Маленького Цветка, похоже,

¹ Белая роза горы Кармил, Цветок Иисуса... (исп.)

не пережило тот утонченный городской мир, который погиб в войне; и хотя Тереситы среди нас все множатся, немногие девицы, носящие это имя, знают хоть что-либо о хорошенькой французской девушке, которая так волновала души их матерей и теток в 20-е и 30-е годы.

Последний великий культ, возникший на Филиппинах перед самой войной,— поклонение Богоматери Лурдской. В 30-е годы он превратил капуцинскую церковь в Интрамуресе в центр паломничества по субботам, а также в самую модную церковь для венчания. Этот же культ создал моду и в одежде: иностранцы сообщали, что последний крик моды среди филиппинских девиц — белое платье с голубым поясом. *Habito de Lourdes*¹ в те дни было чем-то вроде униформы для девочек-подростков и превзошло по популярности другие религиозные одеяния: *habito del Nazareno*² (пурпурное или сиреневое платье с желтым шнурком-подпояской) и *habito de San Jose*³ (зеленое платье с желтым шнурком; злые языки утверждали, что в таком одеянии щеголяли старые девы, охотившиеся за мужьями). Культ Лурда обогатил также филиппинский ономастикон: самыми популярными именами для девочек в 30-е годы были Тересита и Лурдес.

Послевоенные культы

Война, уничтожившая столько древних храмов, показала, какие культы благодаря своей популярности способны пережить перерыв в традиции, а каким уже не возродиться. Св. Антоний все еще на виду, св. Тереза отошла в тень — ее сменила упрямая крестьянская девушка из Мазабиеля, св. Бернадетта Лурдская, имя которой дают теперь многим филиппинским девочкам. Св. Рита из Касии, которой молятся в «самом безвыходном положении», до сих пор имеет кое-каких почитателей. Женщины в деревнях на берегах Пасига все еще истово поклоняются св. Марфе, покровительнице домохозяек, а также и тех, кто разводит уток для *балута*⁴. Св. Клара, у которой крестьяне

¹ Лурдское одеяние (*исп.*).

² Назаретское одеяние (*исп.*).

³ Одеяние св. Иосифа (*исп.*).

⁴ Балут — утиное яйцо с зародышем, филиппинский деликатес.

вымаливали хорошую погоду, приобрела более элгантных поклонниц: светские львицы теперь предлагают ей двенадцать яиц, чтобы дождь не испортил устраиваемого ими приема.

В конце 40-х годов казалось, что новый культ охватит всю страну: из Батангаса шли вести, что над древней Вилья-де-Липа идут дожди из лепестков роз; однако дожди прекратились, число паломников сократилось, и люди перестали видеть в беспокойных небесах эпохи президента Кирино фигуру Печальницы о человеках.

Потом внимание всей нации сосредоточилось на глухой рыбацкой деревне Бакларан в окрестностях Манилы, где у австралийских редемптористов был небольшой монастырь на морском берегу, посвященный Богоматери-Заступнице. Почитаемая там византийская икона была некогда знакома филиппинцам — она украшала отеческие алтари во времена испанцев. Но редемптористы с их великим рвением, терпением и потрясающим знанием тагальского языка сумели сделать этот старый культ чрезвычайно популярным, читая там по средам девять молитв кряду: после долгих лет апатии эти чтения вдруг захватили народное воображение и стали самым значительным религиозным феноменом у нас в послевоенный период. Бакларан, небольшая деревушка, превратился, подобно Киапо, в коммерческий центр и национальный символ. С шести вечера по средам народ в провинциях при помощи радио как бы совершал паломничество в бывшую рыбацкую деревушку на берегу Манильской бухты. Один американский писатель пуританского происхождения как-то уподобил культ Девы Марии могучей динамомашине, которая вызывает к жизни города и кафедральные соборы, великое искусство и бессмертную литературу. Уже в наши дни в Бакларане мы наблюдали, как работает эта динамомашина. Скромная прибрежная часовенка превратилась в величественный храм, а сонная не приметная деревушка сегодня стала, бесспорно, центром религиозного поклонения на Филиппинах.

А что после Бакларана? Есть признаки, указывающие, что культ Богородицы из Фатимы скоро приобретет общенациональные масштабы. Он уже породил народные обряды, например утренние шествия в первую субботу месяца: еще до рассвета соседи

собираются в одном из домов и оттуда в процессии несут изображение «Девы-Паломницы», распевая «Патер ностер» и «Аве Мария», в ближайшую церковь или часовню к утренней мессе. В некоторых слоях нынешний всплеск национализма породил тенденцию к утверждению племенного единства и демонстрации клановой гордости путем прославления традиционных святых покровителей: жители острова Мариндуке недавно собрались, чтобы провозгласить свое единство под хоругвью Девы Нечаянной радости; пампанганы усердно крепят племенные связи с земляками путем провозглашения в каждой пампанганской общине Девы-Исцелительницы царицей Пампанги. Даже подъем цветных народов нашел свое отражение в народных культах нашего времени. Негритянский святой, блаженный Мартин из Порреса, начал появляться у наших алтарей и даже породил в Маниле свой фольклор: он, говорят его почитатели, имеет вид таинственного темнокожего незнакомца, который иногда приходит на помощь жертвам дорожных происшествий.

Культы как средство единения

Внимательное изучение «моды на поклонение» обнаруживает, что она не столь капризна, как может показаться на первый взгляд. Да, суть дела сокрыта во мраке таинственности, но нельзя не отметить, что всякий культ, всякое почитание отвечает потребностям конкретных людей конкретного времени и места. Отвращение к жестокой, продажной, пресыщенной сексом поздней Римской империи объясняет ранние христианские культы святых, которые в ужасе бежали от мира: св. Симеон Столпник — на колонну, св. Антоний Отшельник — в пустыню. Средние века, когда жизнь людей так зависела от прихоти правителя, естественно, породили культ святых королей — св. Эдуарда Английского, св. Людовика Французского, св. Канута Датского. Наш сегодняшний мир выдает свою суть поклонением св. Иосифу — покровителю тружеников, св. Франциску Ассизскому — апостолу беспечальной демократии, св. Жанне д'Арк — поборнице национализма и феминистского движения.

Но главное назначение этих культов вовсе не в

том, чтобы только удовлетворить настоящей потребности времени, а в том, чтобы изумить сердце так, дабы оно вновь могло обрести «природную невинность». Религию может сохранить живой и спонтанной лишь чувство изумления, а способность изумляться, увы, одна из самых нестойких способностей человека. Дети и поэты — ее хранители; остальное человечество большей частью взирает на чудесный мир Божий пресыщенным взором. Сколь бы ни отзывчивым было сердце, оно стареет, оно устает. Как бы ни сильна была вера человека, он не может постоянно находиться в экстазе. И вера затвердевает, восхищение окаменевают в ритуале. Только потрясение свыше может восстановить хоть на краткий миг изумление и удивление — и в этом, быть может, и состоит основное назначение святых: они связаны с нами мистической нитью, они дают нам такое потрясение.

И вот так на протяжении всей истории возникают культы, чтобы не иссяк родник веры. Восторг, читавшийся на лицах паломников Кентербери и Компостеллы, вновь воссиял на лицах паломников Лурда и Фатимы. Мы сами видели этот восторг на лицах в толпе, собравшейся посмотреть на лепестки роз в Лилле, на воздетых к небу лицах людей, созерцающих Сеньора Киапо, несомого в процессии, на лицах паломников, собирающихся по средам в Бакларане. Восторг преобразовал мир для наших матерей и тетушек, когда в 20-х годах маленькая француженка из Лизье вошла в их жизни; а колоссальный успех в сороковых «Песни маленькой Бернадетты» — и романа, и фильма — показывает, сколь успешно другая француженка вернула зрение миру, ослепленному войной.

Глазами Терезы или Бернадетты люди хотя бы мгновение видят мир как бы впервые, и их поражает зелень земли, голубизна неба и близость Господа. И так же, как женщины меняют моды, чтобы всегда изумлять мужчин, так и Господь меняет моды на святых, чтобы святость всегда изумляла нас. Каждый новый святой — новый источник изумления, каждый новый культ возобновляет связь человеческого сердца с царством, где нет ни прошлого, ни будущего, а только вечное экстатическое настоящее, вечно длящийся момент бесконечного удивления красоте Бога.

Передать нам изумление и экстаз — в этом, возможно, смысл непонятого словосочетания в Символе Веры: Сообщество Святых.

ГЛОРИЯ ПЕРВАЯ, КОРОЛЕВА ЗЕМЛИ *

Девушка оказалась находчивой, и ее проворный язычок принес ей титул «мисс Вселенная».

Два последних вопроса, заданных претенденткам, были тестом на «очарование в затруднительных обстоятельствах». Сами по себе вопросы были несложными, но они должны были показать, умеют ли финалистки сохранять выдержку в момент напряжения. Глорию попросили перечислить ее братьев и сестер, что она и сделала — достижение немалое, особенно в такую критическую минуту: ведь ей пришлось отбарабанить *одиннадцать* имен!

Апогеем испытаний для пяти финалисток был вопрос: «Как бы вы заняли гостя, побывавшего на Луне?» Прочие претендентки сразу пошли ко дну, они не смогли придумать ничего лучшего, кроме как: «Что за вопрос!»

Но Глория тут же ответила с улыбкой:

— Точно так же, как я занимала бы любого мужчину: всем им по возвращении хочется чего-то новенького.

И поскольку она сохранила присутствие духа в ситуации, при которой ее соперницам это не удалось, Глория Диас с Филиппин попала в заголовки газет даже во время высадки на Луну. Ей, как и Теду Кеннеди, это удалось: ему — потому что он ударился в панику, ей — потому что она быстро соображала; и вот эта способность мгновенно принимать решение роднит ее с астронавтами. Они покорили Луну, она — Вселенную.

И все же запомнились ей не одни испытания и не только слава. Самые дорогие ее воспоминания о тех конкурсах, в которых она участвовала и победила, — на титул «мисс Филиппины», а затем «мисс Вселенная» — связаны с вкусной едой. Претендентки на титул «мисс Филиппины» десять дней жили в «Коллизее» Аранеты. «И единственное, чего я ждала с нетерпением, — смеется Глория, — это завтрак, обед

* © 1977 by Nick Joaquin

и ужин». Еда, великолепная еда! Потому что, когда каждый день ешь не дома, то, «знаете, еда кажется совсем другой. *Другой, очень вкусной, ужасно вкусной!* — вот так она отзывается о том, как их кормили. — Это все равно, что каждый день ходить в гости».

Она попала на конкурс «мисс Филиппины», потому что член жюри, Эльза Паюмо, заметила ее среди манекенщиц во время показа мод Джун Уоткинс в отеле «Хилтон», всего за неделю до окончательного отбора претенденток. Глория большую часть детства провела в закрытой монастырской школе (школа св. Терезы в Багио, где она жила на полном пансионе), потом вернулась в Манилу, чтобы получить аттестат (средняя школа Санта Эсколастика), и не успела оглянуться, как стала известной манекенщицей.

— Я выступала у Рене Факторы, вы, наверное, слышали о нем. Очень приятный человек. Он первый по-настоящему помог мне. Это было не так давно, в конце шестьдесят восьмого года, мне было семнадцать лет. С этого все и началось. Можно три года пробыть манекенщицей и все равно ничего не дожидаться. Но со мной все произошло очень стремительно. Показы становились все выше и выше классом, вы понимаете, и меня начали включать в самые грандиозные демонстрации мод. Потом еще выше — и вот я уже у Джун Уоткинс.

Она была одной из шести манекенщиц, которых Эльза Паюмо уговорила попытать счастья в борьбе за титул «мисс Филиппины». Вообще-то, объясняет Глория, конкурс финансировал манильский клуб «Лайонз», а что касается претенденток из провинций, то расходы брали на себя местные отделения клуба; у кандидаток же из Манилы индивидуальных спонсоров не было.

— Эльза Паюмо просто предложила мне участвовать в конкурсе, и все. Видите ли, Эльза — член исполнительного комитета. Они только подыскивают девушек, — понимаете? — и всякая, которая, на их взгляд, чем-то лучше других, получает приглашение. Не то что вы им нравитесь, что они вас знают. Я раньше никогда не встречалась с Эльзой Паюмо.

Относительно своих шансов Глория была настроена скептически, поскольку она невысокая — у нее рост всего пять футов и пять дюймов.

— Я никак не думала, что стану «мисс Филиппи-

ны», потому что почти все девушки были выше меня, а здесь, на Филиппинах, рост значит многое. В Штатах не так. Там их заботит только одно: чтобы ты была представительницей своей страны, типичной представительницей. Японки должны выглядеть очень по-японски, корейнки — очень по-корейски, а конголезка должна быть черная, как не знаю что. И если им предложить очень высокую филиппинку, пойдут вопросы: не слишком ли она высока, у вас что, все девушки такие? Ну и так далее...

Но, несмотря на все страхи, Глория решила попытаться счастья в борьбе за титул «мисс Филиппины». А дальше все закружилось, как карусель.

— Я ведь пошла не ради призов — ну что мне делать с еще одним холодильником или еще одним кондиционером, куда их ставить? Просто когда ты участвуешь в такой штуке — ну там «мисс Филиппины», «мисс Вселенная», — то думаешь не о призах, хотя люди считают, что тебе только это и нужно, да еще деньги. Вы знаете, меня без конца спрашивают, что я буду делать с норковым манто...

А что она будет делать с норковым манто?

— Буду носить его, когда поеду в холодные страны.

«Мисс Филиппины» был первым конкурсом красоты, в котором участвовала Глория, и на нее большое впечатление произвела умелая организация («Обеды восхитительные!») — там все шло как по расписанию.

— Я в жизни не видела такой четкой работы. Все шло как надо. Это я могу сказать со знанием дела — мне-то известно, как *надо*, а как *не надо*. Когда я начинала, помню, кое-кто поговаривал, будто нужна протекция. Это неправда. Члены жюри лично с тобой не имеют никаких дел. Я ни с одним из судей не была знакома. Как человек ты для них вообще никто. Они видят в тебе только претендентку на титул «мисс Филиппины» — и больше ничего. Никаких интриг или махинаций на конкурсах красоты нет в помине.

Столь же беспристрастной была и Стелла Маркес Аранета, устроительница конкурса.

— Миссис Аранета не имеет никакого отношения ни к отбору претенденток, ни к членам жюри. Она просто менеджер, она печется о девушках. А все девушки как бы заранее признаны одинаково хорошень-

кими и умненькими. И вот, предположим, миссис Аранета скажет тебе «хэлло» или поговорит с тобой лишнюю минутку. Другие девушки сразу подумают: ага, тут что-то не так, *эта* уже в любимицах... Вот почему миссис Аранета никогда и не пыталась разговаривать с нами по отдельности, она всегда обращалась к нам как к группе.

Десять дней в «Колизее» были великолепны.

— Миссис Аранета была очень мила. И все девушки тоже. Никаких проблем. Кормили очень вкусно, это так не похоже на то, что ешь дома или с друзьями каждый день.

Глория считает, что у нее было преимущество перед претендентками из провинции: она ведь у себя дома, ей тут все привычно, а им труднее держаться естественно перед незнакомыми людьми.

— Мне легче было говорить, легче выразить себя, да и члены жюри меня понимали лучше.

Интервью были довольно «неуютными», потому что члены жюри сидели в ряд, а претендентки стояли перед ними в купальниках. Тут нужна особая выдержка, чтобы вести себя раскованно, не показать, что нервничаешь, хотя и стоишь, как обвиняемый перед судом, да еще без одежды.

Глория эпохи пост-Майами может сравнить судейство здесь и за границей.

— Видите ли, на Филиппинах судят преимущественно по физическим данным. Пожалуй, процентов шестьдесят зависит от физических данных, и процентов сорок — от личных качеств. В Майами все наоборот: там, я думаю, процентов шестьдесят — ты как личность, и процентов сорок — физические данные. Во-первых, там ведь и так все девушки, каждая по-своему, очень красивы: например, у швейцарок белокурые волосы, голубые глаза, прямые носы... конголезки очень темные, с курчавыми волосами, большими глазами и красивыми лбами — так что судьям невозможно сосредоточиться только на физических данных.

Поэтому главное внимание там обращают на обаятельность, на то, как девушки умеют подать себя, а не на то, что подается.

— Я думаю, — говорит Глория, — на всяком конкурсе красоты главное — быть естественной и раскованной.

В конкурсе на титул «мисс Филиппины» у Глории были минуты, когда ей пришлось понервничать.

— Во время первого теста мы все волновались, потому что не знали, какие вопросы будут задавать: о Марсе, о полете на Луну или еще о чем-нибудь в таком роде. И еще мы думали, что будут спрашивать по филиппинской истории. А нам задавали простые вопросы, но очень неожиданные.

Их не просили спеть, не просили читать и демонстрировать свои таланты.

— Они просто разговаривали с нами. Обыкновенная беседа. Особенно во втором туре все было очень мило. Кстати, в каждом туре члены жюри меняются.

К финалу — он проходил на сцене «Колизея» — Глория разобралась, что к чему.

— Было, конечно, немного не по себе, но я уже не тряслась. Молилась — да. Молилась Богу, чтобы войти в число хотя бы пятнадцати лучших, а вошла не только в первые пятнадцать, не только в пятерку лучших — я заняла первое место! Знаете, это так прекрасно, что просто не верится!

Когда ее провозгласили «мисс Филиппины», она была слишком ошеломлена, чтобы хоть как-то отреагировать.

— Я не из тех, кто ударяется в слезы. Я просто слова не могла вымолвить. Если со мной случается что-то из ряда вон выходящее, я теряю дар речи — мне сперва надо в это поверить.

А поддержать было некому. («Отец с матерью мирно спали дома».) Правда, большинство ее братьев и сестер находились в зале, и всякий раз, когда она появлялась на сцене и что-то говорила, крики «Глори!» напоминали ей, что родственники рядом.

— Я знала, что это *они*.

Но и потом, когда на нее уже возложили корону и великая ночь ее торжества осталась позади, она еще долго не могла попасть домой.

— Миссис Аранета устроила прием в мою честь, в честь четырех финалисток и членов жюри. Нет, танцев не было, просто небольшой ужин у нее дома. И только после этого я отправилась домой. Все, конечно, не спали, все были возбуждены, особенно сестры. Отец молчал, сказал только: «Повезло». Мама сказала: «Смотри, не заносись». Братья и сестры дразнили меня: «О-о-о! Мисс Филиппины!» (Сейчас,

когда я стала «мисс Вселенная», опять то же самое. Они все меня дразнят: «О-о-о! Мисс Вселенная!».) В ту ночь я долго не могла уснуть, но если очень устанешь, в конце концов засыпаешь, как бы ни была возбуждена.

Потом начались спешные приготовления к Майами, где проходят конкурсы на титул «мисс Вселенная».

— Все закрутилось. На подготовку у нас было недели две. Все время на ногах. Ни минуты отдыха. Постоянно наготове, вечно куда-то надо бежать.

Это было ее первое путешествие за границу. Отец, Джимми Диас, глава фирмы по импорту полиграфического оборудования, был спокоен: «Я приучал своих детей к самостоятельности». Мама Диас, прощаясь, предупредила: «Следи за словами. Думай, что говоришь». Провожая дочь, Джимми Диас, страстный поклонник гольфа, напутствовал ее первым советом игроков в гольф: «Расслабься».

Ей в спутницы дали официальную дуэнью, ее тезку: журналистку Глорию Голóй.

— Без нее, — говорит «мисс Вселенная», — я потеряла бы весь свой багаж.

Двухдневная остановка в Лос-Анджелесе. И город, и образ жизни американцев понравились восемнадцатилетней Глории Диас. «Мне нравится, что у них все так просто».

При этом — внимание: «Особенно когда ты приезжаешь как представитель своей страны. Они для тебя сделают все — только пальцами щелкни».

Из Лос-Анджелеса они вылетели в Майами, на встречу со Вселенной.

Глори, Глори, аллилуйя!

То, что происходило в Майами, можно назвать как угодно, но только не балом. В аэропорту ее встречали члены Филиппино-американской ассоциации с цветами для «мисс Филиппины». Ее избрали почетным членом Ассоциации. Красавицы со всего мира обосновались в отеле «Монте-Карло» («Знаете, очень приятный отель»), и Глория делила номер с «мисс Новая Зеландия» — рыжей красавицей и «очень милой девушкой».

Все десять дней конкурса некогда было свободно вздохнуть.

— Каждый день репетиции. Очень утомительно. Все время куда-то спешишь. Но всегда очень вкусный обед и ужин.

Там, в «Монте-Карло», ее в первый день спросили, что она хотела бы на завтрак, и она сказала: гамбургер с сыром. «На завтрак?» — в ужасе воскликнули претендентки. Глория не понимает, почему из-за гамбургера поднялся такой шум.

— Что здесь такого? Ведь дома я ем за завтраком все: мясной пирог, гамбургер с сыром, бифштекс — все, что мне хочется. Даже свиные ножки.

Ее платья — повседневные, работы Питоя Морено — вызвали интерес.

— Они там очень понравились — особенно платья из наших тканей. Мы постоянно были на глазах у публики, но одевались просто. Можно было разгуливать в шортах, даже в купальном костюме; правда, никто так не ходил, потому что в зале очень холодно, работает кондиционер, а мы все время были в помещении — и все время репетировали.

И все время к ним присматривались, их оценивали и взвешивали члены жюри.

— Сейчас на мне больше косметики, чем тогда. Собственно, мы тогда вообще не красились, потому что члены жюри хотели видеть нас, как мы есть. Я что хочу сказать: косметикой можно себя превратить в кого угодно — хоть в Мэрилин Монро, хоть в Элизабет Тейлор; когда косметики много — это не сложно. Но ведь это будет искусственное лицо, не твое. А мы были такими, какие на самом деле, какие всегда.

В конкурсе принимали участие красавицы из шестидесяти одной страны.

— Все они очень славные, но, по правде сказать, у нас не было времени лучше познакомиться друг с другом, потому что все время надо было существовать для публики, а не для себя.

Тем не менее «мисс Тунис» и «мисс Израиль» вызвали сенсацию, поселившись вместе, хотя арабы воюют с израильтянами. Глория считает, что все будущие войны должны ограничиться конкурсами красоты.

Впервые она появилась перед американской пуб-

ликой в параде красавиц, начавшемся после полудня и затянувшимся до темноты.

— Там были только четыре движущихся платформы, а у меня, кстати, своя собственная. Мне ее предоставила Филиппино-американская ассоциация. Вся в траве, с кокосовой пальмой и прочими филиппинскими атрибутами. Я сидела на высоком стуле. На мне была тройка телесного цвета, с бусами. Знаете, американцам очень понравилось.

Второй большой успех — выход в купальных костюмах, в зале Джеки Глисона.

— Претенденток шестьдесят одна, а надо было избрать десять лучших. Мы дефилировали в одинаковых костюмах, но разных цветов. На мне был зеленый, цвета авокадо. Меня выбрали в первую десятку, и я была очень счастлива — ведь по возвращении домой я уже могла сказать, что кое-чего добилась, хотя от парада купальных костюмов до выступлений финалисток еще очень далеко.

Отбор шел все время.

— Мы не знали даже, кто члены жюри. Во время репетиций они в зале, среди публики; во время обеда или перерывов на кофе их тоже не заметишь, хотя они все время наблюдают за девушками. Ты можешь разговаривать с членом жюри, даже не подозревая об этом, ведь в зале так много всяких людей...

Личные интервью с членами жюри ничем не напоминали допрос инквизиции. Ни одна девушка не предстала перед жюри в одиночестве. Произвольно отбирали группы по пятнадцать человек и интервьюировали их вместе. Девушки сидели, а члены жюри ходили по комнате, останавливаясь, чтобы перекинуться словом то с одной, то с другой — совершенно произвольно.

— Нам задавали самые разнообразные вопросы. Продолжительность интервью зависела от того, нравится им говорить с тобой или нет. Разница конкурсов «мисс Филиппины» и «мисс Вселенная» в том, что у нас в Маниле члены жюри сидят, а мы проходим перед ними одна за другой в купальных костюмах. Напряжение страшное. А на конкурсе «мисс Вселенная» просто сидишь, и обстановка совершенно непригодная, вот как наш с вами разговор.

Пришла великая ночь — суббота, 19 июля. Глория и надеяться не смела выйти в финал, поскольку сре-

ди всех этих величественных красавиц она ощущала себя «такой маленькой, такой незначительной». Хотя, возможно, она как раз потому и выделялась, что остальные все были как-то одинаково величественны. Наверное, приятно было обнаружить претендентку, о которой можно сказать, что она *не еще одно* изваяние, а просто умненькая, веселенькая, находчивая и обаятельная девушка.

— Великолепная ночь! — восклицает Глория. — Нас вывели всех, и мы пели хором «В ночь чудесную, такую, как сегодня...», стоя в глубине сцены, все шестьдесят одна, а потом были названы пятнадцать полуфиналисток — их отобрали во время интервью. Волновались ужасно: ведь если ты не попала в число пятнадцати, то вперед уже не выйдешь, так и останешься сзади. И всякий раз, когда называли имя, нам аплодировали. Меня назвали четвертой... Мы все пятнадцать прошли за кулисы и переоделись в купальники. Сцена переменилась: теперь там в глубине был фонтан с цветной подсветкой, под потолком плавали воздушные шарик, и еще там был мост через сцену — ну, не мост, а такая труба или тоннель, прозрачный, сделанный из стекла. Нас вызывали одну за другой, мы выходили в купальных костюмах, нам задавали вопросы. Меня попросили назвать братьев и сестер.

Ее уверенность в себе была очаровательна. Она даже спросила: называть по алфавиту или по старшинству? Запнулась только раз, когда надо было назвать сестру Аврору, но и эта короткая заминка пошла ей на пользу. Уже по аплодисментам можно было сказать, что она станет финалисткой.

И стала — наряду с «мисс Финляндией», «мисс Австрией», «мисс Израиль» и «мисс Японией».

— Каждую из нас поместили в цилиндр — ну, вроде телефонной будки, только звуконепроницаемой. Ни один звук снаружи не доносится. Нам по очереди задавали один и тот же вопрос: «Как бы вы заняли гостя, вернувшегося с Луны?» Не думаю, что я ответила так уж удачно. Потом мы снова выстроились в ряд, а девушки в глубине сцены снова пели, и тут члены жюри передали свое решение ведущему, а тот начал называть имена: сначала тех, кто не стал королевой, но занял почетные места — четвертое, третье, второе, первое.

И лишь затем ее имя: Глория Диас, «мисс Вселенная»!

— Я не поверила своим ушам. То есть, я хочу сказать — это было слишком. Невозможно! Кажется, я даже не взвизгнула. Потом мне никто не говорил, что я визжала. Только в горле пересохло, а на глазах выступили слезы — мне еще пришлось откинуть голову назад, чтобы они не выкатились. Я была совершенно потрясена, но не плакала. Потом на меня возложили корону, и все эти репортеры стали задавать вопросы сразу на всех языках.

Она сказала им: «Это так хорошо для моей страны, это изменит всю мою жизнь. Никогда я не была так счастлива и, думаю, уже не буду. Как мне хотелось, чтобы моя семья была здесь! Я очень хочу домой, потому что мне надо поделиться радостью с моим народом».

Спасшись от журналистов, она попыталась позвонить домой, но все линии на Филиппины были заняты. В тот вечер давали ужин в ее честь и в честь других красавиц, были танцы.

— Я не танцевала и вообще рано вернулась в отель, потому что все понимали, что я очень устала. С семьей мне удалось связаться только на следующее утро. Папа сказал: «Ты смотри, сумела!» Насколько я поняла, им звонило множество людей, их поздравляли, слали телеграммы.

Сама же Глория в это время наслаждалась первым из всех призов, которые она получила как «мисс Вселенная», и он доставил ей истинное наслаждение: это был завтрак в постели. Но как можно наслаждаться, когда вокруг постели толпятся репортеры, вспыхивают блицы, журналисты норовят просто оттащить тебя на пляж, чтобы сделать снимки в купальнике.

— В Майами я пробыла еще три дня, и все то же самое: пресса, пресса, все время пресса. В субботу — это когда астронавты высадились на Луне — был коронационный бал. У меня не было кавалера, и я танцевала большей частью с президентами и губернаторами штатов. На мне была корона — она такая тяжелая, что время от времени приходилось ее снимать.

Потом она вылетела в Гонолулу — там ее встретил отец, спасший дочь от любимого вопроса газетчиков.

— Потому что, представляете, репортеры только и спрашивали: какого цвета платья вам нравятся, какой ваш любимый цвет, какое у вас хобби и — с кем у вас будет первое свидание? Понятия не имею, отвечала я. С первым, кто пригласит. И знаете, кто это был? Мой папа — он прилетел в Гонолулу и повез меня по городу.

В самом деле?

— Ну да! Мы поехали по магазинам. — Глория делает гримасу. — Мне все уши прожужжали, что там можно купить хорошие купальные костюмы. А тут — *наку!*¹ — мы ходили из магазина в магазин, искали купальник, и я не нашла ничего подходящего!

А как себя чувствует мистер Диас, ставший отцом «мисс Вселенной»?

— Никак, — говорит мистер Диас. — Только устал напоминать ей о ею же назначенных встречах.

Слава, слава, осанна!

Глория вернулась домой в среду на прошлой неделе, и ей был оказан триумфальный прием. Встречали мэры Макати, Кесон-Сити и Параньяке, где живет семья Диасов. Восседающая на троне в открытой машине, с короной на голове и костюме-тройке от Эрни Арандиа, она проехала через Бакларан и вниз по бульвару, где напротив «Шератона» кавалькада остановилась, и в машину к Глории поднялся вице-президент Лопес — поздравить вторую филиппинку, завоевавшую корону на международном конкурсе красоты.

Вдоль пути следования люди ждали с самого утра. Они тысячами толпились на бульваре и на площади Лунета, заполнили проезд к зданию Конгресса, бежали рядом с машиной по площади Лоутона, с воплями и криками сопровождали ее по мосту Джонса и напрочь заблокировали Эскольту, где конфетти и серпантин дождем хлынули на кортеж. Машина Глории дюйм за дюймом продвигалась вперед, останавливалась, снова двигалась, опять застревала — казалось, теперь уже навсегда, — тогда машину начали толкать галантные поклонники, и толкали до самого дворца — в знак преклонения перед девушкой, принесшей стране такую славу.

¹ Мамочка! (тагальск.)

— О, это было великолепно,— рассказывает о возвращении Глория.— Никогда в жизни не видела столько филиппинцев, представляете? Я знала, что будет толпа, но чтобы такая...

А она была *такая*, что триумфальный путь Глории ко дворцу занял пять часов — с восьми утра до часу дня.

Во дворце ее приветствовала первая леди. «Мы все гордимся вами»,— сказала миссис Маркос и преподнесла Глории переплетенный альбом газетных вырезок «о мисс Вселенной».

— С президентом я разговаривала совсем недолго,— продолжает Глория.— Он был очень занят, к тому же там было так много народу. Он уделил мне всего несколько минут. Я сказала: благодарю за теплый прием. А потом меня отвели в столовую — я призналась, что страшно голодна. Я ведь не завтракала и не обедала. Мы должны были ехать на обед в «Хилтон», но меня уговорили перекусить. Госпожа Маркос дала великолепный огромный банан, и еще я съела манго. В газетах писали, что у меня были какие-то секреты с миссис Маркос, но это не так. Люди ждали снаружи и, наверное, думали, чем это мы там занимаемся, а мы всего лишь ели бананы, представляете?

В конце концов она попала домой, но и там не могла укрыться от толпы. Возле дома Диасов в Параньяке тоже было множество встречающих. Она обещала самой себе день хорошего отдыха — может, понежиться на пляже в Баванге, где у них есть пляжный домик. Но на следующий день, когда они прилетели в Ла-Уньон, родную провинцию ее отца, все, начиная с губернатора, были в аэропорту, и опять они пробивались через ликующие толпы, которые приветствовали прекраснейшую дочь Илокандии. Она возложила венок к памятнику Рисалю, в муниципалитете ей вручили ключи от провинции, потом она на короткое время заехала к родственникам, в дом дяди, поцеловать бабушку. А там снова в путь, в Арингай, родной город отца, где продолжались приветствия. До Баванга добрались уже после четырех, и снова восторженная встреча (обед — только после всего этого!).

Понежиться на пляже... Ха!

А 7 августа ее снова ждали в Майами — надо бы-

ло отправляться в путешествие по множеству стран. Начиная с Бразилии.

Короткая неделя дома показала, насколько изменилась ее жизнь. Она любит танцевать, но какие уж теперь танцы. Волынщик, которому платят за музыку, не играет для собственного удовольствия.

— Прежде я никогда не упускала случая потанцевать, теперь это выпадает редко, потому что мы вечно спешим на какие-то торжественные обеды, где не бывает оркестров. Все очень официально, и танцевать приходится только с президентами и высокопоставленными лицами.

Она, привыкшая висеть на телефоне, только сейчас, во время пребывания дома, поняла, какое это счастье — услышать: «О Боже, у нас испортился телефон!»

Даже дома не все как прежде.

— Я переделала свою комнату, поставила новую мебель, очень элегантную. А в остальном все по-старому. И для своих никакая я не «мисс Вселенная», хотя юни-то это чувствуют больше, чем я.

Прощай — на время? — сладкая праздность юности.

— Очень часто приходится себя переламывать, личного времени нет — разве что в ванной. Только причешешься — и начинается гонка! Вечная спешка!

Что будет, когда кончится ее королевский год, этого она пока не знает.

— Может, пойду учиться, но не обязательно в колледже; надо бы сосредоточиться на чем-то одном. По-немногу обо всем — не мой принцип, я предпочитаю знать все о чем-то одном.

Представление о том, каким будет этот год ее царствования, у нее есть.

— Вы понимаете, когда ты — «мисс Вселенная», все о тебе заботятся, все идут тебе навстречу. Но зато мало контактов с людьми твоего возраста, твоих устремлений. Одни президенты, официальные лица — люди разные, но все старые, и все такие выдающиеся. Конечно, льстит, но это не так уж интересно.

Вот память останется на долгие годы, а это интересно.

— Везде принимают по высшему разряду. Афиши, люди заглядывают в машину, чтобы взглянуть на тебя, всюду фотографируют. На машине написано:

«мисс Вселенная» — поэтому все пропускают. Правда, награды и приемы когда-нибудь кончатся. Но вспомнить будет приятно: когда-то с тобой обращались, как со знаменитостью. Нет, это, конечно, доставляет удовольствие. Я даже в старости буду вспоминать об этом. Понимаете, когда ты за границей, о тебе не думают как о девушке, выигравшей приз в десять тысяч долларов, или норковое манто, или еще что-нибудь в этом роде. Думают о стране, откуда ты родом, так что слава достается родине. Все говорят о Филиппинах, не о «мисс Вселенной».

Итак, год ее царствования не будет просто годом отбывания повинности, это будет «сочетание полезного с приятным». Корона тяжела, но иногда ее можно снять, и тогда мисс Вселенная сможет осуществить мечту юной Глории Диас: у нее есть ковер-самолет, на котором можно летать в далекие чудесные места, в любой уголок мира, даже Вселенной.

А это, как вы понимаете, совсем неплохо.

БРАТ МАНАЛО ИЗ ИГЛЕСИИ *

Брат Манало — так его называет эта церковь, никогда не именуя епископом, — в феврале почувствовал, что и он смертен. В прошлом году у него уже были слабые боли в животе, но медицинское освидетельствование в августе не обнаружило никаких нарушений. А в феврале эти боли усилились, возникли трудности с опорожнением кишечника.

Его еще раз обследовали в больнице св. Луки — рентгеновские снимки показали инфильтрат и кишечную непроходимость. Рекомендовали операцию. Но перед операцией нужно очистить пищеварительный тракт; а поскольку сам он этого сделать не мог, было предложено применить сложные приспособления и вывести содержимое желудка через нос. Старик отверг саму идею и вернулся домой.

Боли не стихали, но он не велел посылать за врачами. Домашним сказал: «Вылечить можно живого, умирающего уже не излечишь».

Он продолжал работать, вставал в обычное время — в три утра, готовил тексты ежедневных богослужений для своей церкви. У него была цель: уни-

* © 1977 by Nick Joaquin

фицировать службу; и уж по меньшей мере для Лусона это оказалось возможным: каждая община Иглесии еженедельно отправляла одно и то же богослужение, слово в слово. Часовни в далеких южных районах, особенно на Минданао, случалось, отставали от Лусона месяца на три, но рано или поздно все общины Иглесии по всей стране отправляли службу по чину, составленному и предписанному братом Манало.

Во время последней болезни он дал Эраньо, своему сыну и преемнику, доверительные советы и сообщил все необходимые сведения, предусмотрев все, что нужно, для мирного наследования высшего поста в Иглесии, который сам он занимал пять десятилетий. Порядок преемства был определен на совещании провинциальных иерархов Иглесии в 1955 году, когда Эраньо Манало избрали преемником отца в качестве главы церкви. Он сразу же начал готовить себя к этому сану, став коадьютором при отце. Следующими в линии преемства были названы Теофило К. Рамос, генеральный секретарь Иглесии, и Сиприано П. Сандоваль, настоятель первого храма в Сан-Хуане.

Также во время болезни, еще до операции, брат Манало, если верить Эраньо и генеральному секретарю Рамосу, предсказал день собственной смерти. Свидетельство Рамоса: «Однажды, когда он особенно мучился, он нам сказал: в двенадцать я крепко усну и больше не буду чувствовать боли». Рамос понял его в том смысле, что до полуночи он спать не ляжет. А вот слова Эраньо: «Он велел нам запомнить два числа: 12 и 27». И, как утверждает сын, умер 12 апреля ночью, без двадцати пяти три, когда стрелки часов стояли на цифрах «два» и «семь».

В середине марта состояние Манало ухудшилось. Призвали специалиста, доктора Педро Рейеса-младшего. Рейес сказал, что операцию можно сделать и без очищения пищеварительного тракта, против чего так возражал пациент. Брата Манало привезли в военный госпиталь В. Луна и поместили в палату, предназначенную для лиц государственной важности.

Операцию сделали в день поступления в госпиталь; инфильтрат в кишечнике был удален успешно. Через шесть дней он уже вставал и разъезжал по всему госпиталю в инвалидной коляске. Однако по-

сещавшим его говорил: «Как же так — значит, опять меня будут резать?» Его убеждали, что операция прошла успешно. «Нет, — настаивал он, — им придется все делать заново».

Через неделю боль в животе возобновилась. Рентген показал, что швы в кишечнике расходятся, раны кровоточат. Возраст и диабет ослабили сопротивляемость организма.

2 апреля сделали повторную операцию: наложили новые швы, чтобы остановить кровотечение. После второй операции брат Манало впал в состояние, близкое к коматозному. Жизнь поддерживали при помощи глюкозы и искусственного питания, вводимого через зонд в отверстие на брюшной стенке. Зонд показывал, что швы не заживают.

На консилиуме, куда был приглашен еще один специалист, решили сделать третью операцию. Пациента привезли в операционную 9 апреля; кровотечение удалось остановить. Но после третьей операции брат Манало уже пребывал в полубессознательном состоянии. 11 апреля он впал в глубокий сон. Регулярные проверки пульса показывали, что он слабеет. Однако ни агонии, ни предсмертных мук не было. Просто брат Манало так и не пробудился ото сна. Утром 12 апреля, в Великую пятницу, в 2.35 пульс замер.

В возрасте семидесяти семи лет умер организатор (его церковь возражает против слова «основатель») Иглесии-ни-Кристо — Церкви Христа на Филиппинах, умер через полвека после того, как впервые провозгласил свою благую весть на островке на реке Пасиг.

Политическая сила

Можно сказать, что епископом Феликса Манало сделал Кесон. Как всегда проницательный, Кесон почувствовал растущую мощь Иглесии, сошелся близко с ее главой, начал называть его епископом, и титул прижился. Лесть Кесона имела целью не просто завоевать благорасположение Иглесии — президент поддерживал и поощрял всех противников римско-католического господства на Филиппинах, особенно таких доморощенных конкурентов, как Иглесия и англи-

паянство¹. Даже снова вернувшись к вере, он — а с ним и Осменя — демонстративно прислуживал во время месс епископу Аглипаю. Называя Манало епископом и оказывая ему соответствующие почести, Кесон поднял ничем не примечательную секту до ранга национального института.

Ирония в том, что Кесон дважды подумал бы, прежде чем превозносить Иглесию, если бы знал, что она приобретает такую политическую силу в ущерб его собственной партии, — поскольку именно Иглесия больше всего досаждала националистам в эпоху Освобождения: для Иглесии то был период гонений, век мучеников.

До войны Иглесия имела лишь незначительное влияние на политику, но послевоенные гонения превратили ее возмущенную паству в опромную силу. Заключив союз с Рохасом против националистов, она подвергалась преследованиям и нападкам. Члены Иглесии не допускались в места регистрации избирателей, им не давали голосовать. Им угрожали, их терроризировали, их убивали. Как ни горько писать об этом, самым свирепым гонителем Иглесии стало другое братство бедных людей — хуки, Народная антияпонская армия Хукбалахап. На центральных равнинах выборы 1946 года оборачивались грабежом общин Иглесии хуками — бедные терзали бедных.

Было бы соблазнительно провозгласить Иглесию первой церковью, преследуемой из-за политики: но нельзя забывать, что большинство так называемых религиозных гонений являлись, как свидетельствует история, по существу политическими преследованиями — вспомним хотя бы многочисленные случаи резни во времена Реформации. Ранних христиан преследовали в Риме не за то, что они верили в Христа или в Единого Бога, а за то, что они угрожали империи цезарей. На самом деле убийства во имя Бога нечасты; как правило, этот лишь так считается, в действительности же убивают во имя цезаря.

Выборы 1946 года превратили в мучеников многих приверженцев Иглесии, и на крови этих мучеников возшла политическая сила, которая так беспокоит мыслящих филиппинцев в наши дни. Потому что пре-

¹ Аглипаянская или Независимая филиппинская церковь основана Грегорио Аглипаем в 1902 г.; близка по обрядам и доктрине к католицизму, но не признает власть римского папы.

следования не запугали и не раскололи Иглесию — они сплотили ее в единое целое, а ее члены преисполнились еще большей, чем до гонений, решимости выразить себя политически. Их успехи — или то, что считается их успехами, — как блока людей, голосующих по приказу, создали им весомый престиж, и им это понравилось (кто упрекнет их?): они хотят продолжать в том же духе, хотят увеличивать свою предполагаемую власть над президентами, сенаторами, конгрессменами, мэрами, губернаторами и армией.

После гонений 1946 года Иглесия осознала, что ее боятся. Гонения действительно способствовали ее превращению в реальную политическую силу, а это ей было необходимо хотя бы для того, чтобы защищаться, чтобы уцелеть. Но поняв, что от нее многое зависит на выборах, она начала употреблять свою власть все с большим и большим азартом. Действие вызвало противодействие, и оно надолго пережило породившую его причину.

Главная привлекательность Иглесии для политиков состоит в том, что ее члены голосуют одинаково, — чего не скрывают официальные лица Иглесии. Но следующее утверждение: что ее голоса способны предрешить исход выборов, — все же сомнительно. Иглесия утверждает, что у нее три с половиной миллиона членов; цифра, которую приводит последняя перепись, — всего 270 104. Хотя генеральный секретарь Иглесии говорит, что эта цифра не выдерживает критики: «К примеру, в нашем приходе в Сан-Хуане ни один человек не был опрошен счетчиками — так как же нам верить данным переписи?»

Есть, впрочем, указания на то, что голос Иглесии имеет решающее значение только на местных выборах, где разница в числе поданных голосов обычно невелика. Таким образом, возможности Иглесии наиболее значительны при выборах конгрессменов и мэров. Но через этих мэров и конгрессменов Иглесия может влиять и на общенациональные выборы, поскольку она буквально вынуждает своих мэров и конгрессменов действовать в пользу ее кандидатов на посты общегосударственной значимости.

Впрочем, успехи Иглесии в общенациональных выборах не поддаются проверке. Она вправе считать, что три победителя в президентской гонке были и ее

ставленниками: Рохас, Магсайсай и Гарсия; но ведь она же поддерживала и Авелино против Кирино, и Гарсию против Макапагала, а победы они не добились. Одна из заслуг Макапагала состоит в том, что он доказал: кандидат на пост президента может победить и без благословения Иглесии. На выборах в Маниле в 1961 году победу конгрессмена Росеса и над либералами, и над блоком Лаксона приписывали поддержке Иглесии; Серхинг Осменья, хотя он и не прошел на пост вице-президента, все же собрал много голосов как независимый кандидат, и это тоже считается свидетельством мощи Иглесии. Более того, если верить секретарю Иглесии Рамосу, шесть победителей на выборах в сенат в 1961 году и все победители 1957 года пользовались поддержкой Иглесии.

Поскольку ее приверженцы голосуют так, как им укажут, и поскольку Иглесия строго следит за своими людьми при помощи явных и тайных соглядатаев, созданся имидж Иглесии как некоей полицейской структуры. Соглядатаи, не исключено, являются пережитком эпохи гонений, но Иглесия оправдывает голосование по указке библейским текстом — словами Первого послания к Коринфянам, которое гласит: *«Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях».*

И вот, дабы политика не разъединяла церковь, церковь голосует как один человек.

Для того чтобы кандидаты на местных выборах получили поддержку Иглесии, они должны быть рекомендованы провинциальными иерархами Иглесии центральному церковному управлению в Сан-Хуане, которое проверяет кандидатуры, делает окончательный выбор, а потом направляет циркуляры, сообщающие пастве на местах, какой именно кандидат одобрен церковью. Эти циркуляры, говорит секретарь Рамос, не только поддерживают единство, но и помогают каждому взрослому члену Иглесии осуществить свое право на голосование — хотя всякий недоброжелатель может возразить, что никакое право тут не осуществляется, поскольку индивидуальное решение становится ненужным. Но эти тонкости вовсе не беспокоят наших политиканов, судя по тому, сколь

многие из них совершают паломничество в штаб-квартиру Иглесии в день рождения ее первоиерарха, а также во время выборных кампаний. Впрочем, тут есть надежда, что по мере роста церкви ее политическое влияние будет не увеличиваться, а уменьшаться, особенно если ее приверженцы будут вербоваться не только из трудящихся масс и Иглесия поднимется выше по социальной лестнице. Многочисленных и сознательно мыслящих приверженцев контролировать будет труднее, чем небольшую паству.

В 1914 году, когда возникла Иглесия, ее представлял всего лишь один человек, одержимый апокалиптическими видениями. За несколько месяцев этот человек обратил свои видения в братство, насчитывавшее около восьмидесяти адептов. И небольшое стадо пасомых на Исла-де-Пунта в Санта-Ана сегодня превратилось в крупнейшую из малых церквей нашей страны.

Апокалиптическая сила

Видение, захватившее воображение молодого Феликса Манало, имеет своим истоком два стиха из седьмой главы Откровения Иоанна Богослова: *«И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать Бога живого. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым дано вредить земле и морю, говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревьям, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего».*

Близилась первая мировая война, и Манало узрел в ней исполнение апокалиптического пророчества: четыре ангела будут вредить миру, но сначала иной ангел «с востока» запечатает печатью всех тех, кто был спасен первым ангелом с востока — Христом. Церкви, основанной Христом, еще только предстояло подняться: 1914 год — это дата, «определенная пророчеством как начало Церкви Христа на Филиппинах».

И вот в ночь на 10 марта 1914 года в доме своего друга на островке Пунта Феликс Манало начал проповедь «церкви, основанной Христом, но которая до сих пор не поднялась». Было ему тогда двадцать восемь лет. Каждую ночь он проповедовал на Пунте, и через три месяца у него было около восьмидесяти

уверовавших. Так началась Иглесия-ни-Кристо — Церковь Христа.

Церковь и ее пророк были типичным продуктом апокалиптического периода нашей истории, девятисотых годов, когда мы впервые сами отведали крепчайшего вина Библии и опьянели от ее тайн. Это было время пророков, откровений, поиска новых верований, массовых обращений. Многие из порвавших с прежней церковью и ушедшие к протестантам отходили и от них, чтобы основать свои церкви, потому что всяк вычитывал свое из библейских откровений. Уже в 1902 году от американских методистов откололась филиппинская группа, которая основала Церковь евангелических методистов на Филиппинах. В том же году на собрании одного из профессиональных союзов была учреждена Независимая церковь, ставшая сообществом аглипаянцев. Путь Феликса Манало хорошо отражает религиозное брожение девятисотых годов.

Он родился 10 мая 1886 года в городе Тагиг (провинция Рисаль) в семье состоятельных землевладельцев. Его отец был солдатом колониальной армии, мать занималась предпринимательством. Со всем юным он ушел из дома, когда его овдовевшая мать снова вышла замуж; его воспитал дядя, приходский священник в Санта-Крус, Манила, давший ему образование. Когда американцы пришли на Филиппины, Феликсу было двенадцать лет.

Дядя-священник приютил еще одного молодого человека, который зарабатывал на жизнь фотографией. Однажды заказчик забыл у них дома какой-то сверток. Молодые люди развернули его — там была Библия. Они сразу поняли, что это Библия, поскольку дядя предостерегал их против большой книги в черном переплете с красным обрезом. «Если увидите эту книгу, — говорил он, — *layuan at sa diablo iyan*»¹. Но обоим молодым людям было интересно узнать, что же там «от дьявола». Ничего ужасного или непристойного они в ней не нашли. Когда сравнили с собственной Библией священника, тоже не обнаружили между двумя книгами никакой особой разницы, кроме того, что одна была католической, другая — протестантской.

Вот с этого, вспоминал позднее Феликс Манало,

¹ Держитесь от нее подальше, она от дьявола (тагальск.).

и начались его сомнения относительно веры, в которой он был воспитан. Он вступил в богословские споры с дядей, и возмущенный священник отказал ему от дома.

Мальчик направился напрямик к американским протестантам и начал изучать Писание под руководством миссионеров-методистов. Через год он решил, что усвоил у методистов все, что они могли дать, и ушел к пресвитерианам. Три года он провел у пресвитериан, но за год до посвящения в сан распрощался и с ними. У него зародились сомнения относительно их способа крещения путем опрыскивания водой: в Библии ясно говорилось о полном погружении. Он прибил к Христианской Миссии, закончил обучение, был посвящен в сан и послан миссионером в Кавите. Но примерно в 1910 году у него возникли сомнения и относительно Христианской Миссии: они соблюдали воскресенье как день отдыха, хотя Библия четко требовала чтить день субботний. Тогда он присоединился к адвентистам седьмого дня, которые блюли субботу, и стал их миссионером в Булакане. Но через два года усомнился и в адвентистах. Христиане не должны соблюдать субботу, потому что закон субботы предназначался только для израильтян, а Христос отменил ветхий закон.

Феликс Манало решил сам изучить Писание и пришел к выводу, что ни одна из церквей, в которых он побывал, не была церковью, основанной Христом: церкви Христа пока просто-напросто не существовало. Это и стало темой его проповеди в ту мартовскую ночь 1914 года, когда он говорил с детьми филиппинского апокалипсиса — жаждущими Бога людьми, которых, как и его, несло течением, которые были религиозными скитальцами и экспериментаторами, ибо усомнились в прежней вере и открыли для себя Книгу. Островок на реке Пасиг стал гнездом алчущих Бога и благой вести.

Среди первообращенных был мастер из «Атлантик Галф энд Пасифик Компани», который нашел комнату в рабочих бараках компании для брата Манало и его невесты, ибо за год до того странствующий проповедник женился, еще будучи адвентистом, на молодой, недавно обращенной адвентистке. Так что Иглесия возникла в рабочей среде, а брат Манало достиг такой популярности в Пунте, что ему

пришлось проводить свои ночные встречи под открытым небом.

Тем не менее его первая часовня была воздвигнута не на Пунте, а в Тондо, на улице Габриела, куда он переселился позже. Часовню соорудили из бамбука и ниповой пальмы в расчете на пролетарскую общину человек в сто; все прочие собирались в частных домах, и брат Манало продолжал свою деятельность как странствующий проповедник. Это самый притягательный период в истории Иглесии, напоминающий эпоху первых христиан: можно понять, какая сила подвигала обращенных бросать хорошую работу и пускаться в путь, как пустился брат Манало, проповедуя веру. Эту веру они проповедовали людям из низших классов, откуда и привлекали своих сторонников.

Теология, возросшая на этой проповеди, отличалась крайней простотой. Иглесия верит в Бога-Отца, но не в Троицу. Христос есть «Спаситель Церкви», но не Бог; он святой человек, никогда не грешивший. Святой Дух используется Богом-Отцом и Христом, чтобы вдохновить хранителей Евангелия, но Святой Дух — не Бог. Слово Божие заключено только в Библии, а не в предании.

Иглесия крестит путем погружения в воду, причем отказывается крестить до десяти лет — пока человек не достигнет сознательного возраста. Раз в год отмечают Тайную Вечерю службой, после которой происходит причащение виноградным соком («Мы пользуемся „Уэлчем“», — говорит секретарь Рамос) и пресным хлебом («своей выпечки»). Иглесия не отмечает ни Пасху, ни Рождество, не соблюдает воскресенье как день отдыха, но блюдет субботу; у нее нет ни праздников, ни торжественных дней. «Все дни одинаково святы, — говорит Рамос, — и для отдохновения от греха годится любой день». Богослужения проходят дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям, в конце каждой службы верующие делают добровольные пожертвования. Судя по всему, они — единственные христиане, которые никогда, ну никогда не забывают об этом моменте службы. Отдача — в виде великолепных церковных зданий, обычно с кондиционерами. На церквях нет крестов, крест как символ отвергается — ведь нельзя же почитать виселицу, которой, в сущности, и был крест. «Это все равно, что

поклоняться электрическому стулу», — говорит секретарь Рамос. Пожалуй, единственное, что знают об Иглесии посторонние, — это то, что ее члены не едят *динугуан*¹ ввиду библейского запрета на поедание крови: Иглесия, очевидно, не считает, что этот ветхозаветный закон был предназначен только для израильтян и отменен Христом.

К 1936 году Иглесия насчитывала 85 000 членов, пятьсот пятьдесят церквей, триста пятьдесят небольших часовен, а ее собственность оценивалась в восьмьсот тысяч песо.

В 1952 году, когда Рамос стал генеральным секретарем, число членов церкви, по его словам, уже перевалило за миллион. Поскольку сейчас, как утверждает Иглесия, она объединяет свыше трех миллионов человек, это означает троекратное увеличение за десять лет. Приверженцы ее сосредоточены главным образом в Маниле и прилегающей провинции Рисаль, на Центральной равнине — особенно в провинциях Пангасинан и Нуэва-Эсиха, а также в пограничных районах Минданао, больше всего в Давао. Эмигранты занесли Иглесию на Гавайи и западное побережье США.

Возможно, численность ее растет не так быстро, как утверждают, но в том, что она значительна, сомнений нет: множество храмов Иглесии (их уже не с руки называть часовенками) как грибы выросли в Маниле за последние годы. За оградами самых внушительных из них могут разместиться до ста тысяч человек, а то и больше.

Знаменательно, что Иглесия выработала свой архитектурный стиль. Он повторяет черты первого храма и штаб-квартиры в Сан-Хуане, заложенных в 1948 году и выстроенных по наброскам самого брата Манало. Архитектор, Хуан Накпиль, говорят, сделал девять эскизов, прежде чем ему удалось уловить идею старца. В величественных сооружениях Сан-Хуана — они, по слухам, стоили более миллиона песо — стиль Иглесии предстает еще как бы в зародыше; характерные для него шпили и купола появляются во всю мощь в новейших строениях, прежде всего в Малабоне, Кесон-Сити и Бакларане.

Принято считать этот стиль «полуготическим-полу-

¹ Динугуан — блюдо, приготавливаемое из свежей крови.

модернистским», но удлиненные шпильки и приземистые купола напоминают о храмах Индии. Это довольно примечательно, поскольку самого брата Манало — а он был очень смуглый, с орлиным носом — многие принимали за индийца. Один человек, работающий в рекламе, говорил, что Манало «точь в точь соответствует представлению о древнем ацтекском вожде». Но другим он напоминает о восточных индийцах: нос у Манало, так сказать, типично «бомбейский» — и тут же на ум приходит британское вторжение на Филиппины в восемнадцатом веке, после которого там, где сейчас провинция Рисаль (преимущественно в Каинте), осталось много индийцев. Может быть, это индийская кровь в Манало породила храмы, похожие на индийские, о которых он подсознательно помнил?

Духовная сила

Иглесию называют иногда церковью Манало, и, несомненно, она несет отпечаток его динамизма. Все, кто знал его, свидетельствуют, что он был живой, магнетической личностью. Он был настолько широк в плечах, с такой богатырской грудью, что, говорят, сыновья — ростом удавшиеся выше него — не могут носить его рубашки, они им велики. Он любил блистать, любил роскошь, однако его приверженцы, хотя и были бедны, не только не осуждали этого, но и гордились количеством автомобилей, которые он имел, и великолепием его резиденции. Такое благоговение может быть объяснено только огромной витальной силой вождя; кажется, он сохранил все, буквально все свои способности до самой старости. Домашние говорят, что только седые волосы да легкая сутулость выдавали его возраст.

Смерть лидера, обладающего такой исключительной мощью, обычно грозит уничтожить все созданное им, ибо, как правило, оно светит отраженным светом: оно — луна, а сам он — сияющее солнце. Проблема Иглесии сегодня — коренное отличие прежнего вождя от нынешнего. Эраньо Манало не обладает столь импозантной фигурой, он бледен, у него красивое художавое лицо с тонкими чертами, и он производит впечатление человека суховатого, сосредоточенного, по-

чти отрешенного. Он выгладит куда моложе своих тридцати восьми лет. Пятый ребенок в семье, где было шестеро детей: четыре сына и две дочери. Старший сын сейчас инженер, ведает строительными делами Иглесии; второй — священник Иглесии; самый младший еще учится. Эраньо учился в академии св. Иоанна в Сан-Хуане, потом изучал право в Дальневосточном университете; бросил учебу по требованию отца, чтобы сосредоточиться на священничестве: тот избрал этого трезвомыслящего серьезного сына своим преемником. «Я начал с самой нижней ступени, — говорит Эраньо, — как проповедник-доброволец, без всякой платы».

Может быть, он тверже, чем кажется: две недели, пока было выставлено тело, он не отходил от него ни днем, ни ночью — а это тяжкое испытание, поскольку скорбь верующих была близка к безумию. Тысячи людей проходили у гроба, и чинное прощание с покойным часто прерывалось истеричными выкриками женщин — и мужчин тоже: при виде дорогого лица они заходились в пароксизме горя, впадали в трясучку, стонали и корчились на полу, и их надо было уносить прочь — окаменевших, охладевших, бесчувственных...

Сначала тело лежало в храме в Сан-Хуане, потом на один день его перевезли в часовню в Тагиг, потом в Сан-Франсиско-дель-Монте, где оно до похорон — до полудня прошлого вторника — покоилось в склепе, в саду при храме. Гигантская похоронная процессия, начавшая двигаться в восемь утра и все еще не завершившаяся в полдень, перекрыла движение по всем дорогам, ведущим из Кесон-Сити в Сан-Хуан. Скорбящие толпы проходили мимо гроба, и воздух был насыщен колдовством: могучим влиянием покойного на своих скромных приверженцев.

В дни своего могущества Феликс Манало стал походить на политического деятеля, его даже окружали придворные и телохранители. Когда он отправлялся в кино, он закупал весь ряд и сидел там один — места с обеих сторон были пусты, а адъютанты смотрели не на экран, а на него, готовые удовлетворить любое его желание. Над такими спектаклями легко смеяться, но даже те, кто осуждает Иглесию за участие в политических играх, признают, что она — единственная церковь на Филиппинах, способная к раз-

говору с бедными и могущая преобразовать людей. Истории о пьяницах, отказавшихся от бутылки, об игроках, оставивших карточные столы, об уголовниках, обратившихся проповедниками мира, ставшими *karatid* — братьями, отнюдь не апокрифы. В Иглесии, и, может быть, в наши дни только в Иглесии, все еще происходят обращения в подлинном смысле этого слова.

Феликс Манало и его Иглесия снова показали, что христианство, если к нему относиться серьезно, всегда побеждает — и не только в духовных, но и в сугубо материальных делах. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам» — не пустое обещание. Это положение подтверждается снова и снова, осуществляется на практике с таким успехом, что сам этот успех, поистине колоссальный, снова и снова губит христиан. А мы по-прежнему называем христианские принципы «непрактичными», потому что они не от мира сего, и не без издевки вопрошаем: как это кроткие унаследуют землю? — хотя эти принципы были не раз осуществлены на протяжении истории. Сейчас модно говорить, что христианство потерпело неудачу, или, напротив, саркастически изрекать, что оно не потерпело неудачу по той простой причине, что его принципы никогда и не пытались осуществить. История свидетельствует: пытались, и много раз, и всякий раз, увы, добивались успеха.

Ранние христиане были бедны и кротки, любили друг друга как братья, были безразличны ко всему, кроме Царствия Небесного. Короче, они осуществляли христианские принципы. И за очень короткий промежуток времени эти презираемые, слабые, эти люди не от мира сего овладели Римской империей. Кроткие унаследовали землю.

Рим пал, начались «темные века», а в дикой Европе горстка людей стремится вернуться к принципам примитивного христианства: к бедности, кротости, братству, безразличию к земным властям и к земной славе. Снова христианство подвергалось испытанию, и снова — потрясающий успех. Всего за несколько поколений эта горстка людей, именуемых бенедиктинцами, овладела преобразованной Европой. Вера сдвинула горы.

Успех погубил и бенедиктинцев; и вот уже в сред-

ние века появляются новые евангелисты, проповедующие бедность, занимающиеся делами милосердия, называющие друг друга братьями — чистейший образец здесь Франциск Ассизский. Они обходились без денег, были босы и думали только о восстановлении веры, которую проповедовал Христос. Монахи, именовавшие себя братьями, начали с самого примитивного христианства, а в конце концов овладели Америками и Индиями. И вновь было доказано: христианство неизменно добивается успеха, но почти всегда успех несет в себе пагубу.

Реформация — еще один возврат к примитивному христианству; она тоже показала, сколь успешным может быть христианство, потому что такие братства, как, скажем, квакеры, столь кроткие и бедные, удивили мир, положив начало династиям миллионеров. Даже с сугубо земной точки зрения неземные христианские принципы по эффективности превосходят самые изощренные земные пути. Сила подлинного христианина неотразима, это было доказано уже не раз.

На Филиппинах Иглесия-ни-Кристо — ярчайший пример этой древней исторической истины. Человек, который в 1914 году на островке на Пасиге собрал вокруг себя кучку алкавших Бога, не имел даже крыши над головой. Его приверженцы были бедны, но они оставили и то немногое, что у них было, ради Царствия Небесного. Их искренность, их вера в Евангелие, честность их намерений несомненны. Они стремились к такому христианству, о котором учило Евангелие, и всех людей считали своими братьями. Даже во времена гонений они предпочитали сопротивляться мирными средствами — с помощью избирательного бюллетеня, а не оружием. По слову своего духовного лидера тысячи братьев оставили в конце 40-х годов свои дома на Центральной равнине, предпочтя потерять все, что они имели, чем вести войну с хуками.

И меньше чем через пятьдесят лет после судьбоносной встречи на Исла-де-Пунта созданное там христианское братство стало столь могущественным, что сильные мира сего заискивают перед ним, а колокольный звон их храмов несется над всей землей. Но успех может и погубить их.

Иглесия говорит: «Достижения Церкви Христа,

и духовные, и мирские, слишком чудесны, чтобы их можно было считать делом рук человеческих».

И это поистине верно. А те, кто сокрушается по поводу мощи Иглесии-ни-Кристо, должны винить во всем не брата Манало, а огромную силу тех, на ком лежит благословение.

ВИВАТ, ВИЛЬЯ! *

Я пришел, я здесь

Возвращение на родную землю есть акт благочестия, и Хосе Гарсия Вилья за свою жизнь совершил его трижды, нет, даже четырежды, потому что однажды он вернулся сразу же после отъезда и тут же снова отбыл.

Это было до войны, в 1937 году, а возвратиться ему было суждено только в 1959 году, спустя два десятилетия. За это время он приобрел имя в мировой литературе, имя куда более магическое, чем имена Рисаля или Ромуло¹ — двух других наших писателей, получивших признание за границей; один — в испанском мире, другой — в американском.

Два года назад декан факультета искусств Дальневосточного университета Алехандро Р. Росес решил, что Вилье, пусть с большим опозданием, суждено стать пророком, прославленным в своем отечестве. Дальневосточный университет объявил о присуждении Вилье почетной степени доктора литературы. Поэт жил в Нью-Йорке, и никто не ожидал, что он прибудет на церемонию присуждения, которая должна была состояться во время выпускных торжеств в Дальневосточном университете. Вилья не раз говорил, что не намерен возвращаться на Филиппины никогда.

Но за несколько дней до торжественного события из Нью-Йорка пришла телеграмма: Вилья уже в пути, летит на родину, чтобы лично получить диплом. Росес, человек нервный, совсем потерял голову. Одно дело почтить льва за океаном, другое — впустить льва в кампус, где он будет рычать и, может быть, отгры-

* © 1977 by Nick Joaquin

¹ Карлос Ромуло (1899—1985) — филиппинский дипломат и писатель.

зять головы. Пожалуй, искусства в Дальневосточном университете не перенесут такого потрясения.

Пришел торжественный день вручения дипломов, прилетел и самолет, на борту которого находился поэт, три десятилетия проведенный в изгнании в Америке. Вилья, сошедший по трапу самолета, выглядел человеком без возраста. Разве что появились морщины; а в прочем это был тот же самый юноша, который уехал давным-давно, только теперь волосы у него были длиннее. Они напоминали львиную гриву, темный ореол; а вот лицо все то же: худое, бледное, неземное — лицо св. Антония в пустыне.

Голубь, орел и лев¹ смотрели с его лица, но на сей раз Вилья-голубь держал скипетр. О, конечно, он отказался надеть академическую четырехуголку и мантию и так основательно опоздал на церемонию, что бедный декан Росес чуть не лишился чувств от переживаний. Но, появившись, он вел себя вполне прилично. Он с удовольствием внимал востороженной литании цитат, мантию принял с достоинством и смирением, во время коктейля блистал и радовался, как ребенок, и все удивленно говорили: «Да он душка!»

Потускнел ли великий Вилья? На язык он остер, как прежде. Через несколько дней Лидия Аргилья устроила в его честь прием в художественной галерее. «Еда вполне достойна меня», — изрек он; а потом добавил, что она была куда лучше выставленных картин.

На вечеринках он спрашивал девушек, девственницы ли они, и говорил мужчинам, которые заигрывали с ними, что их надо кастрировать.

Но было видно, что ему все нравится: и возвращение домой, и черед приемов, и всеобщее внимание к его особе.

Мэр Лаксон вручил ему ключи от города, хотя так и не понял, за каким чертом надо вручать ключи от Манилы прирожденному маниленью. Тем не менее он нашел теплые слова для Вильи, который, сказал Лаксон, «сделал для Филиппин куда больше, чем все эти посредственности, наши послы, взятые вместе». Мэр отвез его домой в полицейской патрульной машине. Сопровождавший поэта полицейский произ-

¹ Один из псевдонимов Вильи — Довиглайон (от англ. *dove*, *eagle*, *lion* — голубь, орел, лев).

нес: «Для меня большая честь сопровождать вас, мистер Хосе Вилья Панганибан¹».

Вилью это никак не смутило, и он задержался еще на месяц. Ему понравились новые благоустроенные окраины, он побывал на сельской фиесте в Пасиге, приохотился к местному джину (дьявольский состав, именуемый «четыре песни»), демонстративно ушел с обеда, данного в его честь молодыми писателями из Государственного университета, разругался с Давидом Медальей и потряс местных модниц и модников рубашкой из цветных лоскутов.

Он в задумчивости изрекал, что мог бы вернуться домой навсегда, если бы нашлась подходящая преподавательская работа.

Остановившись в Европе по пути в Нью-Йорк, он написал Росесу: «Хотя я в Париже, в ушах у меня шум Манилы. Хотя я в Париже, образ Манилы стоит передо мной». И увез с собой и тогу, и четырехуголку, чтобы наслаждаться этими свидетельствами его докторства.

Месяца через три его брат Оскар навестил поэта в Нью-Йорке, и Вилья сказал ему, что хотел бы переслать в Манилу все свои картины, чтобы они хранились в доме Оскара. Оскар удивился: обычно Вилья очень ревниво относится к своим картинам, предпочитая держать их при себе. Отослать их в Манилу?.. Не значит ли это, что он всерьез подумывает устроиться здесь,— не сразу, может быть, а со временем? Эти картины стали легендой среди его друзей в Нью-Йорке. Все о них слышали (он только о них и говорит), но никто их не видел (он их не показывает), и люди уже стали задумываться: были ли эти картины, или они что-то вроде нового платья короля?

И вдруг в июле прошлого года Вилья прислал Росесу письмо. Он писал, что приезжает на Филиппины на год. Берет отпуск без содержания у себя на работе, в представительстве Филиппин в ООН. Может ли Росес найти ему работу на этот год в Дальневосточном университете?

Росес убедил университетское руководство пригласить поэта, затем написал Вилье, что все улажено и что за лекции в университете он будет получать по высшей ставке.

В ответ пришло гневное письмо. Как, требовал

¹ Хосе Вилья Панганибан (1863—1890) — филиппинский поэт.

объяснить Вилья, он может провести там год на ту жалкую сумму, что ему предлагает Дальневосточный университет?.. «Теперь получается,— стонал Росес,— что это мы пригласили его провести год на Филиппинах за наш счет».

Вилья должен был начать читать лекции со второго семестра прошлого учебного года, но от него не было больше ни слуху, ни духу. И Росес решил, что тот передумал. Потом вдруг перед самым началом учебного года пронесся слух, будто Вилья остановился в Европе по пути на родину и всем говорит, что собирается преподавать в Дальневосточном университете.

Росес наспех составил для поэта расписание занятий, потом с духовым оркестром и группой поклонников поэта отправился встречать его в аэропорт. С трапа сошел пополневший Вилья в сопровождении девушки в пурпурной шляпке и мальчика в ковбойских сапогах и сомбреро. Оркестр играл «Мабухай» — «Да здравствует», поклонники размахивали плакатами. Вперед выступила девушка, чтобы возложить на поэта венок. Вилья оглядывался, ища глазами Росеса, но Росес спрятался в баре, а приветствовать поэта послал своего младшего брата Альфредо.

Вилья тут же заявил Альфредо: «Вы почему отвели мне вечерние часы? Разве вы не знаете, что ночь создана для любви?»

На его пальцах сверкали четыре треугольных серебряных кольца; он прибавил в весе, заметно пошел и уже напоминал не св. Антония в пустыне, а мандарина во дворце удовольствий. Годы резче обозначили его восточные черты. Но, несмотря на лишний вес и морщины, лицо его было все тем же одухотворенным лицом поэта, как и лицо молодого человека, что за тридцать лет до того отправился в изгнание.

Прочь из Эрмиты

Тот молодой человек бежал от отца, который символизировал конец одной культуры, тогда как сам Вилья представляет собой начало другой. Имя, которое он носит, связано с главным событием нашей истории, хотя его поэзия может и не иметь в ней никаких корней.

Когда Агинальдо¹ пустился в бегство, которому суждено было закончиться в Паланане, с ним был молодой врач Симеон Вилья. Доктор Вилья сопровождал генерала везде, потому что идеей революции, Республики он был одержим не меньше, чем его генерал. Поражение революции и падение Республики омрачили оставшуюся жизнь доктора Вильи. Он стал угрюмым, замкнутым человеком. Его схватили в Паланане вместе с Агинальдо, посадили под арест в Малаканьянг, и он написал там ядовитый отчет о последних днях гонимой Республики. Он был поклонником революционной армии, и, похоже, его жизнь, как и жизнь многих других участников военных действий, кончилась вместе с ними. В новое время эти обиженные офицеры перенесли умиравшее прошлое; им, отчужденным от новой культуры, были чужды, похоже, даже их сыновья.

Столкновение между отцами и непонятными сыновьями было неизбежно, оно и происходило по всей стране в 20-е годы, но нигде, пожалуй, не оказалось столь резким, как в доме Вилья в Эрмите между дон-ом Симеоном, полковником революции, и его старшим сыном Хосе.

Непосредственным поводом могло, конечно, послужить что-то глубоко интимное и личное, но главная причина — вражда двух соперничавших культур: в борьбе между Вильей и его отцом драматически отразилась отчужденность двух поколений филиппинцев друг от друга. Один мир боролся за право выжить, другой — за право родиться. С одной стороны — полковник революции, который видел, как его мир все больше и больше сужается; отсюда его главный импульс — отгородиться от всего нового. С другой — поэт в расцвете сил, только что начавший открывать для себя бездонный мир английского языка, которому казалось, что угрюмый молчаливый отец — обыкновенный неудачник. Конфликт трагичен, поскольку он закрыл путь воспеванию революции в филиппинской литературе. В полковнике Симеоне Вилье были корни нашей истории, но они не расцвели в его сыне Хосе. В каком-то горьком смысле полковник Вилья

¹ Эмилио Агинальдо (1869—1964) — один из лидеров филиппинской национально-освободительной революции 1896—1898 гг.; в 1897 г. президент независимой Филиппинской республики.

так и не зачал сына. Его история кончилась вместе с ним. Хосе Гарсия Вилья будет воспевать жирафов, розовых монахов, чаек, но его не будет преследовать — как преследовала его отца — память о том дне в Паланане, когда была предана Республика.

Собственно, сейчас Вилья предпочитает игнорировать тот факт, что он был зачат отцом; он не был зачат, он «появился».

Вот его собственные слова: «Я появился на Филиппинах, в земной стране, в манильской Маниле. Меня это устраивает. Дата пока не установлена... Филиппины тоже появились. Филиппины не выскочили из небытия вместе с Магелланом. Дата пока не установлена».

Не знаю, как насчет даты — как будто в августе в девятисотых годах, — но место, где поэт «появился», установлено точно. Доктор Вилья женился на девушке из Эрмиты, по имени Гарсия, сам он был маниленьо из Сингалонга, и первые годы после женитьбы молодые жили в его доме, в самом конце улицы Сингалонг, где теперь Санта Эсколастика. Там и родился их старший сын Хосе.

Когда Хосе было года два-три, доктор Вилья продал участок монахиням-бенедиктинкам, а сам с семьей переехал в Эрмиту, где его жене по наследству досталось столько земли, что поговаривали, будто ей принадлежит пол-Эрмиты.

Хосе Гарсия Вилья говорит, что он вырос в самом *типичном* доме Эрмиты, поскольку его семья была *самой типичной* там семьей. Герреро и Собели — и не одни они — могут оспорить это утверждение; однако семейство Вилья, во всяком случае, уж точно считали довольно странным, потому что они не общались с прочими обитателями Эрмиты. Одна девушка из Эрмиты вспоминает, что дом у них был серый, окна вечно закрыты, и Вилья никого не принимали.

Дом — большое двухэтажное здание с прилегавшим к нему садом — стоял на углу улиц Падре Фаура и Марсело дель Пилар, всего в нескольких кварталах от Государственного университета, но университетские друзья Вильи говорят, что он никогда не приглашал их к себе. В семье было шестеро детей: три мальчика и три девочки.

Мать, донья Гиа, была женщиной строгой и справедливой, когда-то славилась как чтец-декламатор

на испанском; она читала стихи на патриотических собраниях в старом театре «Сорилья». А когда дни декламаций кончились, занялась коллекционированием кукол.

Отец, дон Симеон, был худощавым строгим джентльменом старой школы — всегда подтянут, всегда собран, всегда строг. Революция стала величайшим событием в его жизни, и когда она кончилась, он прекратил всякую деятельность, даже врачебную практику. Какое-то время пытался было заняться политикой, но разочаровался в националистах и ушел к демократам. Потом открыл лавку деликатесов в Эрмите. Вилья говорит, что большей частью его отец «попросту ничего не делал» — но может быть, старый революционеро размышлял о прошлом как раз тогда, когда его сын Хосе презил о будущем? Плохо, конечно, что между ними не было общения. Дон Симеон не говорил по-английски, молодой Хосе не говорил по-испански. Кроме того, утверждает Вилья, «в те годы просто невозможно было общаться с отцами. Это все равно, что пытаться разговаривать со стеной. Мы с отцом никогда ни о чем не беседовали. Он заговорил со мной, только когда я собрался в Америку. „Не женись на американке“, — вот все, что он сказал».

Молодой Вилья был худ, бледен, тих и очень застенчив. Его первой страстью стала живопись. Он начал работать карандашами, потом открыл для себя масляные краски, и вот таким образом начались регулярные паломничества в знаменитый магазин «Эль 82» на улице Онглин в Бинондо, где он покупал краски. Его брат Оскар говорит, что ранние полотна Вильи были в стиле обложек журнала «Сатердей ивнинг пост». Старожил-американец мистер Джон Сайлер припоминает, что видел два ранних холста Вильи: один с изображением девочки, очень недурной — его купил старый театр «Идеал» и повесил в фойе; другой — фигура задумчивого человека, темного и угрюмого, «в манере Веласкеса».

Вилья говорит, что он не прирожденный писатель. В школе им каждую неделю надо было писать сочинение, и эти еженедельные упражнения казались ему мукой. Однако уже в пятнадцать лет он написал свой первый рассказ и послал его в старый «Таймс», снабдив собственной иллюстрацией. «Таймс» рассказ

принял, а иллюстрацию отверг. Вилья обиделся, когда рассказ появился с рисунком Пабло Амарсоло,— ему показалось, что это его же рисунок, чуть переделанный.

После окончания средней школы юноша хотел писать и рисовать, но отец послал его в медицинский колледж Филиппинского государственного университета. Среди его сокурсников был Артуро Б. Ротор, теперь врач, а тогда тоже начинающий писатель.

Ротор недавно писал:

«Первый год мы с Вильей работали за одним анатомическим столом. Когда я вспоминаю прошлое, меня удивляет не то, что он в конце концов сбежал, а то, что он все же оказался способен так долго заниматься делом, которое ему было глубоко отвратительно,— и при этом обошелся без психического срыва. Несколько раз Вилья отказывался приходить в класс, но всякий раз по просьбе его отца мне удавалось уговорить его сделать еще одну попытку. Теперь я чувствую себя как-то неловко из-за этого».

Год Вилья провел в медицинской школе, год в школе искусств и год в школе права. Тем временем он делал себе имя как писатель, как самый многообещающий автор той первой когорты филиппинских писателей, что перешли на английский и чьи англоязычные рассказы он первым оценил и собрал в антологию, куда вошли Ротор, Литиатко, Пас Латорена, Лорето Парас, Касиано Калаланг, Исидро Ретисос — имена, от которых исходит сияние культурной весны, ныне подвергающейся нападкам.

Друзья той поры говорят, что он еще был очень застенчив, не смешивался с толпой студентов и большую часть времени проводил в библиотеке. Он неизменно ходил в белом костюме, но иногда показывался без галстука, с открытым воротом — только таким образом этот молодой человек, всегда серьезный, собранный и почти торжественный, уподоблялся Байрону.

Потом появились «Мужские песни», и университетский кампус с тайным удовольствием узнал, что диким духом эти стихи обязаны не лижонам и повесам, подражавшим карикатурам Джона Нелда-младшего в «Колледж хьюмор», а тому самому застенчивому и тихому мистеру Вилье.

Прочь из университета

«Мужским песням» предшествовал бунт против отца. Дело дошло до разрыва. У Вильи была маленькая коричневая собака, которую он звал Царица Савская — отец просил его избавиться от нее. Американская семья, жившая внизу (дон Симеон сдавал нижний этаж), жаловалась, что собака всюду пачкает. Но Вилья не хотел расставаться с собакой, и отец рассвирепел. Однажды она исчезла. Вилья ходил вокруг дома и все звал: «Вернись, Царица Савская!» Но маленький песик не возвращался. Вилья обвинил отца в том, что тот выгнал собаку. Последовала ужасная сцена, и Вилья ушел из дома.

Он поселился в общежитии университета и там написал «Мужские песни», за которые и был исключен, а также поэму «Мир-и-ниса», которая принесла ему премию журнала «Фри пресс» в размере тысячи песо, позволивших ему уехать за границу.

Сейчас он говорит о «Мужских песнях»:

— Они очень мужские, очень сочные. Тогда во мне начинали бродить соки, и вот так они и проявились. С тех пор я верю в соки — я имею в виду не фруктовые.

К сожалению, в соки не верил тогдашний президент университета Хорхе Бокобо, который содрогнулся от следующих строк из «Мужских песен»:

Кокосовые орехи созрели,
Они, как соски дерева
(У женщины только два соска.
Много женских жизней
В кокосовой пальме).
Я поцелую кокосовый орех,
Потому что это —
Сосок женщины.

Публикация «Мужских песен» в «Филиппинз хералд» и университетской газете «Колиджиэн» завершилась привлечением Вильи к суду и штрафу в семьдесят песо за непристойность. Его отчислили из университета. Он продолжал жить в общежитии; няня, нянчившая его ребенком, приходила прибрать комнату и постирать. Она сказала, что мать все время плачет по нем. Его убедили вернуться под отчий кров, но там он не задержался. Получив премию «Фри пресс», Вилья в 1929 году уехал в Америку.

Он обосновался в университете Нью-Мексико, редактировал там авангардистский журнал «Клэй», издал свою первую книгу «В назидание молодым». Она же стала и его прощанием с прозой: с тех пор он пишет только поэзию, однако из года в год неизменно прочитывает и оценивает всю прозу (а позднее и стихи), публикуемую на Филиппинах, так что предоставленные им три звездочки — знак высшей пробы — стали заветной целью всех жаждущих успеха филиппинских писателей.

Он влюбился в не стоящую того женщину, и от нее у него сын по имени Роберт. Она неоднократно бросала его, однако он всякий раз снова ее принимал. Но однажды она ушла и не вернулась. Он ходил по улицам, искал ее, громко рыдал — прохожие оглядывались на него. Деньги вышли, отец ничего не высылал, потому что Вилья бросил учебу. Поэт работал мойщиком посуды, брался за все, что ни подвернется. Узнав, что он голодает, семья прислала денег на возвращение домой.

В 1937 году Вилья вернулся на родину. Вернулся он, по его словам, в надежде, что ему выделят долю наследства. Он хотел, чтобы всю собственность семьи разделили, его долю продали, а деньги отдали ему на руки. Но дон Симеон отказался продавать что бы то ни было. Прежние нелады между отцом и сыном усилились. Вилья старался держаться подальше от дома, уходил рано и возвращался только поесть и выспаться.

Большую часть времени он проводил у Мануэля и Лидии Аргильи, которые жили всего в нескольких кварталах от их дома. Былые друзья-писатели разбрелись по своим профессиям, и вокруг него собралось новое поколение: Арсельяна, Эстрелья, Альфон, Н. В. М. Гонсалес, Аргильи. Его современники почти все умолкли, но из Вильи бил фонтан красноречия — это уже был не тихий застенчивый юноша, но умудренный мужчина, познавший невзгоды и страдания. Он говорил и говорил без конца, дни и ночи напролет почтительно внимающим компаниям в доме Аргильи — говорил о своем сыне Роберте, о своих поэмах и картинах. Он говорил, что в Америке у него все стены комнаты увешаны картинами. «Когда я вижу свои картины, мне хочется опуститься перед ними на колени и молиться».

Он взял интервью — «классическое интервью», как он сам говорит, у Беби Кесон, дочери президента, и она попросила отца дать поэту работу. Дон Мануэль призвал Вилью и сказал: «Хотя твой отец суший дьявол, работу я тебе дам». (Кесон и доктор Вилья были политическими противниками.) Вилью сунули в пресс-офис Малаканьянга. Ему часто приходилось засиживаться допоздна, однако отец, хотя у семейства Вилья было две машины, никогда не посылал их за ним в Малаканьянг. Поэту приходилось, кляня отца, шлепать по грязи по тогда еще не замощенной улице Мендиола до самой Аскаррага, где он садился в трамвай.

Стычки между отцом и сыном становились все ожесточеннее, и Аргильи обнаружили, что превратились в нечто вроде стены плача. То сын зайдет и начнет проклинать отца, то появится отец, чтобы доказывать свою правоту.

Дон Симеон говорил: «Что произошло с моим сыном? Странная личность. Жить здесь не хочет, хочет жить в Америке. С чего бы это, он что — американец? Он требует, чтобы я продал собственность, а я не могу этого сделать — я должен думать и о других детях. Почему бы ему не обосноваться здесь и не присматривать за всем нашим имуществом?»

Вилья понял, что от отца ждать нечего: не то что доли наследства — даже билета на проезд в Америку он не получит. Друзья — Аргильи, С. П. Лопес, Федерико Мангахас, Джон Сайлер — пустили шляпу по кругу и собрали ему на проезд. Пробыв два с половиной месяца на Филиппинах, Вилья снова уехал, не сообщив об этом родным.

Неделю спустя Джон Сайлер, живший в отеле буквально рядом с домом Вильи, был несказанно удивлен, когда к нему в номер рано утром вдруг вошел Вилья. Он объяснил, что уже добрался до Гонконга, но там почувствовал, что надо вернуться и проститься с матерью и сестрами, потому что, может статься, он их больше не увидит. Сайлер сказал ему: «Это один из самых благородных поступков в твоей жизни». Вилья отправился домой, попрощался с семьей и снова уплыл. Ему еще довелось встретиться с матерью и сестрами, но не с отцом. Дон Симеон погиб во время освобождения Манилы, тело его так и не нашли.

Брат поэта говорил, что, несмотря на длившуюся всю жизнь войну между ними, отец любил Хосе. Когда вышла книга «В назидание молодым», дон Симеон купил пять экземпляров, хотя он едва мог читать по-английски. В 1937 году, когда семья сидела за обеденным столом, дону Симеону сказали, что Вилья уплыл в Америку, не попрощавшись. Родные ждали, что суровый *революционарио* придет в ярость, но этого не произошло. Слезы заструились по его лицу, он сидел прямой и молчаливый во главе стола, а удивленные дети отвели глаза, чтобы не видеть его горя.

И все же отец и сын так никогда и не примирились. Дон Симеон отказался послать изгнаннику хоть сентаво. А Вилья, узнав о гибели отца, заметил с горечью, хотя много лет прошло со времени их последней встречи: «Если мне суждено будет вернуться туда, то только для того, чтобы плюнуть на его могилу».

Из глубин

Триумфальное появление Вильи на международной литературной сцене скрыто от нас войной. «Я пришел, я здесь» — книга, с которой он появился на этой сцене, вышла в Нью-Йорке в 1942 году, когда Филиппины были отрезаны от мира, и мы узнали о лаврах Вильи только после Освобождения.

Вскоре после войны Лидия Аргилья побывала в Нью-Йорке и видела Вилью во всей славе его — наконец-то знаменитого на весь мир поэта. На него так и сыпались премии и почести, награды фондов: Гугенхайма, Болинггена, Американской академии искусств и литературы; к тому же он был влюблен, он был помолвлен, он собирался жениться. Девушка оказалась претенциозна, как и ее имя: Розмари — высокая итало-ирландка с каштановыми волосами. Лидия Аргилья и С. П. Лопес были посаженными родителями на церемонии венчания в маленькой католической церкви. Семья Розмари не одобряла этого брака, но Розмари явно была без ума от своего поэта, а Вилья ходил на задних лапках перед невестой, подавал и ухаживал — разве что только не жевал за нее.

Когда Лидия вернулась в Нью-Йорк через не-

сколько лет, их роман уже давно остыл. У них было двое мальчиков: Розмари зарабатывала на хлеб для семьи, а безработный Вилья вел домашнее хозяйство. Он пригласил Лидию на обед, сам с величайшим тщанием приготовил его, не уставая прохаживаться насчет неспособности жены вести дом и готовить — и все это в ее присутствии. Бедная женщина сидела молча, поджав губы, но видно было, что ее терпение подходит к концу. Оба мальчика, явно избалованные отцом, носились как сумасшедшие по квартире.

Вскоре после этого супруги расстались, и Розмари забрала детей с собой. В прошлом году они развелись; Розмари снова вышла замуж. Вилья регулярно навещает детей, не притрагивается к своей доле наследства в Маниле, потому что хочет сохранить ее для обоих сыновей. Старший сын, Роберт, похоже, как-то исчез из его жизни.

Вилья говорит, что писать он бросил, интересуется только жизнью и любовью. Вернется ли со временем на родину навсегда — это зависит от исхода его нынешнего визита домой. У Манилы, считает он, раньше было кое-какое достоинство, теперь же это просто большой кабак.

Как преподаватель он до конца профессионален: не желает полагаться на свое знаменитое обаяние и способность болтать о чем угодно, тщательно готовит планы занятий, набрасывает конспекты. Он говорит, что приходится играть, чтобы возбудить в студентах интерес, привлечь их внимание, и это ему удается. Студенты, выходя из его аудитории, всегда возбуждены, приподняты и так и сыплют анекдотами Вильи. Вокруг Вильи-профессора складывается новый цикл легенд.

Представ впервые перед студентами, он им заявил: «Я научу вас не только писать стихи, но и заниматься любовью, потому что в любви я разбираюсь куда лучше, чем в поэзии». Когда какой-то студент упомянул стихи местного поэта, Вилья фыркнул: «Это не поэзия, это недержание». Заметив, что у него в группе две миссис Фернандо, он спросил обеих леди: «А вы уверены, что у вас не один и тот же мистер Фернандо?» Одна девушка так была увлечена его занятиями, что записалась и на утренние, и на вечерние часы. «Вы гоняетесь за мной?» — спросил он ее. А какому-то студенту, которому очень понрави-

лись четыре серебряных кольца у него на руках, сказал: «Если хотите, можете поцеловать их».

Шокируя и удивляя студентов, он вышибает их из привычной колеи и заставляет слушать его, когда говорит о делах серьезных. «Почему вы хотите писать стихи?» — спросил он одного студента, и тот ответил: «Потому что мне есть что сказать». Вилья тут же возразил: «Тогда почему бы вам не сказать это в прозе?» И объяснил, что для него стихотворение начинается не с идеи, а со слова: «Например, слово *античный* — оно мне нравится, по-моему, оно прекрасно. Однажды я написал его, и тут же мне пришло на ум другое — *антилопа*. В итоге получилось стихотворение об античной антилопе». Один пример — и перед студентами вся его творческая лаборатория.

И в аудитории, и вне ее Вилья — подстрекатель, заводила, инспиратор и «провокаатор», один из непревзойденных актеров-любителей. Он просто вышибает из людей конформизм. Он сам стрижется, все еще бегло говорит по-тагальски, обожает европейские фильмы. Балет, оперу и театр он считает «псевдокультурой». По его мнению, только два филиппинца умеют говорить по-английски: Рауль Манглапус, политик и дипломат, и Леон Мария Герреро, ученый. Он говорит, что американцы по своим масштабам — сущие супермены, но сам предпочитает французов, поскольку те «человеческого размера». Встретив однажды на приеме миссис Магсайсай, супругу президента, он сказал ей, что она очаровательна и что он желает ей всегда быть неотразимой. Миссис Магсайсай пробормотала, что она никогда не теряет рассудка. В ответ Вилья воскликнул: «Но ведь рассудок годится лишь на то, чтобы его терять!»

Остается только надеяться, что он лукавит, утверждая, будто совсем забросил поэзию; но он настаивает: его стихотворения теперь ему ненавистны, любовь важнее поэзии. Бремя славы он несет легко. Возвращаясь на родину, поведал попутчикам: «Полагаю, в аэропорту меня встретят с оркестром». А когда самолет приземлился и он действительно услышал звуки оркестра, воскликнул: «Потрясающе! Я сейчас упаду! Держите меня!»

Английский язык во веки веков пребудет на Филиппинах, потому что такой филиппинский гений, как Вилья, пишет на нем, — точно так же, как испанский

навски укоренен в нашей почве, ибо на нем творил наш гениальный Рисаль.

Чего еще — помимо любви — величайший маг литературы Филиппин хочет от жизни?

В пятьдесят два года Хосе Гарсия Вилья заявляет:

— Всю свою жизнь я недоедал и весил мало. Для меня вопрос чести — набрать сто шестьдесят фунтов.

Ангел в тагальской рубашке

Дерзостью он просто сбивает с ног, этот пэр королевства литературы, родившийся с серебряной ложкой во рту. Когда он пускает это оружие в ход, трупы вокруг него так и валятся. Хосе Гарсия Вилья сам по себе событие. Сейчас он опять с нами, так что послел новый урожай «рассказов о Вилье», и каждый спешит поведать какую-нибудь скандальную историю.

Он побывал на презентации двухчастного политического сборника Бурсе Бунао «Дрожь и страх» и высказал мнение, что куда лучше было бы назвать книгу: «Часть дрожащая и часть страшущаяся». Когда он заметил, что у художника Лэрри Франсии на лице отражается «доброта и чистота», некий театральный критик спросил, а что отражается на его, критика, лице. «У вас, — ответствовал Вилья, — не лицо, а благообразная задница». Невинный покупатель *сиаонао*, абсолютно ему незнакомый, был в шоке, когда Вилья, бравший себе китайские пельмени, высокомерно бросил ему: «У вас нет никакого вкуса».

Однажды он пришел на открытие художественной выставки в стеклянных бусах, и все с любопытством прикасались к ним. А поэтесса Вирджиния Морено бережно взяла их в ладони, с чем Вилья и поздравил ее: «Вирджи, — сказал он, — только вы умеете обращаться с моими шариками». Но он не переваривал интереса мисс Морено к театру: «Это все равно, что ездить в карете, имея автомобиль». А когда мисс Морено заспорила, он вздохнул: «Вы просто невежда. Не понимаю, как вы могли написать даже пару приличных стихотворений, будучи настолько невежественной. Все потому, что вы никогда у меня не учились». На что мисс Морено отрезала: «Я вообще ни у кого не училась. И кончено».

Его привели в шикарный ресторан, где был буфетный стол, но он отказывался накладывать себе еду, говоря, что ходить к еде — «нецивилизованно», ибо еда сама должна идти к людям. Наконец его уговорили встать и подойти к раздаточному столу. Он наполнил тарелку, сел, попробовал, затем вдруг поднялся и вернул полную тарелку буфетчику за столом. Леди, дававшая в его честь обед в другом шикарном заведении, теперь никогда не пойдет туда, так как Вилья не нашел там ничего себе по вкусу и пришлось послать за ростбифом для него. «Все несъедобно» — вот его вердикт об одном местном ресторане, слывущем изумительным среди наших гурманов.

Беседуя с Кармен Герреро Накпиль, которую он почему-то любит называть своей тетушкой, он поинтересовался о ком-то. «Я с ним практически не соприкасаюсь», — пожала плечами миссис Накпиль. «А почему бы и не соприкоснуться?» — съязвил Вилья. Какая-то художница потребовала от него объяснений: «Я вчера выставлялась, а вас не было». — «Вы выставлялись?» — иронически вскинул бровь поэт. Но однажды, в Порт-Ориенте, его остро словие обратилось против него же. Фидес Куюган спросил его, давно ли он решил, что пора кончать и возвращаться домой. «Я кончаю раз в пять лет...» — начал было Вилья и осекся. Впрочем, иногда среди веселья комическая маска вдруг перекашивается в трагическую, как это было на обеде в отеле «Пласа», когда его прекрасные глаза вдруг уставились в одну точку с такой мукой, что кто-то участливо спросил: «Вам больно?».— «Да, я вспомнил о человеке, причинившем мне боль незаслуженно». Или вдруг вместо издевки на лице — самопогруженность: напряженно работает ум. Тогда он вынимает записную книжку и заносит на бумагу пришедшую в голову мысль, как это было в кафе «Индиос Бравос», когда все столпились вокруг него, чтобы услышать написанные им строки: «Я родился уже состоявшимся. Мне не надо было подниматься выше себя».

Когда в клубе печати его представили кинозвезде, он шокировал ее словами: «Для актрисы вы одеваетесь чрезвычайно безвкусно». Заикаясь, кинозвезда промолвила: «Но ведь это не официальный прием... Я думала, можно приходить в чем угодно». Вилья

состроил гримасу: «Уже сама эта мысль — свидетельство дурного вкуса». Будучи представленным другой актрисе, он спросил: «Вам кажется, вы умеете играть? Вот я умею играть. Я все время играю». А известной манекенщице он объявил: «Презираю всех манекенщиц. Кроме себя самого. Я, пожалуй, хотел бы демонстрировать модели. У меня одного это получалось бы интеллектуально». Познакомившись в клубе печати с членом редакции «Фри пресс» Наполеоном Рамо́й, Вилья воскликнул: «Вы не похожи на человека! Вы выглядите точно какой-нибудь Фонд помощи, вы массивны, как президент Магсайсай!» А подслушав, как кто-то сказал, что у него печальное лицо, бросил: «Конечно! У меня-то оно есть!» Одному стихоплету он заявил, улыбаясь: «Не появись я, вы могли бы стать гением; но поскольку гении появляются раз в десять столетий, после меня вам это не суждено». Поэт взвился: «И это говорит мой Иоанн Предтеча?» Тем, кто интересуется, над чем работает величайший писатель Филиппин, Вилья ничтоже сумняшеся отвечает: «Мне ничего не надо делать, я и так великолепен».

Он, великолепный, завершает целую серию визитов. На сей раз он приехал, чтобы стать дипломатом — после десяти лет работы в министерстве иностранных дел, точнее, в представительстве Филиппин при ООН, попав туда, по его словам, еще в пятьдесят четвертом на должность шофера.

— В Нью-Йорке я встретил сенатора Брионеса и просил его помочь мне. Он послал телеграмму Леону Герреро — тот был тогда нашим секретарем по иностранным делам, — и через пару дней я получил приглашение в нашу миссию при ООН. Меня взяли в офис каким-то помощником, зарплата составляла всего триста двадцать долларов в месяц, включая представительские. Но для Ромуло я был чем-то вроде шофера.

Он состоял при миссии до шестьдесят третьего, когда его уволили по несоответствию должности.

— Это был просто предлог, на самом деле я им надоел. Они считали, что я очень назойлив. А я никогда никому не докучаю. Цивилизованные люди от меня в восторге, нецивилизованные раздражаются.

Три года он не появлялся в представительстве. Жил на отложенные про запас шестьсот долларов,

получил годовую стипендию из фонда Рокфеллера, полтора года писал кое-что, потом нашел место преподавателя в Нью-Скул в Гринвич-Вилидж. Но часто ему приходилось трудно — оба сына учились в колледже.

В шестьдесят пятом году в Нью-Йорке он встретился на приеме с сенатором Маркосом.

— С ним была мадам Маркос. Она была олицетворением красоты, и я предложил сенатору Маркосу открутить ей руки, как Венере Милосской.

Его добрый приятель в министерстве иностранных дел, Армандо Манало, посоветовал Вилье обратиться к сенатору Маркосу с просьбой восстановить его на работе в миссии при ООН.

— И я послал телеграмму Маркосу. Написал, что отчаянно нуждаюсь в месте — не может ли он мне помочь? Еще я послал телеграмму Ромуло, но тот всегда игнорирует мои просьбы. Зато как учтив мистер Маркос: он в ответ телеграфировал, что сделает все возможное. Вся прелесть здесь в том, что ему хватило вежливости ответить. Великий генерал Ромуло просто проигнорировал меня.

Вскоре Вилья снова получил свое место при миссии.

— На том же жалованье, мне его так ни разу и не повысили. Правда, когда шла кампания «по совершенствованию зарплаты», мы, получающие 3120 долларов в год, стали получать 5100.

Для него нашли должность, которая не требовала проверки знаний, — на сей раз коммерческого атташе.

— На государственной службе все очень смешно. Сначала я числился шофером. Однако машину не водил. Потом стал коммерческим атташе. Но занимался я там одним: рассылал туристические буклеты тем, кого как-то интересовали Филиппины, преимущественно школьникам, которым дали задание написать сочинение о Филиппинах или что-нибудь в этом роде. Сидел в одной комнате с Паломинг Осменья, которую я очень уважаю, потому что она всегда уважала меня.

Прошлым летом мадам Маркос отправилась в Соединенные Штаты для медицинского освидетельствования. После пребывания в госпитале она приехала в Нью-Йорк, и поэт, которого родина усадила за рассылку туристических буклетов, обнаружил, что правительство его не совсем забыло.

Я пришел

— Началось с того, — вспоминает Вилья, — что миссис Маркос прилетела в Нью-Йорк. У нас в миссии все только и говорили о ее прибытии. Однажды вечером — кажется, это было в день ее приезда — у меня раздался телефонный звонок. Миссис Маркос желает поговорить со мной: могу ли я прийти на следующее утро в отель «Пласа»? Ее секретарша сказала: в семь утра. «Это невозможно», — ответил я.

Он встретился с первой леди в полдень.

— Я видел ее во второй раз, опять она была олицетворением красоты, только уже в кубе, как в математике. Говорю ей: «Доброе утро, миссис президент». Я назвал ее миссис президент! Не очень-то умно с моей стороны... Она отвечает: «Мы так давно с вами не виделись. Вы выглядите прекрасно». А я опять: «Да, конечно, но зачем вы хотели меня видеть?» Тогда она объявляет, что хотела бы через меня приобрести кое-какие книги для президента. «Конечно, — сказал я, — мне это сделать нетрудно. Сколько книг хотите — пять? шесть?» И тут оказалось, что для личной библиотеки президента ей нужно литературы на две тысячи долларов. «А каких книг?» — спрашиваю. «Ну, — говорит она, — по истории, и еще разные биографии — в общем, то, что должно интересовать президента. По дипломатии там, внешней политике». Я спросил миссис Маркос, на какой адрес переслать книги, а она сказала, что возьмет их с собой.

Вилья две недели просидел в Публичной библиотеке Нью-Йорка и в итоге составил список книг, пользовавшихся максимальным спросом. Потом отправился в книжный магазин Скрибнера, заказал литературу, сказав, что это для президента Филиппин, и получил 15-процентную скидку. «По-моему, всего там было около пятисот томов, миссис Маркос увезла их с собой». Получив счет, он обнаружил, что благодаря скидке у него осталось 79 долларов 25 центов от тех двух тысяч, что миссис Маркос вручила ему.

— И я написал миссис Маркос, спрашивая, купить ли еще книг, или, может, выслать остаток чеком.

Письмо вызвало немалое удивление. «Вы только представьте себе, — хихикал какой-то чиновник во

дворце,— этот тип получил две тысячи долларов на покупку книг, остался с семьюдесятью девятью и еще спрашивает, что ему с ними делать!»

Миссис Маркос просила Вилью оставить себе эти доллары в качестве комиссионных. Она просто проверяла его.

Через какое-то время, когда Вилья был в офисе, раздался международный телефонный звонок. На проводе была миссис Маркос. «Вы знаете,— сказала первая леди,— тут у нас ночь».— «Да,— ответил Вилья,— а у нас тут 11.30 утра».— «Президент,— продолжала миссис Маркос,— очень одобрил ваш выбор книг. Он хотел бы отблагодарить вас и спрашивает, что может для вас сделать».

Поэт выразил признательность президенту за интерес к его делам и на том прекратил разговор.

Неделю спустя он узнал, что его отзывают домой для консультаций, и скоро уже летел в Манилу, еще не понимая, в чем дело. Прибыл он 30 августа. Никто не знал, что он прилетает, только его брат Оскар, который и встретил его в аэропорту. На следующий день он всех несказанно удивил, появившись на приеме в честь годовщины журнала «Фри пресс» в тагальской рубашке, одолженной на этот случай у племянника.

— Вы знаете, я сто лет не носил тагальской рубашки. Когда я надеваю тагальскую рубашку, я чувствую себя как ангел, потому что в ней я такой красивый, таким себе кажусь красавцем! Наверное, это филиппинец во мне. Она сразу же пробуждает во мне филиппинца...

На приеме он встретился с президентом и миссис Маркос, и они увезли его на обед во дворец, где Вилья узнал, что его повысили в чине: теперь он был третий секретарь министерства иностранных дел.

Президент сказал: «Обычно, когда я принимаю присягу лиц, назначаемых на высокие посты, я говорю: „Этой должностью вы обязаны народу, и ваш долг — служить ему“. В случае с мистером Вильей я говорю: своей должностью он обязан самому себе и тому, что им сделано для страны. Его будут помнить, когда всех нас забудут». И, обращаясь к поэту, мистер Маркос добавил: «Этим вы обязаны самому себе».

Правительство признало, что Хосе Гарсия Вилья

цую свою жизнь служил стране и народу, принес им славу, а это есть наивысшее служение.

Назавтра в полдень Вилья в присутствии миссис Маркос и Армандо Манало принес присягу как третий секретарь министерства иностранных дел в должности вице-консула. Он предпочитает последний титул.

— Вице-консул звучит куда более впечатляюще, куда красивее. Представьте себе, что вас знакомят с мистером Вильей, третьим секретарем МИДа. Но если вы слышите: позвольте представить вам вице-консула Вилью — это совсем другое дело!

Однако вице-консул чего? Свежеиспеченный третий секретарь МИДа величественно изрекает:

— Вице-консул Республики Филиппины.

Запятая

В сущности, говорит Вилья, он лишен тщеславия.

— Я даже не понимал, что такое сотрудник МИДа. У нас все знали, что это значит, кроме меня, потому что я никогда не был тщеславен. И когда мне сказали, что меня могут сделать либо культурным атташе, либо штатным сотрудником МИДа, я спросил, что лучше, и услышал: конечно, сотрудник МИДа.

Этот приезд «для консультаций» был его первым отпуском, предоставленным МИДом. Прошлую поездку, в 1961—1962 годах, устроил брат Оскар, оплативший билет на самолет, а Вилье пришлось преподавать, чтобы заработать себе здесь на жизнь. Потом он еще раз хотел приехать, однако не позволили домашние дела. Поэтому он так признателен всем, кто устроил этот его визит.

— Я всегда хотел вернуться и очень счастлив быть здесь, потому что всегда любил Манилу. С самолета она такая же, как прежде. Только когда попадаешь в Макати, видишь огромные перемены. В шестьдесят втором году Макати был пустынным. На авеню Аяла стояли всего три больших дома. А теперь по обе стороны авеню Аяла — огромные здания, к тому же очень красивые. Сама Манила выглядит так же, как раньше, не считая «Хилтона». Разве что изрядно обветшала.

Зато климат, похоже, улучшился.

— Когда я был здесь прошлый раз, мне показалось, что жара страшная. Сейчас вроде бы уже не так.

Однако, заметил он, ухудшается качество вещей, которые для него символизируют Филиппины, например местных бананов.

— Я всегда вспоминал там, что бананы у нас огромные, любого сорта. А теперь везде мелкие. Очень жаль.

Его изумляет количество еды, подаваемое на приемах.

— Конечно, здесь я ем больше, чем в Соединенных Штатах. Вот только филиппинцы не знают, что такое сбалансированная диета. Они употребляют так много мяса, так много консервированных фруктов, но ни салата, ни супа — очень несбалансированно. Естественно, мне нравятся филиппинские блюда, но, знаете ли, когда переешь мяса... Я уже не могу есть его столько. Немного мяса, потом овощи, салат, десерт...

На одной изысканной свадьбе в «Индиос Бравос» он соорудил себе тостики из печенья с луком и майонезом. Потом объявил все это «самыми великолепными бутербродами», хотя и с одним изъяном: «Нет цветовых контрастов».

По его мнению, женщины Манилы отстают от моды.

— Мини-юбки, которые я здесь видел, все же очень длинны по сравнению с нью-йоркскими. На самом деле это вовсе не мини, поверьте. Но мини-юбки в Нью-Йорке совершенно вульгарны.

Ему больше по душе элегантность зрелых филиппинок. Когда он посетил показ мод, организованный Эльвирой Манахан, именно они покорили его.

— Эльвира Манахан была очень элегантна в своем белом классическом вечернем платье. А я пришел в парчовом пиджаке а-ля Неру, поверх — бусы. Мы вошли в зал, и все стали пялиться на нас. Буквально все, и даже не столько на Эльвиру, сколько на меня, хотя она была очень красива. Потом нас провели к столу. Там нас встретила Чито Васкес — моя старинная приятельница: я ее знал в Нью-Йорке еще подростком. Мы сели, а все продолжают смотреть — не на Эльвиру, а на меня. Должен добавить, я очень

рад, что открыл Эльвиру Манахан, такую красивую и утонченную женщину. За всю мою жизнь только пять женщин произвели на меня сильное впечатление: Ева, Грета Гарбо, Тото Локсин, Имельда Маркос и Эльвира Манахан.

Его визит вылился в сплошную череду приемов. Днем он спит, ночью бодрствует, а особенно в ударе — ближе к утру, в каком-нибудь из модных заведений Манилы — «Индиос Бравос» или «Доме моделей».

— «Дом моделей» — это, знаете, одна богема. Приходят кто в чем вздумает, обычно в каких-то экзотических одеяниях. А в «Индиос Бравос» публика классом повыше. В «Доме моделей» не разглагольствуют, туда ходят танцевать. А в «Индиос Бравос», наоборот, ходят поговорить, там знают толк в беседах.

Из молодых поэтов наибольшее впечатление на меня произвел Хосе Лакаба из «Фри пресс».

— Я не следил за филиппинской литературой последние лет двадцать, читал только поэзию, и, на мой взгляд, она ужасна, просто отвратительна. Но в Хосе Лакабе что-то есть. А может быть, и в его брате, Эммануэле. Одно стихотворение, которое я прочел в юбилейном номере «Фри пресс», очень сильное: «Запоздалая элегия». Оно несовершенно, но оно сильно, и мне кажется, что, судя по нему, мистер Лакаба может стать серьезным поэтом. Я славлю его в начале его восхождения точно так же, как Эмерсон, прочтя «Листья травы», славил Уитмена: «Приветствую тебя в начале твоего великого пути».

Из художников он выделяет Ли Агинальдо.

— Мне страшно не понравились его работы, выставившиеся в шестьдесят втором. Тогда я нашел их отвратительными. И для меня приятный сюрприз — познакомиться с его новыми полотнами. Прогресс потрясающий. Я видел одну его вещь в доме Линди Локсин — это шедевр.

А как ему вообще показались филиппинцы: они счастливы? несчастны? Вилья говорит, что затрудняется дать ответ, потому что «я никогда не смотрю на лица, хотя лица вечно смотрят на меня».

Я здесь

Хотя возраст уже заявляет о себе легкой сутулостью и седеющими висками, Вилья по-прежнему юный шалун. Сущность этого человека парадоксальна. О великих созданиях литературы — о Дон Кихоте, Фальстафе, старике Карамазове — говорят, что в подлинной жизни они были бы несносны, а вот читать о них необычайно увлекательно. Подлинный Вилья опровергает этот парадокс: общаться с ним столь же интересно, как и читать о нем; вроде бы он и невыносим, но производимое им впечатление как-то не зависит от поступков. Его постоянные проказы могли бы выглядеть как клоунада; на самом же деле — и даже скептики, немеющие в его присутствии, могут это подтвердить — остается впечатление того глубокого достоинства, которому не нужны ни титулы, ни посты, ни соответствующие одежды или манеры. Подлинное благородство не нуждается в натужном облагораживании; как говорили наши матушки: красив тот, кто ведет себя как красивый человек. Скажу еще раз: его склонность к орхидейной пышности как будто заставляет предположить, что он податлив; но попробуйте пойти против его натуры (например, заставьте его позировать для фотографии с девицами из монастырской школы) — и перед вами окажется самый упрямый осел в мире. Он упрям и жестокосерд, как ребенок. Но опять-таки, если из этого — а также из кажущегося пренебрежения чувствами других — вы выведете, что он вообще жесток, вы снова ошибетесь. Он уважает все достойное уважения, он человек доброй воли, хороший человек.

Те, кто содрогается при одной мысли о том, что Вилья — дипломат, принадлежат мрачной викторианской эпохе, когда помпезность путали со значительностью. Если современная история Америки чему-то учит, так это тому, что мир сходит с ума по таким блестящим натурам, как Кеннеди, но сыт по горло такими занудами, как Линдон Джонсон, Хьюберт Хэмфри и «этот новый» Никсон. Вилья — проконсул XXI века, он даже впереди хиппи, которых не очень жалуется.

— Несерьезные люди, большей частью недоучки, предел их желаний — отправиться в парк босиком, потренькать на гитаре, заняться сексом. Это безответ-

ственно, незрело, ведь весь свой век так не прожил. В жизни нельзя забывать об ответственности. А они хотят просто порхать по жизни. В Соединенных Штатах, мне думается, молодежь бурлит: там все против президента Джонсона — считают, что это он ответствен за вьетнамскую войну, а участвовать в ней никто не хочет. Я не политик. Конечно, войны быть не должно. Но было бы глупо с моей стороны высказывать политические суждения, когда у меня ум не приспособлен к политике.

Насколько он может судить, его ум сегодня — это зрелый ум, проникающий по ту сторону поэзии и интуиции.

— Творческая личность, художник пользуется интуицией, разумом; но ведь какой-то разум есть и у собаки, не забывайте об этом. Вот точно так же работает и художник — как пес. Он не использует свой ум полностью.

Вилья перестал писать стихи, потому что «мой ум созрел».

— Последнее стихотворение я написал в пятьдесят третьем году, это «Заякоренный ангел». Очень авангардистское стихотворение. В нем каждое слово — алмаз, каждые два слова — законченное стихотворение. Метафоры богаты и сочны.

Но у него не было ощущения, что он потерял что-то, когда тяга к поэзии угасла.

— Я чувствовал себя так, будто окончил университет. Защитил диплом и стал аспирантом. Мне представляется, что всякие творческие ремесла — от незрелости ума. Человек просто творческий не способен понять радость окончания учебы.

Но что дальше?

— Дальше — утонченность ума. Вот такого, как мой сейчас: я с его помощью кого угодно сотру в порошок.

А для чего еще можно употребить этот утонченный ум, кроме стирания в порошок?

— Для самоосуществления, самореализации. Да, творческий дух — это тоже самореализация. Но радость мышления отлична от радости творчества, точно так же как радость слышать отлична от радости видеть, а радость еды не есть радость секса. Всякая радость существует сама по себе.

Тогда зачем создавать иерархию этих радостей?

— Затем что даже ученый не достигает такой полноты самореализации, как художник, переросший потребность в творчестве. Ум ученого уступает уму художника, ставшего мыслителем. Мой ум сегодня — философский. Я способен улавливать столь тонкие различия, которые недоступны художнику, занятому творчеством, потому что он не умеет мыслить. Сейчас я мыслитель, а не творец.

И вот как мыслитель он работает над серией книг о языке и его роли в жизни и литературе.

— Есть устное слово и есть проза, или печатное слово, а есть слово поэтическое. Слово *часы* вроде бы одинаково звучит и в устной речи, и в прозе, и в поэзии. Но разве три этих слова — одно и то же? Разве они равноценны?.. Вода тоже предстает в разных состояниях. Это может быть жидкость, твердый лед или пар. Но полную свою мощь она выявляет как пар. Где больше энергии — в устной речи? в прозе? в поэтическом слове? Конечно, в поэтическом слове. Разве оно такое же, как в прозе или устной речи? Пар — это не лед, хотя то и другое — вода. Вот точно так же и слово *часы* — это знак, который сполна выявляет свою энергию лишь как поэтический пар... Разделения такого рода суть результат мышления. Если вы не мыслите, если не развиваете свой ум, вы не в состоянии проводить различия. Мой труд крайне структурирован. Он завязан в систему, и мне нужно время, чтобы раскрыть ее. Я уже пятнадцать лет работаю над серией книг. Это будет именно серия — четыре тома, но все последовательно связанные между собой. О языке и поэтическом процессе.

Он считает, что в памяти людей останется прежде всего как философ, а не как поэт.

— В конце концов сколько выживает стихотворений даже у превосходного поэта? Одно, два. Все сделанное вами прочтет только специалист, а так уцелеют каких-нибудь две-три поэмки. Вряд ли больше. Тогда как труд мыслителя, труд вроде того, которым я сейчас занят, может оказать влияние на образ мыслей, на воззрения будущих поколений.

Мысль о сегодняшнем, похоже, не очень его занимает. Он не желает высказываться даже по вопросу о том, идет ли его страна вперед или откатывается назад.

— Это может сказать только президент Маркос..

Я не могу, потому что я не президент. Вот если я стану президентом, тогда знать это будет моей обязанностью.

Он собирается выставить свою кандидатуру на пост президента?

— Никогда я не выставлю свою кандидатуру, потому что у меня нет желания стать президентом. Я хочу быть ангелом в тагальской рубашке.

ПЕТУШИНЫЕ БОИ В «КОЛИЗЕЕ»*

«Сабонг на любой вкус» — вот что предложил «Колизей» во вторник на прошлой неделе, организовав Международное дерби петушиных боев, впервые проходившее на Филиппинах.

Это было величайшее событие в истории боев: соревновались двадцать две команды, каждая из которых выставляла по шесть птиц — то есть 132 боевых петуха, 66 схваток. Правда, состоялось только шестьдесят пять, поскольку встреча между Йе Йе Вонель — петухом Генри Тана, и Коброй Джеймса Чонгбиана (оба содержались перед боями в темных подвалах) была, по обоюдному согласию, отменена — она уже никак не могла повлиять на исход чемпионата.

Бои, продолжавшиеся от полудня далеко за полночь, привлекли рекордное число зрителей — восемь тысяч человек. Там были сливки общества, люди явно при деньгах. И столь же явно состоятельные дамы в вечерних платьях и джинсах находились там не просто из любопытства, как на призовых боях. Женщины у арены показали себя самыми яркими болельщицами и отчаянными держательницами пари. Одной крайне невозмутимой молодой даме достаточно было, глянув через плечо, поднять бровь или пошевелить пальцем, как ее *кристо*¹ уже знал, на какую птицу она ставит и на каких условиях. Восемь тысяч азартных болельщиков сразу — столько еще никогда не собиралось нигде в мире. За рубежом и сами чемпионаты, и финальные бои по системе выживания привлекают в лучшем случае сотни людей,

* © 1980 by Nick Joaquin

¹ Кристо — так на Филиппинах называют лиц, принимающих пари на петушиных боях.

на Филиппинах же, признанном мировом центре петушинных боев, даже такие классические *пинтакаси*¹; как в Канделарии, собирали не более двух тысяч. Так что толпа петушатников на прошлой неделе в «Колизее» знаменует, возможно, зарю новой эры в истории боев.

Каковы проигрыши, каковы выигрыши — никто не говорит, однако нетрудно догадаться, что они огромны. На международной встрече в «Колизее» 17—18 мая в 1965 году минимальная сумма ставок на каждую птицу достигала пяти тысяч песо — и это в самом начале. Правда, на прошлой неделе минимум составил поменьше — всего две тысячи: так, курам поклевать. Но ведь птиц было куда больше, так что и куры поклевали. Один человек унес на руках стопку банкнот от пояса до подбородка. После каждого боя через сетку, разделяющую секции, летели толстые пачки денег. Одна пачка шлепнулась между сетками, и получателю пришлось попотеть пару минут, пытаясь подгрести ее к себе собственным поясом. В глазах мелькало золотое и красное — то сражающиеся петухи, то банкноты в пятьдесят и двадцать песо, которые передавали пригоршнями.

С 1963 года «Колизей» Аранеты проводит ежегодные летние бои (их теперь воспринимают как пик сезона) — золушка филиппинских развлечений стала поистине элитарным спортом, сопоставимым со скачками и боксом.

Молодой человек, который горит желанием сделать наш *сабонг* — петушинные бои — по меньшей мере столь же респектабельным, как баскская пелота, — это Джордж Аранета, в чьем генеалогическом древе полно петушатников. Джордж хотел бы вывести эту забаву с грязных арен и из фольклора, дав ей добропорядочные стадионы, где петухов сводили бы по весу, как боксеров, а бои велись по разработанному кодексу правил, не просто по традиции. Поскольку для начала у него был «Колизей», он с «Колизея» и начал, превратив его после международного финала 1963 года в арену для ежегодных боев. Финал — это соревнования двух команд, в «Колизее» — главным образом между американскими петухами и филиппинскими отборными бойцами.

¹ Пинтакаси — петушинные бои в честь святого какой-либо местности.

Пробудив интерес к петушиным боям такого рода, Джордж сумел продвинуть свою идею дальше, устроив в этом году дерби, то есть открытый турнир, где может состязаться неограниченное число команд. Строго говоря, дерби на прошлой неделе еще не было международным — участие единственной зарубежной команды, американской сборной, не тянуло на международную встречу, однако приглашение Джорджа приняла довольно представительная группа лучших петушатников нашей страны от севера (петухи Чавета Сингсона из Илокос-Сур) до юга (петухи Гарсии Далисая из Давао), а также петушатники диаспоры (Гавайский Глаз Эдвина Насимиенто). Знаменитые питомники выступают под общими боевыми кличками. Петухи Джорджа Аранеты записаны как Буревестники, конгрессмена Хосе Альдегера — Воители Сары, птицы с арен Тоса Рейеса (оптическая фирма и скаковой клуб в Санта-Ана) неизвестно почему именуются Камин-5, у птиц из клеток Джеймса Чионгбиана общее имя — Кобры. Другие славные петушиные клички: Лизы — это птицы Эдди Аранеты (говорят, у него больше всего бойцов в стране), Кавите — Джуна Монтано, Бароны — Д. О. Пласы, РСР — Рамона Риверо, Речники — майора де Гусмана, Шангри-ла — Мами Лаксона, Малибай — птицы Джуна Домингеса. И нет нужды объяснять, кому принадлежит боец, выступающий под боевой кличкой Братья Асистю.

Все сто тридцать два петуха, выставленные двадцатью двумя командами, — иностранцы. Местный «техасец» не имеет ни малейшего шанса выстоять против бойцов иностранной породы. Из шести Буревестников, выставленных Джорджем Аранетой (все красные халсейцы), четыре были новичками, два — ветераны. Из ветеранов один в этом году выиграл *пинтакаси* в Канделарии, Илоило, другой стал чемпионом на недавнем местном дерби в Параньяке.

До начала турнира в «Колизее» фаворитами числились представители знаменитых питомников: Лизы, Кобры, Буревестники, Воители Сары, Братья Асистю. Но предстартовые надежды сразу же рухнули. В последнюю минуту из списков была вычеркнута единственная иностранная команда — Объединенная американских селекционеров Джонни Мура и Харольда Брауна — под тем предлогом, что долгое путешествие

через Тихий океан измотало их бойцов. Никто не обратил особого внимания на манильскую команду, некую Лигу Джей и Джей, из неизвестного питомника, принадлежащего Джессу Кабалсе и Че Веласко.

На турнире разыгрывались обычные награды (платила фирма «Пепси-кола») и большой приз в сорок четыре тысячи песо. Каждая команда сделала свой вступительный взнос в две тысячи песо, а также установила индивидуальную ставку минимум в две тысячи. Решено было присуждать командам по одному очку за каждую победу и по пол-очка за ничью; команда с наибольшим количеством очков получит главный приз и 70% сбора, остальные 30% пойдут команде, занявшей второе место.

До десяти часов утра шло взвешивание бойцов. Это были великолепные экземпляры — чудовищных размеров, с гордой осанкой и пышным оперением, весом от двух до двух с половиной килограммов. Напряженные, как у скаковых лошадей, мышцы шеи и ног — буквально комки энергии — говорили о взрывчатой природе этих чистокровных бойцов. В них чувствовалась мощная потенция — понятно, почему в разговорном английском слово «петух» означает также «фаллос». Перед самым боем петухам надевали металлические шпоры — тонкие смертоносные лезвия от двух до пяти дюймов длиной. Петухов взвешивали еще раз перед самым выносом на арену; превышение веса на сорок граммов от зарегистрированного вело к дисквалификации.

На прошлой неделе было продемонстрировано новшество, заимствованное из США: новая арена. Огромный кубический каркас затянут сеткой, пол, посыпанный песком, на уровне глаз зрителей, нижняя часть застеклена, а сам куб разделен на два отсека: главная арена и запасная. На каждый бой отводилось по пять минут. Если за пять минут *сентенсидор*, то есть рефери, не в состоянии вынести решение, птиц переводят на запасную арену и дают еще десять минут. Если и после этого исход боя неясен, объявляется ничья. Все это быстроты ради — таков уж задор у бойцовых петухов: израненные, изувеченные, даже ослепшие, они все равно продолжают сражаться, и бой может длиться весь день. «Регламент» и запасная арена позволяют избежать затяжных схваток и обеспечивают быстроту и непрерывность

программы: на главной арене обычно уже начинается новая схватка, а на запасной еще продолжается предыдущая, не давшая результатов по истечении первых пяти минут. Однако на прошлой неделе запасная арена в «Колизее» не всегда использовалась по своему главному назначению, то есть чтобы освободить место для следующего боя. Пары, чей бой продолжался дольше отведенных пяти минут, действительно переводились на запасную арену, но на основной очередная схватка так и не начиналась. Джордж Аранета объяснил, что он просто хотел опробовать это новшество и не желал вносить путаницу, показывая две пары сразу; однако в США используют и две запасные арены, бывает, там схватки идут даже одновременно на трех.

Турнир должен был начаться в одиннадцать, но до полудня не удалось приступить к делу. Как *sol* и *sombra*¹ — две стороны арены для боя быков, так и тут противоположные стороны были обозначены тагальскими словами *meron* — «есть» и *wala* — «нет». Это исходные позиции бойцов на арене. И вместо того, чтобы орать, как обычно: «На красного!» и «На белого!», орали: «На *уала!*» и «На *мерон!*», а чаще получалось «На *ла!*» и «На *рон!*». Такая вот замена цветовых обозначений. Обычно фаворита, то есть петуха, на которого поставили больше, помещают на сторону *meron*; но когда суммы ставок у стравливаемых петухов одинаковые, то разделение на *wala* и *meron* относится лишь к хозяевам птиц: у кого на голове шляпа, тот *meron*.

В целом схватки бывают скоротечные, бескомпромиссные и жестокие; они редко длятся больше минуты. Птиц вносят, стравливают друг с другом — причем стравливающие, похоже, удерживают бойцов за хвост изо всех сил, а те вырываются, — и на три минуты воцаряется кромешный ад: зрители орут, делая ставки, *кристо* отвечает. Все ставки надо успеть сделать за эти три минуты. Потом петухов отпускают.

На петушиных боях с замиранием сердца начинаешь понимать, что петухи все же *птицы*. Мы заземлили их, приручили, прижали к земле, мы держим их взаперти в клетках, но в минуту ярости они возвращаются в свою первобытную стихию. Петушиный бой идет не на песке, не на арене — он идет в возду-

¹ Солнце и тень (*исп.*).

хе, это судорога в пространстве. Петухи *налетают* друг на друга, они *летят*, они *взмывают* вверх, сшибаясь. Хорошая схватка всегда скоротечна и проходит не на земле. Бойцы как будто колесом крутятся в воздухе: вот наверху один петух, вот он уже внизу, а лезвия все сверкают и режут, а крылья все хлопают и перья летят. И сердце твое подпрыгивает с каждым прыжком петухов, которые там, в воздухе, слились в единый вихрь, в удар молнии, во взорвавшуюся звезду. Это конвульсии сгустившихся воздушных струй. Наилучшее сравнение — воздушный бой истребителей или глаз бури, центр тропического циклона. Петушатники говорят, что удар, нанесенный в воздухе, втрое опаснее удара, нанесенного на земле. И всякий раз — острое чувство разочарования, когда петухи падают на землю и начинают бегать, увертываться и клевать друг друга. Там, наверху, они были ангелами; здесь, внизу, это просто птицы. Вот они снова взмывают вверх, и ты взмываешь вместе с ними. Когда они устремляются вниз, кажется, что рушатся небеса. В «Колизее» на прошлой неделе взлеты этих великолепных птиц были столь же зрелищны, как прыжки в балете, от них точно так же захватывало дух. Был ведь когда-то фильм, где Анн-Маргарет испытывает оргазм, наблюдая за боем петухов; и хотя некоторых смешит хемингуэевская реакция на такие кровавые зрелища, как петушиные бои или бои быков, можно понять, почему этот спорт никогда не будет столь невинным, как бейсбол, и почему женщины у арены на прошлой неделе вздрагивали при каждом прыжке петухов. Всякий раз, когда, преодолев земное тяготение, два петуха ракетой взмывали вверх, сшибались, сливались в смертном бою и, брызжа кровью, погибали в пространстве, они расписывались своей доблестью в прозрачном воздухе арены.

А дальше — неизбежное нисхождение к земному, человеческому уровню: один петух простерт на земле, другой вышагивает рядом и долбит клювом в разные стороны под рев толпы. Потом рефери берет обоих петухов и сводит их клювами. Обычно более сильный наносит *coup de grâce*¹. Потом объявляют победителя и уносят мертвого бойца. Выходит человек с мет-

¹ Смертельный удар, наносимый из милосердия для прекращения страданий (франц.).

лой, подметает перья, присыпает кровь на песке. И выводят следующую пару.

Петушиный бой вызывает ощущение такое же сильное, как бой быков или акт любви. Он может быть очень жестоким, как первая ничья на прошлой неделе, когда оба петуха уже на запасной арене сражались упорно, но как-то вяловато; это было ужасно: толпа ревела, выкрикивая новые пари, а изувеченные петухи слабели на глазах, и рефери визгливо отсчитывал секунды. Но в большинстве схваток был высший момент экстаза — и он всегда совпадал с яростной сшибкой в воздухе.

Несколько менее возвышенные чувства вызывались тем, что фавориты вопреки ожиданиям часто уступали безвестным бойцам. Везение и невезение как бы чередовались: поначалу казалось, что фавориты оправдывают надежды, а новички уступают. Однако, когда долгий душный день начал переходить в вечер, стало ясно, что могут оправдаться самые невероятные предположения. Лига Джей и Джей выиграла пять схваток из шести. Какое-то время казалось, что Братья Асистю обходят всех. Но в самой последней схватке Первого международного дерби Братья Асистю проиграли Беннету Реду Джуна Монтано. Окончательный счет для Асистю: три победы, два поражения, одна ничья — и ровно столько же у Джуна Монтано.

Прочие фавориты: Воители Сары (Альдегер) завершили состязания с одной победой, четырьмя поражениями и одной ничьей; Кобры (Чионгбиан) одержали три победы; Лизы (Эдди Аранета) имеют две победы, три поражения и одну ничью; Тарлаки (Пепинг Кохуанку) — три победы, два поражения и одну ничью; петухи Агусана Боя Кало — три победы и три поражения; РСР (Риверо) — три победы. Буревестники Джорджа Аранеты завершили состязания со счетом 2—3—1; сам он говорит, что последние пять лет ему, в общем, везет: «60—65% выигрешей», но в этом году — «фифти-фифти»¹.

Итак, первое место заняла манильская команда — не очень высоко котирувавшаяся Лига Джей и Джей Джесса Кабалсы и Че Веласко. Второе место — тоже за новичками: Баронами Д. О. Пласы, у которых четыре победы, два поражения, одна ничья.

¹ Пятьдесят на пятьдесят (англ.).

Джордж Аранета утверждает, что результаты его устраивают, поскольку небольшие и малоизвестные петушатники, зная теперь, что и у них есть шанс против знаменитых питомников, с большим энтузиазмом будут участвовать в следующих чемпионатах. А значит, победитель дерби — сами петушиные бои, которые наконец освобождаются от скверной репутации и занимают достойное место в современных играх.

Прошлое арены

Любимое развлечение филиппинцев — одна из древнейших и благороднейших игр человечества. Скорее всего, петушиные бои зародились в Индии — именно там дикие красные куры, которые водились в джунглях, были приручены и обращены в известную нам домашнюю птицу. Не исключено, что как раз игры и привели к одомашниванию этих воинственных птиц, столь ценимых за боевитость, и нынешний бойцовый петух ближе всего к своим древним родственникам.

Из Индии петушиные бои распространились на восток — в Китай и на запад — в Персию, где греческий военачальник Фемистокл, впервые увидев петушиный бой, был настолько захвачен этим зрелищем, что призывал своих воинов драться так же. Его войска победили персов, и в память об этом в Афинах были учреждены петушиные бои, быстро завоевавшие популярность. Петушатники могут утверждать, что их забава когда-то входила в программу Олимпийских игр. Она же стала и священным ритуалом. Верховный жрец Дионисия восседал на троне, на котором была вырезана крылатая фигура Эроса, бога любви, с бойцовым петухом в руке, что свидетельствует о первоначальном религиозном значении этой игры, возможно связанном с обрядом плодородия. Можете не сомневаться: то резное изображение заставило многих греков увидеть в боге любви петушатника; равно как изображения св. Петра с петухом в сцене отречения от Христа вызвали к жизни убежденность филиппинцев в том, что петушатником был и князь апостолов.

А он вполне мог им быть, потому что ко времени Христа петушиные бои были широко распространены

в Средиземноморье. Суровые римляне периода ранней Республики осуждали эту «греческую утеху», но с Империей пришла эпоха повального увлечения петушиными боями. Цезарь, самый благородный петушатник, занес эту забаву в Англию и во Францию. Первоначальное название Франции — Галлия, от слова «петух», а красный петух, уроженец индийских джунглей, и поныне является национальным символом Франции.

В средние века кульминацией сезона петушиных боев был карнавал (за три дня перед Пепельной средой¹), когда состязания проходили в школах, в церковных дворах и даже в самих церквях. В Англии Генрих VIII соорудил арену для петушиных боев в Уайтхолле, а Стюарты — завзятые петушатники, особенно Яков I и Карл I, — вновь вызвали к жизни эту забаву после подавления ее пуританами. Петушиные бои были категорически запрещены в Великобритании королевой Викторией в 1849 году.

В Соединенных Штатах (там, говорят, орел выиграл у петуха с перевесом всего в один голос, когда выбирали национальный символ) запреты начались ранее, еще в 1836 году, когда Штаты Новой Англии начали принимать законы, запрещающие петушиные бои. Но это увлечение долго сопротивлялось на Юге, где на его защиту встали Вашингтон, Джексон, Джефферсон и Линкольн, отдававшие дань арене. Линкольн на просьбу о запрете этой забавы ответил так: «Поскольку Всемогущий Бог позволяет разумным людям, созданным по Его образу и подобию, открыто сражаться и убивать друг друга под одобрительными взглядами всего мира, не мне лишать цыплят той же привилегии». Тем не менее пуритане в конце концов одолели, и сейчас в большинстве штатов петушиные бои вне закона, хотя процветают подпольно.

Когда древнейшая, может быть, игра земной цивилизации была запрещена англосаксами, она стала смущать меньшие народы. Но Латинская Америка была потеряна для этой утехи, за исключением Кубы и Пуэрто-Рико, хотя обитатели Центральной Америки все же сохранили одну из разновидностей петушиных

¹ Пепельной в католических странах называется среда первой недели Великого поста.

боев, при которой используются только естественные шпоры.

Петушатники утверждают, что их забава не жестока, ибо она естественна; драчливость инстинктивно присуща петуху — недаром природа снабдила его шпорами. Если петухов предоставить самим себе, они будут биться до смерти; металлические же шпоры лишь ускоряют неизбежную агонию, могущую затянуться надолго. Азарт? Но возьмите любой вид спорта — везде можно держать пари и... жульничать. Петушинные же бои — как раз такой спорт, где жульничество практически исключено. Это чистая игра, это честная игра. Даже те, кто ненавидит арену, восхищаются правилами чести, царящими на ней. Какой это порок, если там требуется проявлять лучшие качества?

Хотя мы сраживали петухов еще до прибытия Магеллана, наша нынешняя культура петушатников с *галерой* — помещением для боев, *тупадой* — воскресными боями и *пинтакаси* — боями в дни святых есть сугубо креольская. Креольской является и здравая народная теология, она видна уже в самом названии *кристо*, потому что *кристо* действительно, как Христос, выступает в роли посредника и заступника. Арена для петушинных боев совсем по-креольски служит и колыбелью нации, поскольку она была — и по сей день остается — одним из немногих мест, где сходятся вместе все расы и социальные слои Филиппин.

За много веков эта забава произвела несколько национальных пород хороших бойцов, самая знаменитая из которых — батангасская, известная под названием *балуланг* (так называется клетка, в которой их носят); но незнание научной селекции мешало появлению бойцов высшего класса. В 20-х годах бывший американский солдат начал скрещивать в Пампанге породистых петухов, завезенных из США. Поскольку первая партия этих птиц прибыла из Техаса, то и порода, выведенная им (а позднее и на асьенде Аранета-Юло) стала известна как техасская, хотя позднее к ней и примешивалась другая кровь. Техасский боец быстро смел всех противников на филиппинской арене — так исчезли и *балуланг*, и другие местные породы. Все *сабонгеро* захотели иметь только техасцев и стали красть их друг у друга безбожно, что способствовало распространению породы. Се-

сегодня на Филиппинах ни на одной арене не найдешь представителей чистой туземной породы, во всех есть тexasская кровь.

Анхель Х. Лансанг, написавший лучшую книгу по этому предмету, «Петушинные бои на Филиппинах», говорит:

«Почти везде можно видеть следы породы — она вырождается, обречена на вымирание, хотя ее бойцы еще могли бы показать себя. Наши туземные *балу-ланги, болинао, камаринес* и *паланан* обречены, и их используют исключительно как добавки при скрещивании. В самых отдаленных районах их еще выпускают на арену, однако, скорее всего, и в них уже есть примесь тexasской крови. Со временем они совсем исчезнут из царства петушинных боев.

Главная тенденция сегодня — вывести и закрепить отчетливо филиппинский тип птицы совершенной красоты, с бесстрашным сердцем бойца и мощным ударом. Несомненно, все эти качества могут быть получены на месте, как это удалось с тexasской породой, завезенной с континента. Путем скрещивания наш туземный боец быстро становится тиглем, в котором соединяется кровь всех пород. Но экстерьер, унаследованный от несравненного тexasского петуха, скрыть невозможно. Он будет проявляться всегда, для этого достаточно малейшей примеси».

Эта порода считается столь могучей, что, по местным верованиям, яйца, оплодотворенные тexasским бойцом, восстанавливают потенцию у мужчин.

Однако среди наших петушатников бытует мнение, что порода местных тexasцев растворилась, и на ответственные бои выставляют только недавно завезенных петухов или их потомство в первом поколении. Цена колеблется от пятисот до двух тысяч песо, и питомник на тридцать птиц обходится не дешевле, чем содержание одной скаковой лошади. Джордж Аранета считает, что у нас неподходящий климат, да и умения не хватает, чтобы вывести породу чемпионов. Хотя он верит, что со временем мы создадим питомники, в которых выведем филиппинского бойца, не уступающего тexasцу.

Арена будущего

В настоящее время Джордж Аранета главной задачей считает поднятие авторитета петушинных боев. Люди, утверждающие, что это порок, который свидетельствует о вырождении и способствует ему, всегда могут указать на грязь и мерзость, и отрицать это будет невозможно. *Галера* не изменилась к лучшему с испанских времен; а там, где вульгарна атмосфера, люди тоже становятся вульгарными. Джордж говорит, что всякий раз, когда жена вызывается сопровождать его на петушинные бои, приходится ее отговаривать. «Ей там неуютно, потому что я должен присматривать за нею. Это не для нее». «Колизей» как место проведения боев — большой шаг вперед на пути обретения достоинства и престижа.

Покойный мэр Лаксон предлагал соорудить в Маниле роскошную кондиционированную арену для развлечения туристов, где *тупады* проводились бы каждый день и каждую ночь, но на это требовалось специальное разрешение конгресса. По словам Джорджа, сейчас группа петушатников вернулась к данному предложению и собирается организовать лобби в конгрессе с целью добиться его осуществления. Современная арена для петушинных боев не только привлечет туристов в Манилу, но и поможет начать запоздавшую модернизацию всего «петушиного дела», послужив образцом для всех.

Это пристрастие меняется на глазах, оно уже не ассоциируется со стариками, курящими сигары домашней крутки и жующими бетель. Оно становится более урбанизированным, привлекает изысканную публику, о нем как о некоем виде спорта уже пишут в газетах. И давно пора, ворчат петушатники, потому что спортивные страницы наших газет почти сплошь заняты отчетами о теннисе и гольфе, хотя для девяноста процентов филиппинцев гольф и теннис — все равно что халдейское таинство, а вот петушинные бои — это факт филиппинской жизни. В «Колизее» на прошлой неделе большинству зрителей было меньше сорока лет, и, судя по одежде, они не были дном общества. Там говорили о питомниках на четыреста импортных бойцов, как у Эдди Аранеты, и я слышал, что в других знаменитых питомниках птиц не намного меньше.

Играющие «по крупной» посещают все престижные встречи, разъезжая по стране во время сезона боев, а он длится с декабря по июль. Петухи линяют, то есть меняют оперение во время дождливого сезона; так что на тех *пинтакаси*, что выпадают на сезон дождей, а равно и на случающихся в это время *тупадах*, играет мелкая сошка. Настоящий сезон открывается в середине декабря, и началом его неизменно служит рождественское дерби в Параньяке. А потом пошло-поехало: Себу в январе — *пинтакаси* св. Младенца; Тарлак в мае — *фиеста* в Паники; Кавите в апреле — пасхальные бои; Агусан и Бутуан в мае — *пинтакаси*; Давао в июне — высшая точка летнего цикла празднеств. Но гвоздь сезона — ежегодный чемпионат в «Колизее». Центральным событием этого сезона и стало дерби на прошлой неделе.

Из шестидесяти пяти схваток, семь из которых закончились вничью, особенно выделялись три — как известностью участников, так и суммами ставок. Ставили и песо против песо, и восемь против десяти, и два против трех, а случалось, и *добладо* (если выигрываешь, то ставка удваивается).

Сенсацией вечерних боев была битва между двумя «суперпетухами»: Коброй Чионгбиана (серый петух) и бойцом Гарсии и Далисая из Давао. Все знали, что Гарсия и Далисай вместе наняли знаменитого американского птицевода, Джо Гуда, готовить к боям их питомник; и вот Давао выставил против Кобры красного бойца. Обе птицы весили по 2480 г, серому — три года, красный на год моложе. Схватка протекала с быстротой молнии и заняла всего сорок пять секунд — столько понадобилось Кобре, чтобы разделаться с хваленым бойцом из Давао. Хотя стонов было немало, слез никто не проливал — ставили песо против песо. Но суммы ставок были самыми крупными за день: сорок тысяч на Кобру и двадцать — на бойца из Давао.

Наиболее захватывающим оказался бой между Буревестником Аранеты (красный петух) и РСР Риверо (золотистый). Обе птицы были примерно одинаковы по всем статьям, и ставили на них песо против песо. Сама схватка стала ошеломляющим спектаклем: птицы предпочитали сшибаться в воздухе. Они взлетали все выше и выше, накал борьбы нарастал. Внезапно РСР рухнул на землю и затих. Буревест-

ник тоже приземлился и начал бить клювом в разные стороны. Казалось, бой окончен, Буревестник несомненный победитель, и вдруг... РСР вздрогнул и дернул ногой. Это судорожное движение пришлось прямо по шее Буревестнику: лезвие шпоры перерезало ему горло, и тот кончился на месте. Риверо, показавший себя не бог весть как, к своему удивлению, оказался победителем.

Третий superbой был самым длительным и самым яростным из всех схваток на основной арене. Сошлись Камин-5 Тоса Рейса (красный петух) и Речник майора де Гусмана (красно-золотистый). Последний был фаворитом, ставили на него много. Бойцы сражались полторы минуты, преимущества не было ни у кого, каждую секунду битва могла повернуть в любую сторону, то одна, то другая птица, казалось, одерживала верх. Напряжение стало невыносимым, толпа редела, и тут вдруг красный взмыл, нанес удар и прикончил соперника. В наступившей тишине можно было слышать, как падают банкноты.

Полуночный бой, завершивший дерби,— Братья Асистио против Монтано из Кавите — тоже был захватывающим; очень интересная скоротечная потасовка, в которой Асистио были на волосок от победы. К тому времени их счет был 3—1—1. Победили они в последней схватке, они бы разделили второе место с Д. О. Пласой (он завершил бои со счетом 4—1—1). Но петух Асистио до последней минуты держал всех в напряжении.

К тому времени самый неопытный из новичков уже на всю жизнь прирастал к петушиным боям. По выражению Джорджа Аранеты, унаследовавшего эту страсть от отца и деда,— «впитал бы осмотически».

Но это неправильно.

Мы, филиппинцы, инстинктивно реагируем на клич: «На красного! На белого!»

Это у нас в крови от рождения.

АНДИНГ РОСЕС ИГРАЕТ ДЖЕЙМСА БОНДА*

Сначала воры позвонили Луису Монтилье, директору Комиссии по празднованию столетия Хосе Рисаля.

Голос в трубке сказал по-английски:

— Рукописи Рисаля у меня.

— Вот и чудно,— сказал Монтилья.— Поосторожнее с ними, малыш. А когда ты собираешься их вернуть?

— Мистер Монтилья, это не шутки. Дело серьезное.

— Я знаю, что серьезное.

— Мне нужно знать одно: вы хотите получить рукописи?

— Конечно, хочу. Я очень этого хочу.

— Вот и хорошо. Это все, что мне надо было знать. Я еще позвоню.

— Когда?

— Скоро. Отныне и впредь я буду представляться как мистер Рисаль.

Два дня спустя секретарь Монтильи сообщил ему, что на проводе некий мистер Рисаль. И снова голос в трубке не мешкая приступил к делу.

— За рукописи мы хотим получить сто тысяч песо.

— Но, малыш, откуда нам взять такие деньги?

— У правительства.

— Правительство заявило, что не даст для выкупа ни единого сентаво.

(15 декабря, через неделю после кражи, сотрудники Комиссии получили послание, составленное из вырезанных газетных заголовков: в нем содержалось требование уплатить полтора миллиона песо за возвращение рукописей; Комиссия объявила, что платить не будет.)

— Удивляюсь я тебе,— сказал Монтилья звонившему.— Как это ты, вроде образованный человек, и по-английски хорошо говоришь, а решил, что запугаешь правительство и оно выплатит вам выкуп?

— Тогда сами раскошеливайтесь.

— Послушай, парень, я почти всю жизнь на государственной службе, но до сих пор мне даже видеть не доводилось таких денег.

Препирательства продолжались несколько минут; потом звонивший предупредил Монтилью: полицию не уведомлять.

— А что я им могу сказать? Я не знаю, ни кто ты, ни где тебя искать. И вообще, мне вовсе не нужно, чтобы кого-то арестовали. Мне нужно только вернуть рукописи.

Через пару дней «мистер Рисаль» позвонил снова.

— Как насчет ста тысяч песо, мистер Монтилья?

— Даже если бы я мог собрать такую сумму, малыш, с чего мне этим заниматься? Я ведь и не уверен, что рукописи действительно у тебя. Откуда мне знать — вдруг это просто розыгрыш?

— Хорошо, я пошлю по почте кое-что хорошо вам знакомое. Но предупреждаю еще раз: ни слова полиции, иначе рукописи будут уничтожены.

В конце января Комиссия получила объемистый пакет, отправленный 26 января из почтового отделения форта Маккинли. Монтилья сразу же узнал содержимое — небольшую рамку и клочок бумаги. В этой рамке когда-то находилась поэма Рисаля, написанная им по случаю окончания коллегiums иезуитов; что до бумажки, то это была бирка с библиографическим описанием рукописи «Флибустьеров». Стекло рамки было разбито.

Вскоре по телефону снова раздался таинственный голос.

— Вы узнали, мистер Монтилья?

— Да, малыш.

— Ну?

— Я сам не могу принять решение. Но вот что я сделаю. Новый министр просвещения, мистер Алехандро Росес, сейчас является председателем нашей Комиссии. Я поговорю с ним, может быть, ему удастся убедить Комиссию изыскать деньги.

Несмотря на угрозы звонившего, Монтилья передал рамку в полицию, после чего отправился на встречу с министром просвещения Росесом.

Канатоходец

Алехандро Р. Росес всего около месяца как стал министром просвещения, и ему тут же пришлось совершать действия, явно не входящие в круг его обязанностей: он-то полагал, что должен присматривать за школами, а не выступать в роли частного детектива.

Это коренастый светлокожий человек с круглым лицом, темными глазами, усами-щеточкой и прической, как у мексиканцев времен Панчо Вильи. «Я причесываюсь так, чтобы скрыть лысину», — гово-

рит он. Но даже и без этой прически он очень похож на латиноамериканца, и его изыскания в области культуры направлены на то, чтобы как-то умерить наше излишне американизированное сознание при помощи испанского и доиспанского наследия. Известен он как ведущий некогда знаменитой колонки в «Манила таймс» — «Росес и тернии», разысканиями в области филиппинской фиесты, трудами о *сариманок* — волшебной птице из фольклора наших мусульман-моро, а также художественной прозой — почти исключительно о петушиных боях. У него мягкие манеры и негромкий, чуть визгливый голос, но он показал, что смелость у него есть, и моральная и физическая. Смелость первого рода требовалась, чтобы пригласить такого поэта, как Хосе Гарсия Вилья, в Дальневосточный университет — а Росес сделал это; смелость второго рода понадобилась, чтобы пуститься за украденными рукописями Рисаля, чем Росес и занялся, не подумав, с какими опасностями это сопряжено. Теперь же понадобятся и та и другая смелость, чтобы, совершив этот шаг, преодолеть все последствия подвига, который необъяснимым образом вызвал кое-где куда больше гнева и негодования, чем само похищение уже вызволенных рукописей.

Претензии же сводятся к следующему: Росес ходил по очень непрочному канату; он балансировал на трапеции, чрезвычайно ненадежной с этической точки зрения. Все это было проделано достаточно ловко, однако он должен был понимать, что делать этого не следовало вообще.

Рукописи возвращены, но имел ли он право вступать в переговоры с ворами? Не лучше ли было смириться с пибелью рукописей, чем оказывать вору такую честь: ведь член кабинета вступил с ним в переговоры, он упрашивал преступника?..

Праведно негодующие вопили: «Никаких сделок с преступниками!»

Росес говорит, что ни в какие сделки он не вступал; его критики утверждают: отвратительно здесь уже то, что он начал переговоры.

К счастью или к несчастью — в зависимости от того, с какой стороны посмотреть на эти споры, — Росес нимало не задумывался над этическими тонкостями, когда директор Монтилья сообщил ему, что какой-то человек предлагает за выкуп вернуть ру-

кописи Рисаля — человек, у которого, вне всякого сомнения, рукописи действительно были.

Росес просто велел Монтилье переадресовать того человека к нему. Это было в четверг, 1 февраля. В тот же день часов около трех в кабинете Росеса раздался телефонный звонок. Голос в трубке сказал по-тагальски:

— Это Рисаль, господин.

Росес спросил, каковы их требования, и услышал ошеломляющий ответ: за похищенное — полтора миллиона песо. Цена поднялась.

— Но откуда мне знать, — спросил Росес, — что рукописи у вас?

— *Kami po ang nagbalik ng frame*¹.

Тут следует отметить, что в тагальском языке множественное число первого лица вовсе не обязательно обозначает одного человека; но Росес уверен, что на другом конце провода были двое, которые говорили поочередно, выдавая себя за одного. Разговор шел преимущественно по-тагальски.

— А, — сказал Росес, — так это с вами я говорил сегодня утром?

— Нет, мы звонили мистеру Монтилье.

— Но человек, с которым я говорил утром, сказал, что это он прислал рамку.

Ни с каким таким человеком Росес не разговаривал — он просто намеренно запутывал звонивших, чтобы подтолкнуть их к раскрытию еще каких-либо данных о себе, вызвать их на откровенность, может быть даже на рассказ о том, как произошла кража.

В конце концов он дал понять, что его убедили и он попытается наскрести выкуп.

— Когда мы получим деньги?

— Ну, это зависит от того, как скоро министр финансов одобрит выделение средств.

— А разве нельзя одобрить сейчас же?

— Я попробую, но ведь затем это должно быть одобрено президентом, а после него — конгрессом.

Все это, конечно, было чистым вздором: Росес просто хотел создать впечатление непреодолимой бюрократической волокиты, а заодно осторожно намекнуть, что со временем получить деньги удастся. Надежда — и только она — заставит похитителей поддерживать с ним контакт, а это ему и нужно было.

¹ Это мы, господин, вернули рамку (тагальск.).

Разговор кончился тем, что голос на другом конце провода выразил удовлетворение: наконец-то нашелся хоть один человек, согласный вести переговоры о возвращении рукописей.

На следующий день, в пятницу, снова звонок. Что уже сделано, чтобы получить деньги? Росес объяснил, как трудно пробить такое дело, пока нет явного доказательства, что рукописи у них. Звонивший предложил выслать страницу по почте.

— Нет, этого не делайте, — быстро сказал Росес. — Ее могут затерять или повредить при пересылке. Думаю, мы должны встретиться.

В конце концов звонивший согласился.

— Но смотрите, без фокусов, а то мы сожжем рукописи.

Звонивший сам назначил время и место встречи: в три часа дня, на Лунете, у трибун.

Росес описал, как он выглядит. Ввиду прохладного дня на нем был серый костюм из итальянского шелка, плотная белая рубашка и красный галстук в белый порошок. Описал и машину: красный «костин» с номерным знаком 06. Он сам будет за рулем.

Последнее стихотворение

Без пяти три он приехал на Лунету, припарковал машину возле флагштока и пешком пошел к трибунам. На следующий день там должен был собраться Евхаристический конгресс, поэтому рабочие деловито сновали по трибунам, устанавливая освещение и украшения, расставляя скамьи на противоположной стороне площади. Росес еще подивился, почему это воры выбрали такое шумное и многолюдное место.

Он стоял и смотрел на занятых рабочих, когда к нему подошел человек, которого поначалу он тоже принял за рабочего.

— Добрый день, мистер Росес. Я и не знал, что вы похожи на Рисаля.

(Росес смеется: «Понятия не имею, с чего он так решил, разве что из-за усов».)

Подошедший был в розовой рубашке с короткими рукавами, на вид лет тридцати, и напоминал скорее провинциала, чем столичного жителя. «Такие типы, —

говорит Росес,— продают апельсины возле супермаркетов». Росес уверен, что этот человек не был из тех, кто с ним разговаривал. «Такому может взбрести в голову украсть ради выкупа джип, но никак не художественную реликвию. Думаю, он был лишь пособником тайного руководителя».

Связной явно не знал Росеса, но делал вид, будто знает: «Вы были у нас деканом, когда я учился в коммерческом колледже Дальневосточного университета». Росес никогда не был деканом коммерческого колледжа. Связной также заявил, что присутствовал на заключительной церемонии празднования столетия со дня рождения Рисаля и на него, дескать, произвела глубокое впечатление речь Росеса. Росес оторопел: единственным, что он сказал тогда, было: «Объявляю торжества по случаю сотой годовщины рождения Рисаля закрытыми».

Они сидели на только что установленной скамье, лицом к морю. Росес огляделся вокруг, посмотрел на снующих рабочих.

— Что это они? — спросил он. — Для Акихито?

Связной тоже не знал.

И вот тут начались переговоры. Росес стал говорить, как трудно добиться выделения такой огромной суммы — полутора миллиона песо без всяких доказательств того, что он имеет дело с людьми, у которых находятся рукописи.

— Я мог бы предъявить вам доказательство,— сказал связной.

После некоторых уговоров он вытащил в конце концов пластиковый конверт, в котором был сложенный лист бумаги. Он извлек его и протянул Росесу. Росес развернул бумагу: внутри оказался тоже сложенный вдвое еще один листок — более старый и пожелтевший. Он сразу понял, что это оригинал стихотворения Рисаля. И спокойно положил листок в карман. Связной так опешил, что не остановил его.

— Но я же должен показать его эксперту,— сказал Росес, когда связной наконец опомнился и стал требовать листок назад.— Откуда мне знать, что это оригинал? У нас в стране всего два-три человека могут установить это. Не могу же я просто так прийти к президенту и сказать, что видел оригинал собственными глазами. Я возьму его с собой и дам экспертам на заключение.

— Но тогда мы, может быть, его больше и не увидим!

— Да, скорее всего, так. Но ведь у вас еще есть рукописи романов.

На том встреча закончилась. Длилась она минут тридцать. Росес, оставив собеседника в некотором замешательстве, зашагал назад к машине.

Он поехал прямо в Малаканьянг. Пресс-конференция президента Макапагала была в разгаре. Росес вручил ему пожелтевший листок бумаги, сложенный вдвое, чтобы уместиться в основании спиртовки¹.

— Это что? — спросил Макапагал.

— Оригинал рукописи «Последнего прощай», господин президент, — ответил Росес.

В Малаканьянг он отправился с тем, чтобы газеты наверняка опубликовали фотографии: как он показывает президенту рукопись. Снимки произведут впечатление на похитителей — те решат, что Росес действительно воздействует на президента, а это облегчит переговоры.

Президент объявил газетчикам о возвращении рукописи. «Хочу поздравить все ведомства, которые помогли ее обнаружению», — сказал Макапагал, не подозревавший, что все это дело рук одного человека.

Из Малаканьянга Росес отправился в Бюро публичных библиотек и проследил, чтобы рукопись стихотворения поместили в сейф. Одна служащая библиотеки разрыдалась, когда увидела ее. Рукопись исчезала уже второй раз: впервые это случилось во время Освобождения, и тогда Национальной библиотеке пришлось вести сложные переговоры, чтобы добиться ее возврата.

Второй роман

На следующий день, в субботу, 3 февраля, Росесу позвонили похитители. Они были в ярости. Они видели газетный заголовок, гласивший, что за «Последнее прощай» уплачено тридцать тысяч песо! Они ничего не получили — следовательно, Росес положил эти деньги себе в карман! Росес, который сам был

¹ Стихотворение «Последнее прощай» Хосе Рисаль написал накануне казни 30 декабря 1896 года и при свидании передал в спиртовке сестре.

возмущен заголовком, обратил их внимание на то, что в более поздних выпусках такого заголовка нет, а это явно доказывает, что газеты сами обнаружили ошибочность информации.

Затем воры пожелали узнать, выделены ли уже деньги Малаканьянгом — ведь президент своими глазами видел подлинную рукопись стихотворения Рисаля.

Росес сообщил им, что последний обитатель Малаканьянга оставил всего восемнадцать песо на счету дворца — так как же, позвольте спросить, Малаканьянг может уплатить полтора миллиона песо?

— Придется вам сбавить цену, — сказал он.

После некоторых препирательств с кем-то звонивший объявил, что цена приемлемая — сто тысяч песо. «Хотя это очень дешево, — сказал он. — Перед войной правительство заплатило за эти рукописи куда больше». Потом он сказал, будто слышал, что они застрахованы на два миллиона песо. Не может ли Росес заставить раскошелиться страховую компанию?

Росес ответил: если что и застраховано, так вся коллекция Филиппиняны, а не одни только рукописи Рисаля.

Но, настаивал звонивший, ведь можно же уговорить страховую компанию что-то уплатить за возвращение рукописей.

— И сколько бы мы ни получили, — вкрадчиво продолжал он, — неужели вы думаете, что мы забудем о министре просвещения? Вы получите свою долю, мистер Росес.

Это так возмутило Росеса, что он разразился бранью.

— Эй, мистер Росес, — изумленно вымолвил звонивший, — да вы сущий ковбой!

Потом он спросил, почему Росес сам не собрал нужную сумму. Росес сказал, что он на мели: выплачивает за дом и участок. «Я нарисовал очень мрачную картину состояния моих финансов».

Голос на другом конце провода стал угрожающим: если не уплатите выкуп, рукописи будут уничтожены — по вашей вине!

Он требовал еще одной встречи на следующий день, в воскресенье, но Росес отговорился тем, что ему предстоит держать речь на выпускных торжествах, да еще надо быть на годовщине свадьбы.

В понедельник, 5 февраля, газеты опубликовали декларации о доходах членов кабинета, и похитители тут же позвонили Росесу, чтобы сообщить ему: судя по опубликованным данным, бедным человеком его не назовешь. Росес выкручивался как мог, но доверия воров не вернул. Тем не менее они снова предложили встретиться.

В три часа того же дня Росес приехал на Лунету. Связной ждал его возле трибун. Он начал попрекать Росеса газетными заголовками и снимками.

— Как же так, мистер Росес, украли мы, а в героях ходите вы?

Росес фыркнул:

— Что же мне, ходить в негодях только потому, что я ношу усы?

Связной сказал, что на этот раз им придется поколесить.

Они сели в машину, и Росесу было велено ехать прямо по бульвару Дьюи. Они задержались у бензоколонки в Бакларане и немного поболтали: связной явно проверял, нет ли за ними слежки. Потом поехали по шоссе № 54 и остановились у другой бензоколонки. Оттуда направились в ресторан «Альба» в Кесон-Сити.

По дороге связной вкратце рассказал, как была совершена кража. Все проще простого, объяснил он: одни сторожа спали, другие охраняли стройку. Воры отперли дверь поддельным ключом, а когда вышли с рукописями, сторожа все так же либо *tulog*¹, либо *nakatanga*².

У «Альба» связной и Росес вышли из машины и поднялись на второй этаж. Случилось то, чего боялся Росес: ему попался знакомый. Тот поздоровался, но Росес ответил каменным взглядом и прошел мимо, не отвечая на приветствие. Росес говорил: «Должно быть, этот человек решил, что я задрал нос, став членом кабинета».

Его спутник заказал что-то безалкогольное, Росес потягивал *сангрию* — красное вино с содовой и уговаривал связного вернуть рукописи.

Ему становилось ясно, что путаница и разочарование делали свое дело. Хотя связной не пил ничего крепкого, он начал выдвигать одно безумное пред-

¹ Спали (тагальск.).

² Пялили глаза (тагальск.).

ложение за другим. Устроит ли Росес его на работу? Обеспечит ли стипендию в медицинском колледже Дальневосточного университета? Может, им, вора́м, лучше уничтожить рукописи, а вину возложить на бывшего министра просвещения, который, по их мнению, твердо стоял за неуплату выкупа?

Все было ясно: похитители понимали, что превратить добычу в деньги будет не так легко, как им казалось поначалу. Они стали колебаться и теперь запрашивали только десять тысяч песо.

— Послушайте,— сказал Росес связному,— почему бы вам не дать мне рукописи прямо сейчас, а я посмотрю, что можно для вас сделать.

Они еще не закончили по первой, как Росесу уже удалось убедить связного отдать одну рукопись. Они оставили «Альбу», поехали в ресторан «Баррио Фiesta». Министру просвещения было предложено подождать здесь у входа; связной вышел из машины и исчез. Росес заключил, что тот сел в такси или джипни. Он ждал с полчаса. Он обливался потом — и не потому только, что был неподобающе одет. Официантки выглядывали, чтобы посмотреть на него, и, видимо, удивлялись, почему это он не заходит и даже не подъезжает ближе.

Прошла вечность, прежде чем связной появился с маленькой коробкой. Он положил ее на переднее сиденье и разорвал скоч, которым была заклеена крышка. Несомненно, внутри была рукопись «Флибустьеров». Он протянул ее Росесу, и тот тут же сунул ее под водительское сиденье. Человек все еще стоял возле машины.

— Вас подвезти куда-нибудь? — как бы невзначай спросил Росес.

Связной автоматически сделал шаг, как бы собираясь сесть в машину, но тут же отпрянул.

— Нет, я останусь здесь.— Он закрыл дверцу.— Только вы уж нас не забудьте, мистер Росес. Теперь вы должны подумать о нас.

Росес поспешил уехать. Он вернулся в министерство, вызвал директора Монтилью, который тут же примчался и подтвердил, что Росес привез оригинал рукописи второго романа Рисаля. Была уже половина пятого, библиотека закрыта. Росес отвез рукопись в дом своего тестя, Рафаэля Виолы, сына дона Максимо Виолы — человека, который оплатил печатание

романа «Не прикасайся ко мне». Вся семья торжественно спустилась вниз, чтобы взглянуть на рукопись и прикоснуться к страницам, написанным отчаявшимся человеком в самые мрачные годы его жизни.

В ту ночь рукопись надежно покоилась в сейфе дона Рафаэля Виолы.

Первый роман

Во вторник утром, 6 февраля, похитители позвонили Росесу. Они опять были в ярости. Газеты сообщают, что за ним весь день следовала полиция. Росес заверил, что он их не выдавал. Тем не менее следующие два дня они молчали. Казалось, рукопись «Не прикасайся ко мне» потеряна навсегда.

Зато в пятницу были сразу два звонка: один в полдень, другой после двух. Воры были в отчаянии. Они готовы вернуть рукопись, но при одном условии: Росес должен подписать документ, ограждающий их от преследований.

Росес заготовил такой текст:

Я, Алехандро Росес, министр просвещения Республики Филиппины, находясь в дееспособном возрасте, место работы — Министерство образования на улице Арросерос в Маниле, нижеследующим заявляю и довожу до всеобщего сведения:

1) что я от имени и по поручению правительства Республики Филиппины вступил в полное владение оригиналами рукописей доктора Хосе Рисаля: стихотворения «Последнее прощай», романов «Не прикасайся ко мне» и «Флибустьеры», не уплатив за это ни наличными деньгами, ни каким-либо иным способом лицу или лицам, от которых я получил их, и что эти рукописи были переданы мне данным лицом или лицами в качестве благородного жеста, по их доброй воле;

2) что я не стану возбуждать уголовное дело ни в каком суде против лица или лиц, которые, насколько я знаю и могу судить, были каким-то образом причастны к исчезновению вышеупомянутых рукописей.

После этого он отправился на Лунету. На сей раз ему пришлось более десяти минут ждать связного. Тот явно нервничал.

— Ехать придется долго, — сказал он Росесу. — Мы поедем в провинцию.

Они проехали по бульвару Дьюи, потом к Параньяке. Странно, но связной говорил не о рукописях, а о публичном доме в Параньяке. Он был возмущен: этот дом развращает молодежь, его надо закрыть. Росес тоже стал нервничать, когда стало ясно, что Параньяке они миновали. Похоже, направлялись в Кавите. Может быть, его хотят похитить и потребовать за него выкуп? «Но сколько бы они получили за меня? — смеется он теперь. — Девять песо?»

Вдруг ему велели свернуть направо. Они направились к пляжу Джейл. Он сделал вид, будто место ему незнакомо.

— Это пляж, — объяснил ему связной. — По воскресеньям здесь полно народу, но в будний день, как сегодня, здесь ни души.

Росес забеспокоился еще больше.

Связной уплатил охраннику у входа, и они въехали. Росес остановил машину у самой воды. Потом подписал приготовленное им заявление и вручил его связному. Тот вышел из машины и велел Росесу ждать.

— Тут меня никто не пристрелит? — спросил Росес.

— Если боитесь, — сказал человек, — поднимите стекла в машине.

Скоро он вернулся с небольшой коробкой. Сев в машину рядом с Росесом, вынул нож. У Росеса перехватило дыхание. Но человек всего лишь открыл ножом крышку коробки. «А ведь тут мог бы быть и пистолет», — пошутил министр. В коробке под скотканной бумагой лежала рукопись «Не прикасайся ко мне». Связной извлек ее.

— Вот она, — сказал он, вручая рукопись Росесу. — И не забудьте: вы должны позаботиться о нас.

Росес сунул рукопись под водительское сиденье. Он развернул машину, и они выехали с пляжа. Почти сразу же за воротами связной вышел. Перед этим опять обмотал руку платком: так он открывал и закрывал дверцу машины, чтобы не оставить отпечатков.

— Могу я пожать вашу руку? — сказал связной.

Росес пожал ему руку и быстро отъехал. «Я мчался с превышением скорости, ехал на красный свет,

нарушал все правила: мне нужно было, чтобы какой-нибудь полицейский на мотоцикле увязался за мной для охраны, и надо же — ни одного!»

Приехав в министерство, он потребовал «две самых холодных бутылки „севен-ап“, которые только можно достать», потом принялся звонить в газеты.

В ящике его стола лежала рукопись, нанесшая смертельный удар дряхлеющей империи.

Угрызения совести

Все вышеизложенное — история возвращения рукописей в том виде, как ее поведал Росес. Но есть по меньшей мере еще две версии.

Согласно другой — похитители вступили в контакт с чены, воры получили минимум десять тысяч песо и все рукописи были возвращены одновременно; Росес же передавал их частями — ради ажиотажа и наблизити.

Согласно другой — похитители вступили в контакт с семьей Росеса, которая и выкупила рукописи, а затем разыграла драматический спектакль со всеми теми же встречами, чтобы поднять репутацию министра просвещения.

По поводу первой версии Росес говорит: «Где бы я взял на это деньги?»

По поводу второй: «Все знают, что мой отец (дон Рафаэль Росес) никогда бы такого не позволил».

Кое-кто считает невероятным, чтобы похитители согласились вернуть рукописи без денег: ведь невозможно же так очаровать преступников, что они вдруг стали патриотами. Но Росес подчеркивает, что похитители в течение двух месяцев не могли реализовать добычу. Они, должно быть, рассчитывали, что на первое же их требование откликнется вся нация, что тут же будет учрежден фонд по спасению рукописей. Ничего подобного не произошло.

«Во время переговоров, — говорит Росес, — я очень боялся, что кто-нибудь через газеты предложит какую-то первоначальную сумму, а там, мол, поторгусь». Это бы только вдохновило воров. «Собственно, — говорит он, — люди действительно звонили и предлагали внести часть выкупа, но мне удавалось разубедить желающих помочь».

Поняв, что денег за рукописи они не получают, похитители вынуждены были в конце концов изобразить из себя патриотов, видимо в надежде, что это уменьшит тяжесть преступления.

Росесу высказали немало упреков за обещание «иммунитета» ворами. На это он отвечает: «Я обещал только одно: я не буду использовать встречи с их связным для того, чтобы арестовать их. И свое обещание я сдержал. Что до подписанного мною заявления, в котором я обещал не возбуждать судебного преследования и не называть их, то оно ведь не имеет юридической силы и даже может быть использовано против них. Ведь под присягой я буду обязан опознать связного».

Росес жалуется, что его дело изображают так, будто он не желает, более того, боится ареста преступников.

«Больше всего я хочу задержания воров, суда над ними и судебного приговора — только так выйдет наружу вся правда».

Он полагает, что когда правда выйдет наружу, придется допросить двух официальных лиц из Комиссии по столетнему юбилею.

Если замешаны сотрудники Комиссии, то становится понятной та легкость, с которой была совершена кража: сотрудники могли в любое время взять рукописи, сунуть их в портфель и спокойно выйти; или их сообщники могли остаться в помещении после закрытия, ночью выкрасть рукописи и ускользнуть через окно.

Допустил ли Росес ошибку, вступив в переговоры с ворами?

Те, кто настаивает на том, что без денег не обошлось, ханжески утверждают: платить выкуп столь же преступно, как и требовать его. И даже если Росес ничего не заплатил, прикрывать похитителей во время переговоров не только неэтично, но и недопустимо — человеку, занимающему такой пост, нельзя опускаться до роли эмиссара уголовного мира.

Мало того, один его приятель, священник, заявил ему, что содеянное им сомнительно в моральном плане. Общение с ворами есть само по себе зло — скорее надо было позволить сжечь реликвии.

Росес возражает: «Допустим, отец, что украли оригинал рукописи Библии, а у вас есть возможность

вернуть его путем сделки с ворами; что бы вы предпочли: вступить в сделку или пусть она горит?»

Кое-кто считает возню вокруг рукописей чистой юды идолопоклонством. Идеи Рисаля уже получили широкое распространение и живут жизнью, не зависящей от бумаги, на которой они впервые были изложены. Оригиналы рукописей имеют исключительно «сентиментальную» ценность: погибни они — мы все равно ничего бы не потеряли. Все равно у нас была бы возможность прочитать и его прощальное стихотворение, и оба романа. Тогда к чему весь этот шум вокруг рукописей?

Неопровержимый ответ гласит: у сердца свои законы. У Росеса, кроме того, была и еще одна, сугубо сентиментальная причина: его жена, Ирена Виола, — внучка человека, который оплатил печатание «Не прикасайся ко мне», и Росес хотел вернуть рукопись в качестве подарка к 14 февраля — Дню св. Валентина. Когда он возвратился с рукописью, директор Луис Монтилья метко сказал:

— Виола содействовал публикации рукописи, не обошлось без Виолы и при ее возвращении.

Несмотря на то что есть люди, считающие поступок Росеса сомнительным или не очень достойным, в целом общественность аплодирует. Первое признание пришло из Илокандии: там предложили, говорит Росес, объявить его почетным илоканцем.

Приключение еще не закончилось. «В ближайшие недели мы услышим поразительные разоблачения», — заявляет он.

Об этом позаботятся и критики, и полиция.

Отважный молодой человек все еще на трапеции, все еще в полете.

Культура как история

Эссе

Перевод М. Л. Салганик

Культура настолько отождествилась со своими возвышенными формами — литературой и искусством, что нам потребовался Маршалл Мак-Люэн¹ с его напоминанием: средство сообщения и есть сообщение. Смысл же сообщения — метаморфоза. Орудия труда, сработанные нами, обрабатывают нас; культура — это образ жизни, предлагаемый обществу техническими средствами, которыми общество располагает.

В таком случае история, по сути, должна быть исследованием эпох, вводимых новыми орудиями, усовершенствованными средствами информации, развитием техники, ибо именно они, изменяя культуру, изменяют и направление развития общества, что заметно сказывается затем на его политике, экономике, искусстве.

Например, Мак-Люэн рассматривает как такую эпоху печатный станок, настолько резко повернувший направление развития европейской культуры, что трансформировалось само сознание европейца, переместившегося из «культуры уха» — слуховой традиции в «культуру глаза» — обожествления грамотности. Плодами переориентации стали индивидуализм, протестантство, национализм, перспектива в живописи, конвейерное производство, уже не говоря о чисто современной концепции отождествления неграмотности с невежеством. Однако все эти явления могут изучаться — и изучались — как история, вне связи с их первопричиной.

Именно поэтому мы не вполне отдаем себе отчет в том, почему мы столь пренебрежительно отзываем-

¹ Херберт Маршалл Мак-Люэн (1911—1980) — канадский философ и социолог; популярен на Западе своей философией истории, рассматриваемой с точки зрения технологического детерминизма.

ся о неграмотном прошлом как об эре темноты и невежества, хоть и прекрасно знаем, что темные невежды умели строить великолепные храмы, обладали утонченными манерами, проявляли вкус и мастерство при изготовлении мебели и посуды, создали изысканную кухню, устраивали пышные празднества и накопили богатейшую сокровищницу танцев, песен, сказок и народных промыслов.

Но создатели всего этого отделены от нас колонкой печатного шрифта. Они жили культурой тотальной, воздействующей на все органы чувств, а наша культура сосредоточивается вокруг грамотного глаза. Мысль о том, что они были невежественны, могла бы позабавить тех, обломки чьего образа жизни мы, противореча себе, сохраняем с такой гордостью. Культура, которая для нас сегодняшних — это музей, библиотека, оперный театр и картинная галерея, для них была просто повседневной жизнью. Имей они возможность познакомиться с нашим образом жизни, они, пожалуй, могли бы прийти к выводу о том, что невежды — это мы, смятенные и запутавшиеся. Разрыв произошел, конечно, между «народной» культурой, допускающей возможность существования мудрости и вне формального образования, и печатной культурой, подчинившей глазу все остальные органы чувств. Но, похоже, эра зрительной культуры тоже близится к концу — явно началась эра культуры электронной: телевизора, магнитофона, транзистора. По Мак-Люэну, снобизм начитанности (а культ грамотности всегда связан с элитой) трещит под напором электронных средств, которые сводят на нет первородство глаза, восстанавливая в правах ухо и другие органы чувств, творя Новую Неграмотность, создавая постгуттенберговскую аудиокультуру — сегодня ее имя «пол», — при которой книги и картины в багете могут оказаться устарелыми, а орудия, сотворенные человеком, снова претворяют его в тотальное существо. Сегодняшние юные недоучки могут возродить через свои коммуны фольклорную культуру и стать авангардом «глобальной деревни» завтрашнего дня.

Переход от «типографского индивида» к «электронному масс-человеку» служит еще одной иллюстрацией культуры как истории, орудия как эпохи, средства коммуникации как самого сообщения, по-

сколько важно не то, каким образом мы используем орудие, а каким образом оно пользуется нами, неприметно видоизменяя нас. Электронные устройства, утверждает Мак-Люэн, становятся продолжением нашей нервной системы в пространстве, подобно тому как дом есть продолжение наших кожных покровов, а автомобиль — наших ног: «Драма истории — незадействованный спектакль, скрытый смысл которого — преобразование человека средствами коммуникации».

Увы, «драма истории» редко рассматривается под этим углом зрения, кроме тех случаев, когда речь идет о первых строчках доисторического пролога, раскрывающих то, как преобразило человека открытие огня или изобретение каменного топора. Стоит же появиться на сцене историческим событиям, и орудия сразу отходят на задний план, а в центре действия оказываются последствия их применения — политика, экономика, искусство. Или рассматриваются — если их вообще рассматривают — не в качестве могучих движителей истории, а просто как орудия. (В наши дни есть лишь одно исключение из этого правила — атомная бомба, ужас перед которой не позволяет считать ее просто орудием.)

Филиппины дают прекрасный пример того, как «скрытый смысл» упомянутого «преобразования человека средствами коммуникации» был утерян в изложении истории, хотя преобразование происходило не в доисторических сумерках, а на ярко освещенной исторической сцене: мы пережили революцию XVI и XVII веков, когда в нашу жизнь вторглась масса орудий, настолько для нас новых, что они не могли не произвести радикальнейшие изменения в культуре и общественной жизни Филиппинских островов.

Одна из причин, в силу которых «скрытый смысл» так и не раскрылся, в том, что эти орудия были вполне привычны для тех, кто завез их на острова. Носители этих орудий не могли оценить их воздействия на островитян, потрясенных поразительными новинками; а история островов была впервые записана опять же ими — теми, кто привез орудия. Вторая причина в том, что мы, взявшись писать историю нашей страны, естественно, были возмущены мыслью о чужеземном вмешательстве в эту историю, а потому — и это тоже естественно — предпочли изобразить его как чужую историю, не нашу. Свою же стали

исчислять периодом до вторжения Запада и периодом борьбы за освобождение от него, по возможности обходя то, что было в промежутке, как не имеющее к нам отношения. Однако если орудия были нашей историей, то совершенно ясно: делать это нельзя. Если «Гамлет» без принца Датского абсурден, то «Гамлет», от которого оставлена одна кульминация, в котором и упоминания нет о событиях, превративших принца в человека действия, невозможно понять. Перед историком, пишущим историю Филиппин, стоит задача: включить этот весьма несимпатичный ему первый акт в национальную драму, не слишком выпячивая ни роль колонизаторов, ни роль колонизованных и в то же время не снижая значимости периода колониализма. Другими словами: раскрыть, насколько важен, насколько значителен для нас был тот период.

Можно ли ухитриться сделать это?

Мак-Люэн показывает, как это сделать: рассматривая историю не саму по себе, а как историю культуры; тогда 1521 и 1565 годы свяжутся не с вторжением Запада в наши пределы, а с соприкосновением нашей культуры с новыми орудиями — колесом, плугом, цементом, дорогой, экипажами с конной тягой, деньгами, часами, бумагой, книгой, печатным станком и прочим — и с нашей реакцией на них. Одним словом, рассматривая этот период как эпоху «преображения филиппинца средствами коммуникации».

Нет больше надобности оберегать национальное достоинство: история становится чисто филиппинской. Филиппинец выходит на самую середину сцены; чужеземный захватчик так же может считаться орудием — одним из орудий, которыми мы действовали и с которым взаимодействовали. В число орудий можно включить и христианство — не в уничижительном смысле, но в том, какой придает Мак-Люэн одежде, деньгам, жилищу и дорогам, именуя их орудиями и утверждая, что все орудия такого рода являются «средствами коммуникации». Вот таким образом мы могли бы разрешить самую болезненную для нас проблему, касающуюся этой эпохи: чужеземный захватчик предстанет в ничуть не обидной роли посредника.

Решение не ново — оно стихийно использовалось и до нас. Например, греки низвели чужеземного за-

хватчика (вероятно, имея в виду финикийцев) до мифической фигуры Кадма, чье единственное назначение — роль посредника, через которого греческая культура получила новое орудие: алфавит, символически изображенный в виде зубов дракона, посеянных Кадмом. И англичане изгнали из своей истории римских завоевателей, так что теперь события I века до Р. Х. читаются не как римское завоевание Британии, а как приобщение британской культуры к дорогам. Похоже, в конечном счете любой завоеватель растворяется в том орудии, которое он предположительно принес.

Но какова взаимосвязь орудия как культуры и народа как истории?

Роль чужого алфавита в греческой культуре очевидна: с одной стороны — разобщенность греков (зубы дракона прорастали вооруженными воинами, убивавшими друг друга); с другой — величие греческого искусства, науки, поэзии, театра и философии. Эпохальна и роль дорог в английской истории: с одной стороны, прорезав леса, болота и горы, они распахнули Британию для вторжений англосаксов, датчан и норманов; с другой — сделав остров проходимым из конца в конец, превратили его в единое культурное целое и подготовили становление английской нации.

Под таким же углом можно по-новому рассмотреть и историю Филиппин. Нам еще предстоит исследовать воздействие новых орудий на нас в XVI и XVII веках. Открытия обещают быть богатыми: ведь речь пойдет не более и не менее как о процессе формирования филиппинца, о том самом процессе, который мы обыкновенно ограничиваем национально-освободительным движением XIX века. Но если Мак-Люэн прав, если средство и есть сообщение, тогда процесс перестройки филиппинского сознания, преобразования филиппинца должен был начаться сразу после знакомства с новыми западными орудиями — что и подтверждается экономическим «кризисом» в начале Конкисты, кризисом, который сегодняшний социолог, вероятно, охарактеризовал бы как культурный или «футуро»-шок.

До Конкисты экономика Филиппин явно была простым воспроизводством: одни регионы (к примеру, Центральный Лусон) производили достаточно продо-

вольствия, другие (Висайские острова) периодически страдали от голода, но нигде не возникало избытка, который мог бы стать основой настоящей экспортной торговли. Экономическое равновесие было настолько шатким, что его нарушило появление даже малочисленной чужеземной армии, а на какое-то время возникла и угроза краха. Однако вместо краха мы наблюдаем превращение простого воспроизводства в экспортную торговлю: страна, едва покрывавшая собственную потребность в рисе, начинает экспортировать его. Из китайских документов нам известны статьи филиппинского экспорта в доиспанские времена: воск, хлопок, жемчуг, черепаший панцирь, бетелевый орех и джутовая ткань. В этом списке нет продуктов сельского хозяйства. И вдруг Филиппины начинают экспортировать рис, сахар, табак, кофе, копру, коноплю, индиго — и даже кое-какие пряности и шелк! Экспорт риса продолжается до середины XIX века и падает только после 1870 года, когда с развитием сельского хозяйства на Негросе наша экономика переключилась на производство более выгодных экспортных культур, таких, как сахар.

Нетрудно соотнести экономические факторы, обусловившие эти перемены, с технической «революцией» XVI и XVII веков: с введением плуга, применением буйволов, с началом промышленного производства сахара, строительством дорог, мостов и фабрик, с акклиматизацией новых растений — кофе и табака. Эти эпохи нашей культуры теперь — наконец-то! — анализируются и получают должное место в истории Филиппин. Но вот на человеческий фактор, как ни странно, пока еще не обращает внимания никто. Если рисовые поля так и выглядят, как они выглядели в допотопные времена, то что же, значит, не изменился и человек, шагающий за плугом? Неужто плуг как средство не оказал воздействия на него и на образ его жизни?

Не умея понять, что культура есть история, мы выдвигаем два тезиса в опровержение теории Мак-Люэна. Хотя эти тезисы взаимоисключающие, они часто выдвигаются одновременно и вместе.

Первый тезис: вторжение Запада и западных орудий несколько не повлияло — а если и повлияло, то в чрезвычайно малой степени — на нас и нашу культуру. В доказательство обычно приводится либо ста-

ринный обычай, доживший до наших дней, либо социальный институт, возникший еще в доиспанские времена.

Очень похоже на мамашу, которая говорит о взрослом сыне: «Да что вы, он и в детстве, когда злился, вот так же мотал головой!» Или: «Он и ребенком дурачился, как сейчас!» С той только разницей, что мать, конечно, не желает этим доказать, что ее взрослый сын не изменился с детства, что школа, общество и овладение профессией не повлияли на него — ибо не подвергнуться влияниям мог лишь кретин, а какая женщина станет хвастаться тем, что произвела на свет кретина? Когда же речь идет о филиппинской культуре, мы будто не замечаем, что доказываем ее кретинизм, утверждая отсутствие воздействия новых орудий на нее. Раз ничего не произошло, значит, мы как народ настолько тупы, несообразительны и неповоротливы, что орудия, динамически преобразующие другие культуры, нас просто не берут.

Второй тезис: контакт с Западом оказал на нас безусловное влияние, но влияние это вредоносно, ибо оно извратило подлинную филиппинскую культуру.

Обвинение довольно знакомое, повторяющееся так настойчиво во все времена, в любую эпоху, связанную с появлением новых орудий, что легко представить себе вождя племени, возмущенного тем, как огонь или каменный топор развратили нравы его соплеменников. Промышленную революцию обвиняли в порче былого пасторального уклада, автомобиль — в порче конного экипажа, телевидение — в порче книжной культуры. Но ведь из этого вытекает, что «старое» общество пережило соприкосновение с орудиями, «портившими» его; Мак-Люэн же подчеркивает, что по-настоящему новаторские орудия делают современную им культуру архаичной. Пасторальный образ жизни не мог сохраниться после изобретения паровой машины, а изобретение автомобиля положило конец эпохе конного экипажа. Книги, правда, сохраняются и в телевизионную эру, но та книжная культура, которую мы знаем, отмирает. Сказать, что появление фотографии «испортило» живопись, можно было бы только в том случае, если бы живопись продолжала делать то дело, в котором фотография се-

годня сильнее. Однако, как нам известно, живопись в этом направлении не развивалась — и не могла бы развиваться, — ибо само изобретение фотоаппарата заставило художника отойти от прежних пейзажей и портретного сходства и настолько изменило прежний цветовой язык, что многие с сожалением отмечают: живопись сегодняшнего дня — искусство совершенно отличное от того, которое существовало до фотоаппарата.

Точно так же изменения в языке культуры, вызванные появлением новых средств коммуникации, порождают иную культуру, и лишь в этом обновленном контексте можно понять новую иерархию знаков и символов. Едва ли позволительно именовать этот процесс «порчей», если только мы не готовы рассматривать христианство как испорченный иудаизм или ислам как испорченные древнеарабские верования. Даже сохранение знаков и символов старой, отмирающей культуры ничего не доказывает: Шпенглер справедливо заметил, что, и сохраняясь, они по-иному функционируют в новом контексте. Строго говоря, для евреев и христиан Ветхий завет не есть одна и та же книга: в новую культуру вошел древний текст, «раскрывшийся» по-новому, поскольку он был прочитан в новом свете, глазами, изменившимися под воздействием нового *средства*, именуемого христианством. Сходным образом можно объяснить и пресловутую «филиппинскую пунктуальность» — как пережиток «вневременности» нашей прежней культуры, как упрямое сопротивление тирании чуждой нам часовой стрелки и как свидетельство трудностей, с какими нам дался переход от бесчасового времени ко времени, расчисленному по часам. Но подходить к этому явлению с сантиментами — а на нас, мол, и часы не повлияли! — это не гордость, а глупость. Сама попытка подвергнуть явление анализу (предполагающая самокритичность и сознательный подход) есть доказательство тому, что «пережиток» — подобно иудейской Библии в руках христиан — уже имеет другую природу. Если бы довелось нам обсуждать эту тему с нашими прародителями доиспанских времен, мы не нашли бы с ними общего языка, ибо мы строили бы свои аргументы на фаустианской концепции времени, вошедшей в нашу культуру уже после них. Кентавр — чудовище, знаменующее переход к новой

культуре (культуре всадника), понятней всего тем обществам, которые прошли через эту фазу.

Переходный период мог бы считаться наиболее захватывающей главой в истории Филиппин, если бы эта глава не была опущена. Мы привыкли думать, что история культуры — это описание китайских черепков в филиппинских захоронениях либо жизнеописание Луны или Идальго, но без попытки увидеть в черепке остаток орудия либо объяснить, как появились художники типа Луны или Идальго. Ни один жизненно важный вопрос не находит ответа, поскольку вопрос даже не ставится, а между тем речь идет о глубиннейших аспектах нашей культуры.

Вот пример: если человек есть то, что он ест, спрашивается, как сказался на характере висайцев переход к потреблению кукурузы? И если новые дисциплины перестраивают мышление, то что произошло с устоявшимися мыслительными навыками наших предков, когда они, предки, начали экспериментировать с новыми культурами — табаком и маисом или с новыми домашними животными — коровами, индюками? Если предкам приходилось перебарывать страхи, прокладывая дорогу через священный лес или перебрасывая мост через разгневанную реку, сказался ли на их характере отказ от прежних табу? Какие нюансы и особенности привнес латинский алфавит в нашу манеру выражать свои мысли? И подвело ли нас принятие латиницы к порогу современной «культуры глаза»? В какой степени наша постоянно осуждаемая «инертность» или «леность» является результатом «футуро»-шока? Не очутились ли филиппинцы XVI и XVII веков в ситуации, сходной с той, в какую попал человек XX века, столкнувшийся с чересчур большим числом новых орудий и ошеломляющим культурным взлетом? А коли это так, то вопреки назойливым обвинениям в инертности и лени мы можем утверждать, что наши предки, болезненно пережив временную потерю *ориентации* (да, это игра слов!) все же не захлебнулись, а выплыли, преобразованные новыми средствами коммуникации, — доказательство чего сегодня стало частью нашей истории.

Мы уже отмечали преобразования в экономике — от простого воспроизводства к «первой в наше время мировой экономике»: со времен галеонов до начала сахарной эры Филиппины торговали с тремя конти-

нентами, через два океана. Не менее знаменательны преобразования в области культуры. Известно, что испанцы для своих первых построек на Филиппинах были вынуждены привозить китайских каменщиков и мастеровых, поскольку нам кирпичная кладка была внове. Однако во второй половине XVIII века, в период экономического бума, филиппинские города, гордые своим богатством, начали перестраиваться, расширяться и украшаться, улучшать старые здания, возводить новые. О китайских мастерах теперь уже не вспоминали — уже существовала филиппинская архитектура, более того, она была плодом умения и таланта тех самых людей, которых сегодня мы с жалостью зовем темными массаами. Руками скромных филиппинских каменщиков, ремесленников, плотников, резчиков, живописцев были созданы великолепные общественные сооружения: от фасада церкви Моронг до комплекса зданий, образующих соборную площадь в Таале, от увесистого барокко до деревянных кружев антильского дома, от благородных ратуш и сторожевых башен до мостов и ирригационных каналов, построенных с таким инженерным мастерством, что многие из них и сегодня эксплуатируются. По поводу этого и сегодня живого прошлого так и хочется сострить: сколько функциональной красоты создало темное невежество!

Перемены всего заметней в *массивности* сооружений — она сделалась отличительной чертой филиппинского строительства, что, конечно, поразительно, если вспомнить, что у нас не было не только архитектурной традиции, но даже простых строительных навыков. Филиппинцев всегда отождествляли с бамбуковыми домами и хижинами из ниповой пальмы, так что арка, купол или шпиль, взметнувшийся высоко в небо, были для нас безумной дерзостью. Однако проходит два столетия — и мы идем на эту дерзость, воплощая ее со вкусом и с размахом в камне, твердых породах дерева и мраморе. Шпенглер считает *выбор материала* одной из важных характеристик культуры. Будь Шпенглер наделен даром путешествовать во времени и посети он нашу страну до 1521 года, он убедился бы, что мы строили из хрупких, недолговечных материалов маленькие, приземистые сооружения. Если бы он затем посетил нас в конце XVIII века и обнаружил, что теперь мы строим

высокие массивные здания, применяя для строительства камень и твердые породы дерева, у него были бы все основания предположить, что к XVIII веку Филиппины заселил народ, отличный от островитян, обитавших тут до 1521 года.

К такому же заключению может подвести и изучение филиппинской живописи. Филиппинцы, которым дотоле живопись была неизвестна и совершенно чужда, освоили ее в такой степени — а Шпенглер считает живопись наряду с контрапунктом в музыке наиболее фаустианской формой выражения, — что она превратилась в ведущий жанр нашего искусства. Что же должно было произойти там, в промежутке? Что вызвало эти последствия? И не было ли происшедшее важнейшим фактором, повлиявшим на филиппинскую живопись, если даже сами события прямого касательства к живописи не имели? Мак-Люэн утверждает, что печатный шрифт, создав читателя, приученного видеть мир под заданным углом зрения, создал и современное мировоззрение, и живописную перспективу. Так может быть, сходное явление в нашей культуре, распахнув для нас окно в мир, настолько потрясло нас, что мы пришли к созданию не просто перспективы, но и самой живописи? Может быть, Луна и Идальго ведут свою родословную от Пинпина и первой филиппинской книги?

Иными словами, применение орудий приводит ко множественному результату, и конечное их воздействие выходит за пределы прямого назначения этих орудий. Так, развитию математического мышления на Филиппинах способствовало не одно лишь введение мер и весов, но и появление архитектуры и органной музыки. Интерес к жизнеописаниям еще до того, как найти свое выражение в литературе, проявился в портретной живописи, которая, в свою очередь, приобрела популярность, когда (или оттого что) у филиппинцев стало появляться острое ощущение своей самобытности. А двумя наиболее значительными чертами нашей самобытности — историзмом и чувством национальной общности — мы обязаны всей совокупности, целому созвездию новых орудий, революционизировавшему нашу культуру в XVI и XVII веках. Сегодня эти две черты носят характер чуть ли не инстинкта, так что мы их замечаем, только, скажем, когда сталкиваемся с их отсутствием.

До войны христиан, селившихся в нехристианских регионах Филиппин, больше всего поражало отсутствие у местных племен хронологического мышления: люди даже не знали, кто когда родился (а для филиппинского христианина день его рождения — большое событие, дата чрезвычайно памятная). Отсутствие историзма создавало немалые трудности, ибо бумаги на владение землей — это история в документах, в отличие от владения по традиции, которое есть история в мифах.

Миф в данном случае не значит *выдумка*, но — увы! — христианские поселенцы предпочитали именно так трактовать притязания местных жителей на свои земли. Это был конфликт между датированной историей и историей без дат — и здесь мы опять-таки сталкиваемся с переменами, произведенными орудиями, которые и создали чувство истории на Филиппинах. До 1521 года ни одно событие в жизни островов не датировано с достоверностью. А после технической революции датировка обретает большое практическое значение — даже когда речь идет о дате рождения отдельного человека: она необходима для школы, для женитьбы, для похорон. Историзм на всех уровнях, включая личный, порождает общность людей, обладающих им, — вот опять обладание каким-то орудием, используемым сообща, подобно плугу.

Плуг не «испортил» — он породил филиппинца.

«Филиппинец», порожденный таким образом, должен был вначале испытывать чувство общности с другими посвященными в те же технические тайны, а соответственно, и свое отличие от непосвященных. Орудия, которыми мы овладели в ту эпоху озарений, помимо политических и экономических перемен наверняка вызвали сильное чувство социальной солидарности среди жителей различных регионов, одновременно адаптировавшихся к новому. В былые времена, как известно, солидарность часто основывалась на овладении ремеслом или приобщении к орудиям — достаточно вспомнить средневековые цехи и гильдии, ревниво охранявшие секреты мастерства, соблюдавшие ритуалы посвящения в братство, то же масонство — общину посвященных. И в наши дни мы видим

мотоцикл, порождающий молодежную субкультуру с ее собственными правилами и жаргоном, почти международную по масштабу. Другой поразительный пример — современное сообщество ученых, замкнутая культура которого настолько обособила его членов от простых смертных, что даже получила название «иной культуры». В ее рамках американец, китаец, африканец и русский вопреки всем различиям между ними ощущают себя членами единого цеха, противостоящего «внешнему» миру. Следует, однако, отметить, что профессиональные сообщества не столь исключительны, как может показаться: чужаку достаточно овладения профессией для вступления в братство. Но может быть, таким путем и шло становление нации, которую сегодня мы зовем филиппинской? И, может быть, стоит посмотреть, как в XVI и XVII веках тагалы, пампанганы, илоканцы, биколы, висайя и прочие, овладевая новыми орудиями, почувствовали свою принадлежность к некоей общности, к сообществу опять-таки посвященных в тайны орудий и ремесел, в отличие от племен, продолжавших существовать вне новой культуры? Это могло бы прояснить ряд загадок в нашей истории и некоторые ее процессы.

Например: будем исходить из того, что тагалы и пампанганы, живя в центре, первыми подверглись интенсивной колонизации и первыми приобщились к культуре новых орудий — овладели колесом, плугом, дорогой и прочим. Они-то первыми и ощутили свою принадлежность к сообществу филиппинцев — к профессиональному сообществу. Не этим ли объясняется их пресловутый яростный национализм и их хорошо известное высокомерие? И не потому ли Пропаганда, Революция, Первая республика — все происходило именно в тагальско-пампанганском регионе? Или, опять-таки, будем исходить из того, что в течение некоторого времени тагалы и пампанганы полагали, будто только они образуют закрытое профессиональное сообщество, другие же племена (илоканцы, биколы, висайя и прочие) — попросту «аутсайдеры»; однако, постепенно осваивая новые орудия, и они входили в новую культуру-сообщество, тоже делались филиппинцами. Так нельзя ли считать, что это и был процесс (возможно, наряду с другими) становления нации, процесс, в котором техника сыграла большую

роль, чем религия или испанское владычество, процесс, указывающий, следовательно, и на то, что народы, до сих пор остающиеся вне общенациональной культуры, могут ассимилироваться без утраты, скажем, языческой самобытности или мусульманской гордыни? А что, если даже выражение «нехристь» означает не столько религиозное отличие, сколько отсутствие технического уровня, необходимого для посвящения в члены гильдии — вроде требований к адвокатским экзаменам? Если, с одной стороны, такое требование отдает снобизмом по отношению к «аутсайдерам», то с другой — это гордость профессиональным мастерством, которая, возможно, участвовала в формировании национального самосознания. И опять надо заметить, что стоит только «аутсайдеру» овладеть новым орудием или ремеслом, как он становится частицей этой культуры: вне зависимости от того, крещен он или нет, он уже неотличим от общей массы — игрот-механик, или мусульманин-инженер, или негрито-каменщик. Если таким образом и шел процесс, начавшийся в XVI веке, позволительно предположить, что для наших пращуров крещение было посвящением в профессиональное братство, что техника, а точнее, совместное овладение новой техникой и сформировало то единство, которое сегодня зовется филиппинским народом.

Это предположение, конечно, оскорбит тех, кто считает, будто единство существовало и до появления названия. В таком случае название «филиппинец», «Филиппины» можно было бы за ненадобностью изъять из словаря — раз то, что носит это имя, существовало и до имени. Однако идея эта антиисторична. Мы, конечно, не Мафусаилы, но и не Питеры Пэны; мы и не феллахи — Боже сохрани! — под любым названием и в любом политическом костюме остающиеся народом «извечным», то есть статичным. А о нашей динамичности говорит даже наше имя: *фил-ип* — «любитель коней» или, в вольном переводе, «лошадиная сила» — единица измерения машинной энергии, следовательно, филиппинец — это любитель лошадиной силы, любитель энергии. Отсюда — уйма производных: от кентавра через всадника к *кабальеро*, и все производные энергичны и динамичны!

Ну нет, мы не феллахи. Наши даты черным по белому занесены в историю: филиппинец появился

на свет в XVI—XVII веках, когда овладение новой техникой спаяло в единое целое племена Лусона, Висайских островов и Минданао, испанских метисов, китайских метисов и всех прочих, а географические условия окончательно сформировали это единство, которое получило затем и политическую форму. До того времени это единство и эта форма попросту не существовали, и доказать обратное невозможно, как невозможно исчислять жизнь индивида временем, предшествовавшим его зачатию, ибо лишь миг зачатия predetermined, что особь, долженствующая родиться, будет именно *этим* индивидом и не кем иным. Индивид может меняться: младенец превратится в ребенка, мальчик — в мужчину, но при этом останется *тем же* человеком, поскольку ранее существовавшим вероятностям в момент зачатия приходит конец.

До 1521 года мы могли стать *кем угодно* и *всем* на свете — но после 1565 года мы можем быть только филиппинцами.

Мы можем меняться или обретать новые языки, можем переживать национальные взлеты и падения, но любые перемены будут лишь подчеркивать то национальное своеобразие, основные черты которого сложились в XVI и XVII веках. В этом различие между вторжением на острова испанцев и американцев: первые произвели техническую революцию, сделавшую нас филиппинцами, а вторые только заставили нас острее ощутить себя таковыми. С появлением американцев, принесших с собой столь могущественные орудия, как система народного образования и английский язык, филиппино-испанская культура устарела, но заменившая ее новая — называть ли ее «культурой глаза» или «саксонизацией» — все равно осталась филиппинской. Чисто филиппинская религиозность, этические нормы, манера поведения, способы выражения, привычки в еде хоть и подверглись американскому влиянию, но все же сохранили свои отличительные особенности, так что и по сей день такие реалии, как *баро*, *терно*, *адобо*, *пан де саль*, городская *фиеста*, *баррио*, *харана* и прочее, отличают нас от американцев. Страхи наших отцов, которые в 1900-х годах сетовали, что мы превратимся в совершеннейших «саксов», оказались неосновательными. Период американской колонизации завершился

не обращением нас в американцев, а превращением в воинствующих филиппинцев, что доказывается и «нео-национализмом», и «нео-Пропагандой» послевоенных лет, и нашей нынешней ностальгической тягой к *сантос*, к *морионес*, к традиционному театру, к тропической готике и барокко, к *асотее*, *пласе* и филиппинской кухне.

Отсюда ясно, почему были обречены на провал любые попытки помешать формированию этой самобытности — бунты ли племен или азиатские вторжения: Филиппины возникли *по воле* истории. Конечно, в XVI и XVII веках этот процесс мог пойти совершенно иным путем — его могли, скажем, изменить голландцы, если бы им удалось выиграть филиппинские войны; однако после того, как национальный характер сформировался, никакое завоевание уже было не в силах изменить то, что сделалось нашей душой. Изменить ход развития нашей культуры — да, но душу культуры — нет. Пожалуй, последняя попытка в этом направлении, имевшая некоторые шансы на успех, была предпринята Диего Силангом в период британской оккупации¹. Знаменательно, что сорвали ее тагалы и пампанганы — племена, более других чувствовавшие свою национальную самобытность.

Еще одна попытка свести на нет национальную самобытность Филиппин через американскую ассимиляцию была предпринята федералистами в начале нашего века. Здесь следует подчеркнуть, что и они, и их предполагаемые противники — Партидо Насионалиста сошлись на том, как прекрасно было бы Филиппинам стать не нацией, а американским штатом. Американцы с насмешкой отмечали, что Кесон и Осменья так и не решили, как им быть с независимостью. Но колебались лидеры, народ же (отвергший федералистов) не колебался и колебаться не мог по той простой причине, что не мог пойти против истории, сделавшей его тем, что он есть. Шпенглер утверждает: попытка идти против истории бессмысленна настолько же, насколько попытка остановить время. Здесь Шпенглер как будто расходится с Мак-

¹ Попытка англичан овладеть испанской колонией на Филиппинах была предпринята во время Семилетней войны 1756—1763 гг. Оккупация Манилы и части о-ва Лусон продолжалась два года (1762—1764) и была прекращена в обмен на передачу Англии Флориды. Диего Силанг — руководитель крупного антииспанского восстания в Илокосе (1762—1763).

Люэном, но при ближайшем рассмотрении становится ясно, что они согласны по сути. Когда Мак-Люэн заявляет, что «средство коммуникации есть метаморфоза», то не в противоречие, а в дополнение к этому можно вспомнить Шпенглерову метафору: душа культуры — как музыкальная тема или мелодия, которая, бесконечно варьируясь, словно бы меняется, однако на самом деле остается *собой*, и каждый новый синтез соединяет в себе тему с вариациями.

Все дело тут в том, чтобы была душа.

С точки зрения Шпенглера, когда разнородные элементы сливаются в единое целое и это целое начинает осознавать себя культурным сообществом, народом, нацией, тогда рождается «душа» — единственная в своем роде, органически выросшая из родной почвы, наделенная столь сильным чувством судьбы и самобытности, что если бы даже народ, ею обладающий (и которым завладела она), хотел бы отречься от нее, воспротивиться ее велениям или постараться изменить ее, то сами попытки отречения и сопротивления будут лишь укреплять эту самобытность, поскольку любая перемена в конечном счете окажется все той же судьбой. От романского стиля через готику и барокко к современным небоскрегам — хотя каждый архитектурный сдвиг символизирует сдвиг в сторону западного человека, история его все равно развивается по прямой, поскольку все это разнообразие стилей является выражением фаустианского духа и представляет собой развитие одной темы — фаустианского человека и его судьбы. Распространение американского стиля на Филиппинах, заменившего филиппино-испанскую культуру, означало не исчезновение филиппинской культуры, а начало индустриальной культуры Филиппин. Она американизирована ровно в той степени, в какой американизация служила нашей судьбе и способствовала выявлению тех качеств национального гения, какие и могли выявиться при данном изменении. Все грядущие революции в нашей культуре, предположительно, будут не более — и не менее — успешны, чем эта. Если реакция на неожиданное соприкосновение с новыми орудиями в XVI веке сделала нас филиппинцами, то отныне мы способны реагировать на все перемены уже только *как* филиппинцы. Пока филиппинец не исполнил то, что было назначено судьбой его народу, он будет раз-

виваться со все возрастающей определенностью и уверенностью — обратного пути уже нет; мы даже можем перестать быть христианами, но к нашему дохристианскому бытию возврата нет.

Это положение признается и теми, кто отрицает его, утверждая, что 1521 год означал собой *отклонение* от курса, который должен бы был стать нашей настоящей исторической судьбой, или негодуя по поводу нашего обращения в христианство ценой нашей «азиатской» души, или пытаясь доказать, что если бы к XVI веку ислам успел распространиться по всем островам, то никакая военная сила Европы не сделала бы нас филиппинцами.

Все это абсолютно справедливо, и эта линия рассуждения может быть продолжена: если бы к XVI веку Филиппины успели стать страной буддизма, даосизма, индуизма, конфуцианства или синто, то западное завоевание оказалось бы напрасным — оно едва ли бы угрожало нам отторжением от великих цивилизаций Востока. А насколько иным было бы наше христианство, если бы нас крестили не испанцы, а, скажем, азиатские несториане! И какую азиатскую живопись мы бы получили, будь нашими первыми учителями японцы, а не европейцы! Однако задача историка не в живописании того, что могло бы быть, а в анализе причин, по которым это не произошло. И в нашем случае ответ, который мы застенчиво отказываемся признать фактом вопреки его самоочевидности, заключается в следующем: если нас вестернизировали ценой нашей азиатской души, то вина за это ложится не на Запад, а на Азию.

Это обвинение лучше всего пояснить на вымышленной аналогии. Представим себе остров типа Кубы с достаточно примитивным образом жизни, соседями которого являются Соединенные Штаты, Мексика, Центральная Америка и Бразилия, культура которых весьма развита. Континентальные страны уже знают бумагу и печатный станок, а кубинцы пока пользуются древесной корой. Жители американского континента строят из камня и стали, островитяне — из бамбука и соломы. Хотя на материке применяется сложная техника, на соседней Кубе распространен только ручной труд, ибо чудо-орудия с

материка на остров не попадают. Странно, конечно, потому что, по всем данным, существуют торговые связи между материком и островом; но проходят века, а никакие блага материковой цивилизации не доходят до острова и не влияют сколько-нибудь заметно на жизнь кубинцев. В конце концов на острове появляются чужеземцы из-за моря, скажем русские, которые захватывают Кубу, привозят туда колесо и плуг, бумагу и печатный станок, знакомят островитян с водопроводом и кирпичной кладкой — то есть трансформируют образ жизни кубинцев. Однако, будучи завезены русскими, эти орудия вносят русский колорит в кубинскую жизнь, поскольку русские вместе с орудиями завезли на Кубу свою религию, искусство и политику, русский стиль во всем. В конечном счете кубинцы становятся больше похоже на русских, чем на жителей американского континента. Заметив это обстоятельство, соседи Кубы — США, Мексика, Центральная Америка и Бразилия — начинают презирать кубинцев как предателей американской культуры, которые и ослаблялись и ославились как народ, утративший свою американскую душу.

Чем же, предположительно, ответят на это кубинцы?

Скорее всего, кубинцы огрызнутся: мы веками соседствовали с американским материком, однако нам пришлось дожидаться, чтобы кто-то из-за океана привез те самые блага цивилизации, которые мы могли бы получить от соседей; а потому, если Куба действительно утратила свою «американскую» душу, то повинны в этом американцы, так долго пренебрегавшие бедной маленькой Кубой. И, скорее всего, кубинцы начнут утверждать, что далекая Россия проявила больше интереса к Кубе, чем Соединенные Штаты, Мексика, Центральная Америка или Бразилия. Было бы странно, если бы вместо этого кубинцы били себя в грудь, причитая: виноваты, простите нас, американские соседи, за то, что вы нами пренебрегали, наш грех, что вы нас и знать не желали! Мы бы, естественно, подумали, что кубинцы ведут себя нелогично; больше того — назвали бы их слюнтяями.

Так вот, слюнтяи — это *мы*, если на насмешки Азии по поводу нашей утраченной души покаянно бьем себя в грудь, вместо того чтобы выдвинуть встречные обвинения.

Где же они, черт подери, были до 1521 года?

Во время войны японцы, задрав носы, читали нам мораль, понося нас за европеизированность и призывая «возвратиться в лоно Азии». Но если японцы еще до нашей европеизации не сделали *для нас* то, что Индия и Китай сделали *для них*, по какому праву поносят они ту культуру, формированию которой они должны были помочь, но не помогли?

Мы говорим, что обращение в христианство было для нас культурным бедствием. Так отчего бы не задаться вопросом о том, почему нас не обратили в буддизм, в даосизм, в индуизм, в конфуцианство, в синтоизм или ислам? Это бы спасло нашу культуру. Причина ведь не в боязни навязать нам чуждую религию — миссионеры великих азиатских религий по настойчивости не уступили бы никакому Павлу из Тарса.

Индуизм получил столь широкое распространение в наших краях, что и сегодня отдаленный Бали остается островом индуизма в мусульманском море. Однако до Бали индуизм дошел, а до близлежащих Филиппин — нет. наших соседей обратили, нас же обошли стороной.

Феноменальным явлением был и буддизм, который за тысячу лет пропитал каждый уголок Восточной Азии, кроме Филиппин — они остались в стороне.

Даже верования и философские учения древнего Китая — скупого на распространение своих культурных ценностей — проникли в Корею, Японию, на Формозу, откуда они должны были бы достичь и Филиппин, однако так и не достигли, хотя земли по другую сторону океана — нынешние Лаос, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам и Малайя испытали на себе китайское влияние. Бедные же, обездоленные Филиппины так и остались без Лотоса, без Дракона и без Пяти Классиков.

Япония, тоже не очень щедрая на раздачу культурных ценностей, все же поделилась частицей своей духовности с Кореей и островами, лежащими к югу. Филиппинские острова не попали в их число, и ни единый лучик синтоизма или дзэна не просветил наши языческие сердца.

Ислам достиг земли китайской в VII веке — первая мусульманская миссия прибыла ко двору императора Тай-цзуна в 628 году, а к 700 году в Шанду-

не уже были мечети. Оттуда ислам двинулся торговыми путями Азии, стремительно захватывая побережья, ранее населенные буддистами и индуистами, особенно по соседству с Филиппинами. Казалось, мы и на сей раз останемся ни при чем (согласно одной из гипотез, арабы свернули к северу, теснимые португальцами, появившимися в наших краях, и лишь, поэтому Филиппины оказались в сфере мусульманского влияния). Но наших берегов ислам достиг в последнюю очередь — так поздно, что к тому времени почти иссяк его первоначальный запал. По Филиппинам он шел с черепашьей скоростью, не сравнимой с его мгновенным распространением по соседним с нами странам. Однако, как справедливо отмечают наши мусульмане, ислам на Филиппинах просуществовал двести лет до того, как сюда было завезено христианство. Поучительно сравнение тех двух веков с двумя столетиями распространения христианства — шестнадцатым и семнадцатым. Вызвал ли ислам столь радикальный технический переворот, как христианство? Считается, что арабы первыми привезли на Филиппины слонов, но слонов трудно соотнести со сколько-нибудь серьезными переменами в нашей культуре.

Что примечательно, так это скромность успехов первых миссионеров ислама. Те, кто полагает, что обращение в ислам могло бы тогда стать спасением для Филиппин, должны с раздражением думать о том, как медленно он распространялся, с каким малым рвением, я бы сказал, неохотно, даже как-то лениво шло обращение: за две сотни лет ислам утвердился лишь на крохотной части нашей территории — на острове Сулу и южном побережье Минданао. Правда, позднее он одним прыжком перемахнул на остров Лусон, но это мало что добавило, ибо здесь мусульманское влияние было едва ощутимо, и мы с очень большой натяжкой можем называть Манилу или тагальский регион XVI века мусульманскими территориями.

Интересен здесь сам прыжок. Резонно было бы ожидать, что с острова Сулу и с южного побережья Минданао ислам распространится по Висайским островам; но нет — Висайские острова остались в стороне, ислам отдал предпочтение Центральному Лусону. Уж не в том ли причина, что Висайские острова —

как со временем убедится Легаспи — представляли собою вечно голодную глухомань? Это предположение может пролить свет и на другую загадку: почему великие азиатские религии обходили Филиппины стороной? Может быть, мусульмане, не обращая внимания на Висайские острова, поступали так же, как миссионеры великих религий в отношении всех Филиппинских островов? Может, они всех нас считали чересчур бедными, скучными, отсталыми и голодными и не желали тратить на нас религиозный пыл?

Странная вещь: тысячу лет, если не больше, соседние страны были пересечены путями, по которым шло распространение воинствующих религий, но ни один из путей не вел к нам. Между тем, будь мы обращены тогда в одну из азиатских вер, мы бы наверняка обрели и азиатскую душу.

Отчего же этого не произошло?

А может, причину назвал тот китайский посланник, который описывал нашу страну как «землю, по справедливости заселенную одними змеями и дикарями»?

Может быть, мы казались слишком дикими для мистических изысков?

Не в этом ли причина пренебрежительного отношения к нам со стороны индуистов, буддистов и конфуцианцев, более чем скромных успехов ислама на Филиппинах, за два столетия водрузившего знамени с полумесяцем всего над тремя клочками земли? (Если бы и дальше дело пошло такими темпами, то страна стала бы мусульманской только к XXI веку!) Ах, если бы проповедники хоть одной из этих религий проявили чуть больше рвения к тому, чтобы наставить нас на путь истинный! Увы, нам пришлось удовольствоваться импортным христианством, поскольку мать Азия отказалась принять нас в свое лоно.

Она отказала нам не только в духовных ценностях, но и в своих технических достижениях. Закрала перед нами даже свои материальные ресурсы. Почему мы должны были дожидаться, пока Запад даст нам такие орудия, как колесо, плуг, дороги и прочее, когда у наших азиатских соседей давно все это было? Как неприятно вещественное доказательство в виде китайского фарфора на нашей земле! Уж если он был так ценен для нас, что стоило китайцам научить нас его производству? Один из наших ученых высказал

было предположение, что если бы нас не окрестили в XVI веке, то племена Центрального Лусона научились бы выделывать фарфор, но тут же с тоской спохватился: мусульманские племена и крещены не были, и сохранили непосредственные торговые связи с Китаем, а производство фарфора так и не освоили. Значит, ответ один: мы потому не научились делать фарфор, что Азия не сочла нужным приобщить нас к этому ремеслу. В этом же и тайна нашей непричастности к азиатской цивилизации — будь мы допущены в нее, наша культура, без сомнения, получила бы азиатский колорит.

Есть свидетельства, что уже в XVII веке по меньшей мере два юноши из знатных семей Пампанги были отправлены на учебу в аристократическую испанскую школу. А где отыскать свидетельства того, что кто-то с наших островов — в доиспанские времена — учился в одном из университетов Азии, или в азиатском монастыре, или в центре ремесел, которыми так богата была Азия в ту эпоху? Не в том ли дело, что Азия презирала землю, пригодную лишь для змей и дикарей?

Но раз уж Азия отказалась быть матерью филиппинской культуры, то исторически она может приходить нам лишь злой мачехой, которая заботится о любимых дочках; для Филиппин же — заброшенной и всеми презираемой Золушки — Запад стал если не прекрасным принцем, то крестной феей, довольно капризной, правда.

Это есть факт, который не опровергнут никакие результаты будущих исследований, даже если они обнаружат, скажем, невероятно широкие связи между Филиппинами и азиатскими странами, ибо плоды древних связей и так налицо. И выглядят эти плоды не очень красиво: мы заимствовали колесо не из Индии, театр — не из Китая, плуг — не из Таиланда, лечебницы — не из Камбоджи. Не Малайя дала нам городскую культуру, не Япония познакомила нас с лошадью, не Молукки научили пользоваться пряностями, не Ява подарила нам архитектуру, а математике нас обучили не арабы.

Короче говоря, наши азиатские соседи не дали нам ни одного из основных компонентов цивилизации. Сколько бы мы ни подчеркивали древние контакты с ними в попытке скрыть их пренебрежение

к нам, от исторических фактов не уйти. К тому же мы настолько раздули значение этих контактов, что некоторый скепсис пойдет нам на пользу. Поставим вопрос так: какой могла бы быть «подлинная» история Филиппин, если бы не 1521 год? Ответ мы найдем в фактах. Если бы не было западного вторжения, если бы распространение ислама продолжало идти на спад, а Азия проявляла все то же безразличие, то мы сегодня жили бы на манер обитателей Папуа или Самоа. Филиппины были бы маленьким заповедником язычества в Тихом океане с отдельными мусульманскими городами-государствами на побережье, с отдельными царствами, расположенными по течению рек в глубине страны, с отдельными поселениями племен в горах, и ни одно образование не знало бы о другом, не говоря уж об «Азии», — совершенно так же, как илюнготы сегодня ничего не ведают о самбалах или о чем другом, что не входит в круг интересов племени. Иными словами, не было бы никаких Филиппин (или как бы там ни стала называться эта страна), и филиппинцев бы не было, и «истории» тоже. Совершенно очевидно, что именно так сложилась бы наша судьба; и говорить, будто наше географическое местоположение в Азии есть залог нашего вхождения в азиатскую цивилизацию, значит идти наперекор фактам, ибо в этом вопросе сама история свидетельствует против Азии.

Столетиями существовали наши пресловутые связи с Китаем, уже вступившим в культуру бумаги, а мы продолжали писать на древесной коре.

Столетиями существовали наши пресловутые связи с Индией, уже создавшей культуру книги, а мы продолжали писать на древесной коре.

Столетиями существовали наши пресловутые связи с арабами, уже обладавшими культурой книгопечатания, а мы продолжали писать на древесной коре.

Но через *тридцать лет* после встречи с Легаспи мы сделали первый шаг в культуру бумаги, книгопечатания, книги.

Теперь поставим вопрос так: если Азия нами не интересовалась, то были ли и мы равнодушны к Азии?

Обыкновенно мы говорим, что в «дозападные» времена мы поддерживали обширные торговые связи с соседями, что мы тогда были народом мореплавателей и «кораблестроителей». Однако характер на-

шей культуры, так и не сделавшейся индуистской, буддистской или конфуцианской, ставит под сомнение эти претензии. Если мы действительно путешествовали по всей Азии в те времена, то нам не нужно было бы дожидаться азиатских миссионеров — мы бы сами познакомились с чужими верами в торговых гаванях, как поступали купцы других стран. Поскольку этого не произошло, то, скорее всего, наши связи с Азией были отнюдь не так обширны, как нам сейчас нравится думать.

Вот чем полезно изучение культуры как истории: можно очистить историю от исторических суеверий, поскольку культура сама по себе есть доказательство, с помощью которого поддается проверке история при отсутствии иных доказательств, — дали же остатки Критской культуры ключ к реконструкции истории Минойской империи. Важны свидетельства не только того, что было, но и того, чего не было: «Одиссея», повествующая о путешествиях, полна косвенных указаний на их мелкомасштабность и неподготовленность, а это значит, что греки времен «Одиссеи» еще не были настоящими мореплавателями.

Ну а что мы получим, если подвергнем подобному анализу древнюю историю Филиппин? Отсутствие религиозных влияний мы уже отметили. Теперь отметим почти полное отсутствие морской тематики в филиппинском фольклоре, отсутствие тем более необъяснимое, если вспомнить, что морская мифология есть даже у таких убежденно сухопутных народов, как греки и римляне. В нашем же фольклоре если и встретится герой-путешественник, то он плавает по рекам — это Хуан Тамад; богиня любви приходит у нас не из пены морской, а с горных вершин — это Марианг Макилинг; духи у нас селятся либо в лесной чащобе, либо под землей — это *асуванг* и *матанда са пунсо*. Когда же это морские девы, напоминающие сирен, или ритуалы, связанные с морем, то можно не сомневаться: их появлением мы обязаны соприкосновению с Западом. Если и есть у нас странники моря, то обычай требует непременно хоронить их в земле (в отличие от викингов, подлинных мореплавателей). Да и бороздили они моря только близ берегов — подобно героям «Одиссеи», — так что не слышно даже, чтоб добирались до Лусона.

И еще одно: в нашем фольклоре начисто отсут-

ствуют упоминания о связях с Азией в далекие времена. Уж наверняка, если бы мы так много путешествовали в старину, это нашло бы свое отражение в народных сказках: скажем, приключения какого-нибудь коричневого Одиссея в дальних краях. Фольклор запечатлел бы хоть смутные воспоминания о посещении двора правителей Китая или замков японских феодалов, рассказы о великолепии Ангкор-Вата и Малакки, храмовых городов Явы. Увы, нет и намека на то, что нашим кораблям был ведом путь в гавани Востока. Даже если предположить, что письменных памятников нет, потому что монахи уничтожили наши книги, все равно мы не обойдем стороной непреложный факт: достаточно легко уничтожить книгу, но практически невозможно уничтожить память о ней. До нас дошли лишь немногие произведения великих греческих драматургов, но известно, сколько пьес написал каждый из них, известны названия и содержание пьес, ибо память о них веками жила в устной традиции. Мы знаем, что существовали другие Евангелия кроме канонических четырех,— знаем из той же устной традиции, сохранившей память о них и хранившей бы память о них и далее, даже если бы они не были упомянуты в Евангелии от Луки. Нужно ли сомневаться, что если бы вдруг исчезли все, до единого экземпляра, пьесы Шекспира, Шекспира все равно цитировали бы и обсуждали бы в грядущем, поскольку шекспировские строки и строфы сделались бы частью *живой* традиции? А если вдруг погибли бы произведения Рисаля, то все равно не погибла бы память о них, и мы через столетия продолжали бы говорить: «Как писал Рисаль в своем, ныне утраченном романе...», или: «Как сказано в утерянном прощальном стихотворении Рисаля...» Не так уж много поколений отделяют нас от XVI века, а мы всё пытаемся утверждать, будто за короткий этот срок могла исчезнуть всякая память о «книгах», которые якобы были уничтожены в период нашего обращения в христианство. Нет, это маловероятно и малоправдоподобно. Случись такое, устная традиция сохранила бы память и о сожжении книг, и о самих книгах, и мы бы сегодня говорили: «Как писал наш великий поэт Маката в своем эпическом произведении, сожженном испанцами в Малолосе...», или: «Как наш великий драматург Гатдула отмечал

в своей исторической драме, которую уничтожили монахи в Арайте...»

Но раз традиция не сохранила память о таких книгах, то, подходя к культуре как к истории, мы обязаны предположить, что «книг» никогда не было. «Существуют» они сегодня как еще одно из исторических суеверий. Признание этого не принижает национального достоинства, напротив, оно укрепляет его, ибо доказывает: мы взрослые в своем сознательном отношении к истории как к науке; нам, так сказать, больше незачем приравнивать упаковочную мастерскую к предприятию тяжелой индустрии, а школьный физический кабинет к исследованиям в области физики.

Вспоминается, как до войны мы любили хвастать тем, что задолго до контакта с Западом Филиппины были частью великих империй Шривиджайя и Маджапахит. То, что сейчас мы бросили это хвастовство, свидетельствует о нашей достаточной культурной зрелости и способности понять: такие претензии не возвеличивают, а унижают нас, мы же выступали в роли бедных дальних родственников, гордых своей принадлежностью к аристократической фамилии, которая и не подозревает об их существовании. Если мы действительно были провинцией великих империй, то чем объяснить тот факт, что, когда империи засияли под лучами истории, мы остались в доисторических сумерках? Империи совершали эпохальные перемены в религии, технике, морской торговле, архитектуре, искусстве, и ничто из этого не сказалось на нашей культуре? Как же могло это не сказаться — при нашей этнической и географической близости?

Однако ничего нет — в культурном отношении мы так далеки от них, будто живем на Северном полюсе.

Похоже, что мы уже осознали опасность, которой чревато превращение муравейника истории в пропагандистскую гору, и научились более осмотрительно истолковывать факты нашей древности. Теперь мы подвергаем сомнению даже лингвистические заимствования, которые с соблазнительной легкостью можно прочесть как доказательства широких связей, скажем, с Индией. Понятно ведь, что и один миссионер, пообщавшись с африканским племенем, способен оставить в языке этого племени кучу новых слов: пенициллин, сульфа, радио, джип, Евангелие и проч.

На их основе можно впоследствии прийти к поспешному выводу о существовании у племени куда более обширных связей с внешним миром, чем было в действительности. Аналогичным образом, истолковывая наличие китайского фарфора на Филиппинах как доказательство серьезных культурных связей с Китаем, мы рискуем услышать в ответ, что куда более вероятно другое: отношения могли носить весьма поверхностный характер — это связи купцов с безвестными покупателями. Фарфоровые изделия свидетельствуют не столько о наличии культурных взаимодействий (типа тех, которые существовали между Китаем, Японией, Кореей), сколько о технической отсталости Филиппин, а также о том, что Китай пользовался нашим технологическим невежеством и стремился подольше сохранить нас в качестве своего рынка. Вместо того чтобы горделиво коллекционировать фарфоровые блюда, нам бы следовало стыдливо прятать их — эти доказательства первой эксплуатации Филиппин зарубежными промышленниками, первого проявления нашего низкопоклонства перед «импортным» и возведения завозных поделок в ранг символов престижа. Как орудия фарфоровые изделия были совершенно бесполезны для нашей культуры — толку от них было столько же, сколько от импортных игрушек, которые мы вешаем в машинах, или от импортных шелковых обивок для гробов. Не наличие фарфоровых изделий, а отсутствие фарфоровых заводов — примечательный факт для изучения культуры как истории, ибо он ставит под вопрос существование «глубоких культурных связей» с Китаем, да и с любой другой страной, уже знавшей фарфор и находившейся так близко и так далеко от нас. А это, в свою очередь, заставляет усомниться в том, что мы настолько уж хорошо знали Азию или были известны в Азии, как мы утверждаем.

Один филиппинский исследователь китайских хроник выразил недавно недоумение по поводу того, что в них так мало упоминаний о нашей стране, да и обнаруженные настолько туманны, что по сей день идут споры, нас ли они касаются. Хроники много пишут о наших ближайших соседях — Борнео, Молуккских островах, Яве и Суматре. Будь мы действительно народом кораблестроителей и купцов, факт этот был бы необъясним, как, скажем, отсутствие

упоминаний о финикийцах в древнегреческой истории или о карфагенянах — в римской. Не так уж много было в Азии судов в те времена, чтобы нас не заметили наблюдательные китайцы, чьим хлебом насущным была торговля. Наверняка торговые сделки с Филиппинами были бы так же тщательно зафиксированы, как сделки с Борнео, Молуккскими островами, Явой и Суматрой. Из этого можно умозаключить, что размах нашей коммерческой деятельности столь же сильно преувеличен, сколько и численность нашего флота. Мы очень любим цитировать следующее свидетельство: китайские купцы так верили нам, что разрешали, взяв товары, расплачиваться за них через несколько месяцев. Доверие как бы говорит о нашей честности в делах. Однако на это можно посмотреть и по-другому: мы, очевидно, сильно зависели от китайских купцов и просто не осмеливались воровать у них, боясь, что они перестанут приезжать к нам. Больше того, кое-где китайских купцов похищали и держали заложниками, чтобы обеспечить новый приход китайских судов. Будь у нас собственные суда и развитые торговые связи, умей бы мы плавать по азиатским морям, с чего бы мы стали так держаться за случайных торговцев?

Вывод вполне согласуется с отсутствием упоминаний о Филиппинах в китайских хрониках: филиппинская торговля была чересчур ничтожна, торговые связи носили односторонний характер — торговали китайцы. И снова культура, рассматриваемая как история, позволяет проверить и перепроверить косвенные доказательства нашего странного неучастия в техническом развитии Азии. Невозможно представить себе, что филиппинцы, бывая в Китае и видя китайские дороги, потом возвращались и спокойно продолжали пользоваться лесными тропами; или, съездив в Японию и увидев, какие там мосты, продолжали довольствоваться хлипкой связкой бамбука, перекинутой через ручей; или, побывав на Яве и познакомившись там со строительной техникой, возвращались на родину архитектурными невеждами. Либо мы должны поставить под сомнение умственные способности наших праотцов, либо сделать вывод, что не учились строить дороги, мосты и возводить каменные здания, так как крайне редко посещали те страны, где могли их увидеть, а соседи наши

о нас не знали или не утруждали себя строительством на Филиппинах.

Положение Филиппин до контакта с Европой характеризуется в двух словах: никто нас не знал, и никого мы не знали. В двух словах можно также охарактеризовать и отношение соседей к нам: это незнание и безразличие. Доказательством служат их карты Филиппин — чудовищно неточные даже в XVI веке. Отсюда вывод: хотя Филиппины и не были землей отдаленной или недоступной, для наших соседей это была самая настоящая *terra incognita*. Место в географии мы получили впервые на европейских картах, а значит, и Азия, можно сказать, тоже открыла нас в 1521 году.

Конечно, с началом испанской эпохи Азия изменила свое отношение к нам. Внезапно мы перестали быть *terra incognita*. Внезапно земля, пригодная лишь для змей и дикарей, стала привлекать к себе китайцев и японцев, им захотелось приезжать, селиться, они даже зариться стали на эту землю. Внезапно страна, которой не коснулся азиатский прогресс, заполняется товарами из соседних стран: галеоны везут не только китайские шелка, но все предметы азиатского экспорта — от изделий и драгоценных камней из Индии и Камбоджи до жемчуга и благовоний из Японии и Индонезии. Манила, которая собирает все богатства Востока для вывоза на Запад, становится главным азиатским портом и, наконец-то, становится частью Азии. Внезапно — теперь уже на самом деле — филиппинцы начинают бывать во всех торговых портах Востока, влияние Филиппин ощущают и в Макао, и на Формозе, и на Марианских островах, и в Индонезии, и на Борнео, и в Малайе, и в Индокитае, и на побережьях Китая и Японии, на полях всех битв, где бряцание филиппинского оружия словно возвещает рождение Филиппинской империи. Есть некая поэтическая справедливость в том, что Япония, так долго бывшая далеко от Филиппин, захлопнула дверь перед миром, потому что внезапно Филиппины оказались рядом.

Период вхождения Филиппин в Азию, символизируемого появлением сирены в нашем фольклоре и корабля под названием «манильский галеон» в на-

шем торговом флоте, имел исторические последствия, например становление тагало-пампанганского региона, которое можно напрямую связать с активным участием этих двух народов в азиатских связях. В фольклоре этот период нашел многообразное отражение: морские ритуалы Санто Ниньо де Тернате, боевые легенды Санто Росарио, такие блюда, как *кари-де-пата*, *кари-де-полло* и *кари-каре*, театр *моро-моро* (разве не знаменательно, что в *моро-моро* действие редко происходит на Филиппинах, а чаще переносится куда-то за море?).

Воздействие нашего вхождения в Азию на нашу культуру заслуживает тщательнейшего изучения. Веками отрезанный от Азии, филиппинец внезапно открывает для себя Азию, которая, в свою очередь, открывает его. Но как же это подействовало на нас? Сколько «сцен узнавания» должно было разыгаться в Индонезии или в Малайе, когда мы в чужеземцах вдруг увидели... самих себя! Конечно, все это содействовало нашей «азиатизации», однако привело к парадоксу: если сегодня мы и азиаты, то азиатами стали благодаря посредничеству Европы, которая свела Азию и нас.

Лучше всего продемонстрировать парадоксальность ситуации на примере филиппинских китайцев. Хотя мы относим начало наших связей с Китаем к IX веку, связи эти имели весьма поверхностный характер, поскольку китайцы вначале у нас не селились и почти не оказывали влияния на нашу культуру. Это видно по той части нашего домашнего хозяйства, где китайское влияние должно было сказаться в первую очередь,— по нашей кухне. Китайцы должны были бы стать нашими главными учителями в кулинарном деле. Но обучили нас не они, а другие. Филиппинская кулинарная терминология (*гиса*, *фри-то*, *санкуча*, *асадо*, *туста*, *тимпло*, *рекада*, *мантика*) не имеет ничего общего с Китаем. Остается лишь сделать вывод, что, столетиями общаясь с китайцами, мы так и не подружились с ними настолько, чтобы допустить их на кухню. Они попали туда только после 1565 года, и потому все китайские блюда у нас носят креольские названия. Теперь они уже стали частью нашей культуры, и нам кажется, будто мы их ели всегда, но на самом деле эта наша азиатская черта пришла к нам с культурой колониальной.

креольской, а до ее становления китайцы не открывали нам новых кулинарных горизонтов. В противном случае мы бы ели сегодня палочками — Европа там или не Европа...

Однако китайцы, по крайней мере на Филиппинских островах, редко играли роль первопроходцев. Это понимал Рисаль, и его рассказ о городке Сан-Диего звучит как притча о Филиппинах в Азии.

Забытый Богом, затерянный в лесах городок Сан-Диего — просто кучка жалких домишек. Городок прозябает, пока не поселяется в нем креол, который разбивает плантации индиго и обучает крестьян современным методам ведения сельского хозяйства. На протяжении жизни одного поколения Сан-Диего преобразуется, становится крупным благоденствующим городом. Тогда и только тогда в город приезжают китайцы — не в лесной поселок, а в процветающий город.

Примерно так же повела себя Азия. Она оказала воздействие на нашу культуру уже после того, как мы были открыты Западом, зато — как в случае с китайской кухней — на первых порах нашего колониального бытия мы получили больше азиатчины, чем во все предшествовавшие времена. Если при этом помнить, что речь идет не только о повороте Азии к нам (поток азиатского импорта, поток азиатских иммигрантов), но и о нашем вхождении в Азию (военные кампании, в которых мы тоже участвовали), то как не прийти к выводу, что именно колониальная, или креольская, эра дала нам возможность сделаться азиатами — возможность, которой у нас прежде не было? Один мексиканский ученый считает, что нас можно отнести к восточным народам на том основании, что мы — помимо прочих признаков — любим *пансит* и *люмпю*. Но мы пристрастились к этим блюдам в креольские времена, следовательно, креолы и сделали нас восточным народом. При условии, конечно, что речь идет не о некоей туманной и мистической азиатской душе, а о самобытных национальных чертах, появившихся и развившихся под воздействием азиатской техники и цивилизации. В таком случае придется признать, что до 1521 года мы этими чертами не обладали, будучи почти начисто изолированы от прогрессивной культуры Азии. Однако после 1521 года устанавливаются постоянные связи с вели-

кими цивилизациями Азии, и с этого времени наш быт обогащается азиатскими изделиями: фаянсовой посудой, лампами-тюльпанами, резными креслами, зеркалами в багете, японскими фонариками и деревянными башмаками, китайскими фарфоровыми львами и картинами на шелку, индийскими тканями, индонезийской чеканкой, *сари-сари*, базарами и *панси-териями*.

Так не пересмотреть ли нам в этой связи представление о том, будто колониальный период «испортил» нашу азиатскую душу?

Не пора ли нам отдать себе отчет в том, что в тот период шли два параллельных процесса: с одной стороны, европеизация, а с другой — «азиатизация» — и что второй процесс оказался результативней, поскольку число азиатских, особенно китайских, иммигрантов намного превосходило число европейцев на Филиппинах? Уже к XVII веку только в Маниле оказалось больше китайцев, чем раньше было на всех Филиппинских островах. Так нужно ли сомневаться, что в XVII веке влияние китайцев было куда сильнее, чем прежде, когда они наносили нам редкие пренебрежительные визиты?

К примеру, мы можем утверждать, что строить из камня научились от китайцев под испанским руководством, а затем, сочетав оба влияния, создали филиппинскую архитектуру, самобытность которой хорошо видна в старинных церквях, где китайские и испанские мотивы сочетаются в чисто филиппинской гармонии. Разве не говорит это об общем направлении, в котором развивалась филиппинская культура, и не разоблачает ли миф о том, что подлинно филиппинская, азиатская культура могла существовать только до 1521 года — хотя на Филиппинах после 1565 года появилось больше азиатского, чем было до 1521 года?

Мы отказываемся признать эти факты, потому что, признав их, будем вынуждены пересмотреть старые представления о роли колониализма на Филиппинах, ибо наши домыслы о его результатах не согласуются с фактами. Мы говорим, что западное вторжение оторвало нас от Азии, но легче доказать противоположное: не оторвало от Азии, а приблизило к ней. Мы говорим, что утратили ощущение своей принадлежности к Азии, но факты доказывают обратное:

мы никогда раньше не играли такую значительную роль в азиатских делах. Мы говорим, что наша азиатская душа оказалась испорчена, но в таком случае азиатское влияние повинно в этом не меньше, чем европейское, поскольку мы подвергались и тому и другому, однако азиатское было сильнее. Что же, становление культуры *пансита* и *люмпии* в XVII веке подорвало нашу азиатскую сущность или укрепило ее? Сомнительно, что в доевропейские времена филиппинцы так походили на китайцев, как сейчас; а что касается индийской культуры, то ее единственная достоверно известная добавка к нашему кровотоку имела место во время войны с Англией, создав внешность жителей Кайнты. Когда в XVII веке целое племя переселилось с Тернате на Кавите, поскольку решило стать «филиппинским», это переселение как бы символизировало двойное движение в нашей культуре: нашу тягу к Азии и тягу Азии к нам.

Двойное движение отражало двойной процесс: европеизации и «азиатизации», — происходивший в XVI и XVII веках; когда же они слились (к середине XIX века) в один, то дали Бургоса, 1872 год¹, Пропаганду, Революцию, Первую Республику и становление филиппинской нации — плоды культуры, начавшейся в XVI веке с колеса, плуга, дорог и т. п.

Но именно это мы отказываемся признать. Отказ же ставит перед нами другую проблему: можно ли вообще рассматривать XVI и XVII века как часть истории Филиппин? Если подойти к этому вопросу путем анализа культуры как истории, если за символы культуры взять *адобо* или *пан де саль*, то мы вынуждены будем согласиться, что Филиппины без *адобо* и *пан де саль* столь же немыслимы, как без Катипунана и Конгресса в Малолосе. Иными словами, культура и есть история. Это совпадает с положением Мак-Люэна — «средство коммуникации и есть сообщение» и с положением Шпенглера — «метод науки и есть наука». Если XVI и XVII века дали нам *адобо* и *пан де саль*, то чем может быть эта эпоха, как не частью истории Филиппин? *Адобо* и *пан де саль* — это история в не меньшей степени, чем

¹ Имеется в виду восстание 1872 г. в Кавите, которое филиппинцы считают важнейшей вехой в развитии общефилиппинского движения против испанского колониального ига.

Катипунан, потому что все это вместе сделало нас тем, что мы есть.

Проблема — в процессе, а точнее, в истории нашего становления, потому что мы никак не можем убедить себя, что филиппинцами мы стали, равно как не можем убедить себя, что азиатами мы тоже стали. Раз мы из Азии, значит, азиаты. И точка. Даже если мы признаем, что колониализм привел в действие двойной процесс — «азиатизации» и европеизации, то только для того, чтобы немедленно ввести дискриминирующий фактор: первый, который условно можно назвать культурой *пансита*, раз он связан с Азией, принимается как чисто филиппинский; второй, создавший культуру *адобо* и *пан де саль*, считается креольским и подлежащим остракизму как нефилиппинский. С практической, житейской точки зрения филиппинскими выглядят и тот и другой — оба составляют единую культуру, внутри которой их невозможно разорвать, настолько они сплелись между собой и со всем остальным. Шпенглер назвал бы это процессом формирования души, Мак-Люэн — метаморфозой или экономическим освобождением. Если издалека завезенная кукуруза избавила Висайские острова от постоянного голода, в каких еще отношениях новая культура избавила нас от непосильного труда, от нужды, изменила образ нашей жизни и уже хотя бы этим сыграла роль в истории Филиппин? Но нет, говорим мы, мы инстинктивно отличаем азиатское в нашей культуре от наносного, потому что азиатское — это и есть подлинно филиппинское, а то, другое, — одна видимость.

На самом деле это не инстинкт. Это позиция. Позиция, основанная на представлении о том, что и культура и история статичны, на том, что существует некая вневременная азиатская сущность, характеризующаяся определенными признаками, которыми мы должны обладать, поскольку мы азиаты. Однако все три тезиса крайне сомнительны. Если вы католик в католической общине, значит ли это, что вы обязательно *católico cerrado*¹? Веками женщинам внушали: женщина есть некий тип, обладающий набором качеств, именуемых «женственностью», отсутствие же

¹ Законченный католик (*исп.*).

их делает ее «неженственной» — предательницей собственного пола. Что касается этого полового предрассудка, то его уже подорвало феминистское движение; а вот предрассудок, касающийся Азии, еще предстоит изобличить. Мы по-прежнему прислушиваемся к увещаниям стать азиатами, так толком и не зная, что же это такое. Что есть азиатская сущность? Индийская пассивность или динамичность японца? Китайская добросовестность или малайская беззаботность? Это крестьянин, выращивающий рис, или кочевник-скотовод? Шейх, гуру, кули? Буддист, индуист, мусульманин, шаман? Закрытые королевства Азии могут заставить предполагать склонность к эгоцентризму и мизантропии как азиатскую черту в противовес открытости Запада, но является ли культурная закрытость и сосредоточенность на себе действительно азиатской характеристикой и что следует делать нам: развивать ее или радоваться тому, что мы этого избежали? Уж не в том ли азиатская сущность, чтобы с уважением относиться к себе и уничижительно — к соседу, считая его варваром? Это в Азии принято издавна.

Неразбериха усугубляется еще и тем, что качества, обыкновенно именуемые типично азиатскими, могут с таким же успехом быть отнесены к народам Европы. Например: фатализм греков, стоицизм римских рабов, леность и распущенность кельтов, клановость тевтонов, вспыльчивость и мстительность латинян, кастовость англичан, непроницаемость американцев (пресловутое «лицо янки за картами»). Более того, многие качества, составлявшие стереотип азиата, оказались второстепенными. До недавнего времени было распространено мнение, будто китайцы относятся к числу народов, не способных ни понять современную технику, ни управиться с ней. Превратив за несколько лет Китай в индустриальную державу, китайцы показали, чего стоят такого рода «прописные истины». И тем не менее исторические интерпретации зачастую строятся именно на них, и филиппинская история по сей день выводится из «прописных истин».

Одна из причин — пристыженность и чувство вины за то, что мы приняли христианство. В нехристианской Азии наша вера делает нас попросту отщепенцами. Как феминизм сделал из некоторых женщин

ни то ни се — это ни мужчины, ни женщины, так и наша христианская культура делает нас ни рыбой, ни мясом, ни Востоком, ни Западом. Но почему уникальность нашей культуры должна вызвать у нас чувство стыда и вины, почему мы не можем гордиться тем, что нам выпала особая судьба? Зачем обязательно нужно быть Востоком, Западом, Севером или Югом, когда мы можем быть собой — быть такими, какими история и судьба нас сформировали? Что плохого в том, чтобы быть непохожим, чтобы выделяться из стада? Кто же предпочтет массовую продукцию штучному изделию? Англичане рады тому, что Англия, которая без норманнского завоевания так и осталась бы одной из крохотных гортанноговорящих Саксоний, неотесанной и грубой на манер других неразвитых тевтонских княжеств, через норманнское завоевание получила французскую примесь. Конечно, это «испортило» англо-саксонскую неповоротливость, сделало англичан отщепенцами в саксонском мире, но отщепенцы потом дали человечеству Джона Донна и Чарлза Диккенса, динамичную империю, паровые машины и язык королей. Если даже и есть азиатская сущность, которой и мы можем соответствовать, зачем нам соответствовать стереотипам? Почему бы, как англичанам, не пойти крутым путем судьбы? Мы что, не будем азиатами, если, развиваясь как филиппинцы, добавим еще одну краску, еще один узор в пестрый ковер Азии, как это сделали индийцы, китайцы, индонезийцы? Те, кто настаивает, что мы должны быть не просто филиппинцами, но и азиатами тоже, расписываются в собственном комплексе неполноценности. Почему мало быть просто филиппинцем? Говорил же Джеймс Джойс: «Меня сформировала моя страна и мой народ — я хочу раскрыть себя таким, какой я есть». Нам же внушают: ваша культура и ваша история не сформировала вас, а потому раскройте себя не такими, какие вы есть. Комплекс Дориана Грея.

Хочу повторить: эта позиция основана на подходе к культуре как к чему-то статическому, который, в свою очередь, порождает иллюзию, будто историю можно изменять по желанию — выбросив из нее креольский период, поскольку он не филиппинский и не повлиял на становление филиппинца. Тогда филиппинец, как всякий «азиат», превращается во вне-

временную сущность, обладающую неизменными качествами. Этот филиппинец *не формируется* в ходе истории — он всегда *есть*, что делает его чуть ли не богоподобным.

Ощущение неких трудноуловимых качеств — фатализма, *пакикисама*, *хийя*¹, — заложенных в нас еще в доисторические времена, драматизирует наше существование и является прекрасным материалом для поэзии. Но когда драма воспринимается буквально, когда она используется для отрицания того, что наш национальный характер имеет свою историю становления, тогда это чистая нелепость. Известно, что можно унаследовать от дедушки форму носа, или от бабушки — астму, или быть генетическим левшой, но разве наличие всех трех признаков — и нос, и астма, и леворукость — делает человека простым повторением дедушек и бабушек, а не *новой* особью? С таким же успехом можно заявить, будто употребление в современном языке термина «лошадиная сила» доказывает, что машинный век не вышел из рамок лошадиной культуры! А если наши «хилеры» есть доказательство того, что мы так и не ушли от анимизма, то американцы, приезжающие лечиться у них, — живое свидетельство того, что и Америка стоит на той же ступени развития! Не правильней ли признать, что каждый человек есть своего рода антология всех предшествующих эпох, что иногда он может действовать одновременно в нескольких разных эпохах? Например, филиппинец, знающий тагальский, испанский и английский, с тагальским живет в мире устной традиции, с испанским — в визуальной культуре, а с английским — в электронном веке. Более того, может статься, что тагальский язык сохраняет его веру в силу амулетов, что не мешает ему быть гражданином современного мира, если он владеет его орудиями и образом мышления: каждый имеет право быть оцененным по тому лучшему, что в нем есть. Миллионы англичан погрязали в невежестве во времена Шекспира, но Шекспир — пусть и единственный среди них — достиг вершин культуры, а значит, английскую культуру оценивать следует по этой верхней точке. Мы же поступаем наоборот, предпочи-

¹ Совместимость — умение ладить с людьми; стыд — повышенная чувствительность, вызванная страхом остаться в одиночестве (*тагальск.*).

тая выставляя оценки филиппинской культуре не по ее высшим точкам, а по низшей. Имеем ли мы право утверждать, что столь блестящий период в развитии нашей культуры, как Пропаганда, не знаменует собой вершину, поскольку не весь народ состоял из интеллектуалов (хотя совершенно ясно, что появление «просвещенных» — *иллюстрада* объясняется процессами, происходившими именно в народных массах). Без напора воды фонтаны не брызжут, и Шекспир — не редкостное чудо, а выражение творческой энергии народа, который был незрел на вид, но по сути готов к часу своего величия.

Новая Неграмотность с ее брызжущей жизнью «поп»-культурой (до чего же она похожа на наш фольклор — вплоть до гитары и бус!), возможно, отучит нас от высокомерия по отношению к креольскому прошлому Филиппин. Возможно, мы даже научимся ценить его настолько, что поймем и значение технической революции, связанной с ним во времени, — перестанем отрицать ее.

Однако признанные или отвергаемые, все равно XVI и XVII века означают поворот в нашей истории, ибо с них начиналось становление филиппинской нации, становление филиппинца: с его европеизации, если угодно, но и его «азиатизации» тоже. Два эти фактора влияния сплелись до такой степени, что сейчас уже не разобрать, какой из них основной, а какой — вторичный. Достаточно сказать, что филиппинцами нас сделали оба, и взаимодействие их было так эффективно, что сделались мы азиатами особого толка. «Историческое — лишь то, что было или есть эффективно». Шпенглер этой цитатой уточняет то, что может быть названо его экзистенциалистским подходом к истории: подчеркиваемое им разграничение между идеей и фактом, между «истинами» и жизненной практикой.

Если сообщить заурядному филиппинцу, что *адо-бо* и *пан де саль* есть тонкий слой европейского влияния, удалив который он обнаружит «подлинную» филиппинскую сущность (возможно, это и «правильная» идея, так сказать, «истина»), то он, скорее всего, огрызнется и заявит, что для него это — филиппинские блюда, да и кишечник у него тоже филиппинский. Можете объездить весь мир, но нигде — нет, даже в Испании и Мексике — не найдется ничего

подобного настоящим филиппинским *адобо* и *пан де саль* (а это уже факт или жизненная практика, к тому же вполне эффективная). Культура как история экзистенциальна, а потому следует вывод: эпоха, породившая *адобо* и *пан де саль*, является частью истории Филиппин *in excelsis*¹, ибо она по сей день входит в быт каждого филиппинца; а кто пытается отвергать ее, тот пытается вычеркнуть из филиппинского меню любимейшие наши блюда.

¹ В вышних (лат.).

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. В. Подберезский. Лучший рассказчик Филиппин</i>	3
<i>Четыре дня в начале года Тигра. Перевод И. В. Подберезского</i>	15
<i>Рассказы о Филиппинах. Перевод И. В. Подберезского</i>	99
Лапу-Лапу и Хумабон: близнецы по-филиппински	101
Так что же произошло на Батаане?	109
Они называли это «Освобождением»	126
Тринадцать часов ночи	144
Трудная ночь Тони Агпаоа	156
Прорицатели из Киапо	177
Мода на поклонение	189
Глория Первая, королева Земли	205
Брат Манало из Иглесии	218
Виват, Вилья!	233
Петушиные бои в «Колизее»	259
Андинг Росес играет Джеймса Бонда	272
<i>Культура как история. Перевод М. Л. Салганик</i>	288

Научно-художественное издание

Хоакин Ник (Никомедес)

ЧЕТЫРЕ ДНЯ В НАЧАЛЕ ГОДА ТИГРА

*Утверждено к печати редколлегией серии
«Рассказы о странах Востока»*

Заведующая редакцией *В. Д. Подберезская*. Редактор *Е. Г. Руденко*.
Младшие редакторы *М. И. Новицкая, Т. Е. Калинина*. Художник *Л. С. Эрман*.
Художественный редактор *Э. Л. Эрман*. Технический редактор
В. П. Стуковнина. Корректор *Л. Ф. Орлова*

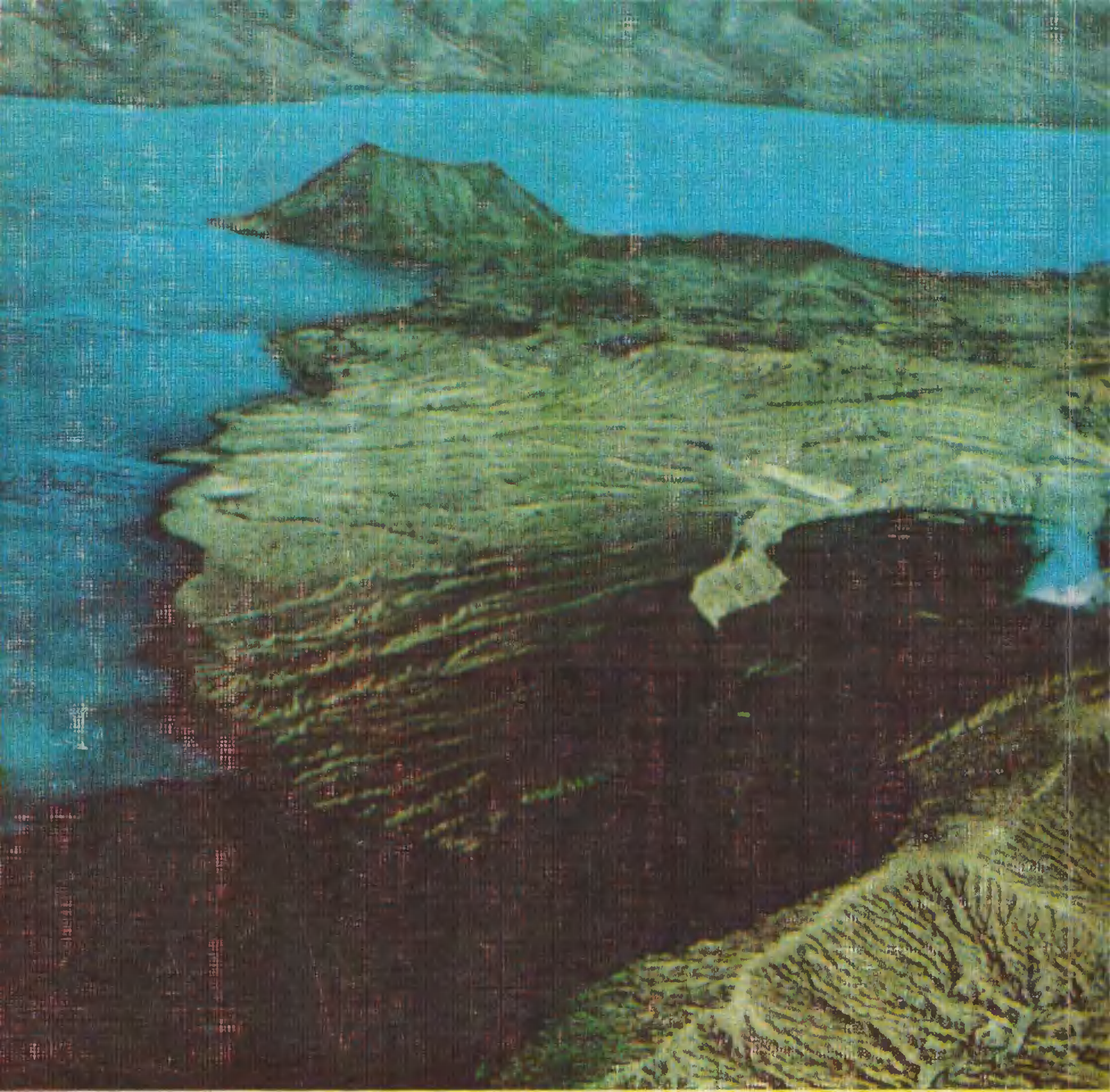
ИБ № 16589

Сдано в набор 15.01.91. Подписано к печати 24.08.92. Формат 84×108¹/₃₂.
Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл.
п. л. 17,22. Усл. кр.-отт. 17,75. Уч.-изд. л. 18,68. Тираж 580 экз. Изд. № 7335.
Зак. № 52. «С»—1

ВО «Наука»

Издательская фирма «Восточная литература»
103051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21

3-я типография ВО «Наука»
107143, Москва Б-143, Открытое шоссе, 28



Ник Хоакин

Четыре дня в начале года Тигра

Выдающийся современный писатель Филиппин Ник Хоакин известен у себя на родине как яркий публицист, историк и философ-культуролог. В этом качестве он предстает перед нами впервые. Прочитав эту книгу, читатель будет заинтригован сложными перипетиями борьбы с диктаторским режимом Маркоса, узнает об удивительных способностях филиппинских целителей, о нравах политиков, о новой роли местного католицизма, о сложных проблемах синтеза восточной и западной культур.